AMERICAN RESEARCH PRESS

А. И. Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

Том 7-й

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ



American Research Press

Абрам Ильич Фет

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в 7-ми томах

♢

Том 1-й
Инстинкт и социальное поведение

Том 2-й
Пифагор и обезьяна: роль математики в упадке культуры

Том 3-й
Заблуждения капитализма

Том 4-й
Польская революция

Том 5-й
Письма из России

Том 6-й
Интеллигенция и мещанство

Том 7-й
Воспоминания и размышления

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

All correspondence and orders of printed copies of the books should be addressed to Ludmila P. Petrova, the copyright holder of A. I. Fet and the Editor-Compiler of the Collected Works in 7 volumes. E-mail: aifet@academ.org

This book was typeset using the LaTeX typesetting system.

Cover image: Abraham I. Fet on vacation, with his parents in Bessarabia. Cold Balca, Bessarabia, 1948. Pictured by Yakov I. Fet, his brother.

ISBN 978-1-59973-398-2

American Research Press, Box 141, Rehoboth, NM 87322, USA
Standard Address Number: 297-5092

American Research Press

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

Том 7-й

♢

ВОСПОМИНАНИЯ
И
РАЗМЫШЛЕНИЯ

♢

Rehoboth, New Mexico, USA
— 2015 —

Оглавление

От редактора-составителя

В седьмой том вошли “Воспоминания” А. И. Фета, “Философский дневник” и его самое последнее произведение “Социальный вопрос”, оставшееся неоконченным. Все эти сочинения публикуются впервые.

Воспоминания Фета возникли по случаю. Некоторые родственники его отца до войны жили в Ровно и в Париже. После войны отец пытался узнать о их судьбе, но тщетно. И только спустя 60 лет, в 2005 году, племяннику Абрама Ильича, Виктору Фету, удалось разыскать одну из родственниц в Париже. Возникла переписка. Обе стороны захотели узнать судьбу их общих предков. Оказалось, что почти все парижские родственники погибли во время войны в лагерях смерти. Осталась в живых лишь одна двоюродная племянница Абрама Ильича, которая теперь носит имя Аннет Крайсер (Annette Krajcer). Она всего на 5 лет младше А. И., и ей пришлось пройти через все ужасы войны. Для своих российских родственников она написала всё, что помнила о судьбе французской ветви семьи Фетов.

Абрама Ильича, как самого старшего и поэтому больше всех знавшего о прошлом семьи, попросили написать о судьбе своего отца и его близких. Писать мемуары ему не хотелось. Тогда я предложила записывать его воспоминания на диктофон, на что он согласился. Первая запись была сделана 16 июня 2005 года. Каждый очередной аудио файл я переводила в электронный текст, а потом монтировала фрагменты, соединяя их в более или менее связный рассказ. Говорил А. И., как по писанному, поэтому большинство его устных рассказов почти дословно совпадает с окончательным печатным текстом. Убирать приходилось лишь некоторые попутные разъяснения, повторы и отступления от темы. Получившиеся таким образом воспоминания А. И. прочитал, сделал какие-то исправления и отправил Аннет.

Ясно, что родственнице отца А. И. больше всего рассказывал именно об отце. Мне же было интересно знать многие другие подробности его жизни. Я стала задавать вопросы. Он обстоятельно отвечал на них, а я записывала его ответы на диктофон и продолжала работать над текстом воспоминаний. А. И. ворчал, что я делаю из него мемуариста, тем не менее, бóльшую часть воспоминаний успел прочитать и никакого несогласия с их содержанием не выразил.

А содержание воспоминаний во многом определено моими вопросами. Я спрашивала о том, что мне было интересно, чего я не знала или хотела уточнить. В то же время многие очень важные, но хорошо мне известные обстоятельства жизни Абрама Ильича остались в стороне, поскольку я не спрашивала его о том, что происходило на моих глазах и было предметом постоянного обсуждения. Всё это не записывалось, поэтому не вошло в воспоминания.

Из-за болезни А. И. расшифровка аудио файлов была надолго отложена и возобновлена лишь в связи с изданием этой книги. Расшифровки, сделанные уже без него, я не монтировала, а оставила в таком виде, как он их наговорил. Они дополняют "Воспоминания" в виде отдельных самостоятельных очерков, первый из которых "Путь в математике". При этом в разных рассказах А. И. иногда касался одного и того же события, что привело к повторам. Некоторые повторы пришлось удалить, что специально оговорено в примечаниях. Другие устранять показалось нецелесообразным, так как это повлекло бы за собой нарушение внутренней логики каждого отдельного рассказа. Они оставлены.

К пяти расшифрованным рассказам прибавлены воспоминания об Алексее Андреевиче Ляпунове, написанные А. И. по просьбе Я. И. Фета для сборника "Очерки истории информатики в России" (Новосибирск, 1998), и письмо А. И. Фета В. М. Тихомирову, написанное им за два месяца до смерти по поводу выхода книги Тихомирова о А. Н. Колмогорове. Это письмо — рассказ А. И. о себе и своём отношении к московской математической школе. Кроме того, в нём высказана его точка зрения на то, какой должна быть позиция автора или редактора-составителя при написании книг о выдающихся людях. При составлении воспоминаний мы старались следовать этим принципам.

Под условным названием "Философский дневник" публикуются мысли философского характера, рассыпанные А. И. на отдельных листках и в его рабочих тетрадях — среди выписок из разных авторов и конспектов книг на разных языках, среди всевозможных статистических данных и т. д. Чаще всего это его собственные мысли, иногда краткие высказывания других людей с соответствующей ссылкой, с комментариями А. И. или без. Каждая такая запись помечена автором датой. Собранные вместе в хронологическом порядке, они образуют нечто вроде дневника и дают представление, когда и о чём размышлял автор.

Завершает издание самое последнее сочинение А. И. Фета "Социальный вопрос", оставшееся незавершённым. Начато оно было вес-

ной 2006 года с лирической преамбулы: "Я начинаю это сочинение, не задумываясь, какую форму оно может принять. Я знаю, какое содержание мне надо в него вложить. Таким образом, это будет собрание сырых материалов для дальнейшего использования". Это глубоко личное и очень откровенное сочинение: "Я пишу нечто для самого себя, для уяснения своей позиции, и мне незачем уклоняться от эмоциональных оценок". Оно даёт представление, что́ автор думал о социальном устройстве общества, не стеснённый ни внешней, ни внутренней цензурой.

Как "Философский дневник", так и "Социальный вопрос" А. И. не готовил к публикации. Для него это были рабочие эскизы, изложение мыслей для себя. Мы сохранили в них все особенности стиля, орфографии и пунктуации автора, ограничившись лишь необходимыми подстрочными примечаниями. Для удобства читателей в текст "Социального вопроса" добавлены заголовки.

Л. П. Петрова

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

ВОСПОМИНАНИЯ



— Том 7-й —

Отец

Я теперь старший представитель семьи Фетов в России, Абрам Ильич Фет. Мне было очень приятно узнать, что некоторые члены нашей семьи во Франции выжили во время войны. Мой отец, Илья Яковлевич Фет, после войны много раз пытался узнать о их судьбе, но получил от разных организаций ответы, не оставлявшие надежды. Впрочем, из советской России очень трудно было наводить справки, и я не уверен, что все его письма дошли по назначению. Что касается оставшихся в Ровно, то и о них ничего не удалось узнать. Но из тех мест почти невозможно было бежать.

О молодости отца я знаю по его рассказам и отчасти по рассказам тёти Сони, его сестры. Семья его была очень бедной. Их отец был меламедом и чем-то вроде служки в синагоге, читал книги, за что его прозвали "философом", так что предположительно он уже не верил в бога. Мать была прачкой. Не знаю, откуда пошла история о корыте, в котором она якобы перевозила бельё через речку, но она в самом деле была прачкой, и кормила семью видимо она. Эту мою бабушку я однажды видел у тёти Сони в Одессе, куда она приехала в гости после раздела Польши, незадолго до войны. Она показалась мне довольно молодой. Перед этим родители моего отца жили в Польше, и с родственниками связи не было — я никогда не слышал о письмах. Иметь родственников за границей было опасно. Думаю, что во время войны родители отца погибли в Ровно. Там евреи не верили в немецкие зверства, считая это советской пропагандой. Ничего о них узнать не удалось.

Несмотря на бедность, отец учился в реальном училище и окончил его. Реальное училище — это разновидность гимназии, появившаяся в конце XIX века, где, в отличие от классической гимназии, не было греческого языка, а только латинский, но зато было больше математики и естествознания. Отец хорошо учился и интересовался главным образом точными науками. Но с детства у него (и ещё больше у тёти Сони) была idée fixe, что надо помогать семье, кормить своих близких. Поэтому гимназистом отец давал уроки, пользовался в Ровно репутацией хорошего репетитора и, как ему казалось, неплохо зарабатывал.

Окончив гимназию, он хотел, конечно, поступить в университет, но это было невозможно из-за процентной нормы для евреев, кото-



Илья Яковлевич Фет. Одесса, 20-е годы.

рая в дореволюционной России существовала официально, а неофициальным образом была вновь введена Сталиным после Второй мировой войны. Те немногие евреи, которым удавалось поступить в университеты, были, конечно, из богатых семей. Шансы отца были нулевые, поэтому он начал думать о высшем образовании за границей, как это делали многие.

Из рассказов отца я знаю, что его особенно угнетал в России антисемитизм, не только казённый и официальный, но и "бытовой", то есть народный. Однажды он рассказал мне, что близкая ему девушка, тоже еврейка (но не моя мать), жаловалась ему на эту общую ненависть, и он утешал её тем, что на свете есть несколько миллионов евреев, которые её любят, и что этого должно быть достаточно. Вряд ли он сам верил такому утешению.

При выборе факультета отец руководствовался всё тем же постоянным беспокойством о куске хлеба — он выбрал медицину, как

и тётя Соня. Профессия врача была в России открыта для евреев и считалась доходной и престижной, но при советской власти всё изменилось, и этим трудно было прожить.

Выезд за границу был в то время довольно свободным, но для получения заграничного паспорта требовалась справка о политической благонадёжности, которую отцу полиция не выдавала. Дело в том, что он по-видимому ещё с гимназии проникся революционными настроениями. Он рассказывал мне, что участвовал в распространении запрещённой литературы и запомнил "Искру", ленинскую газету, которая печаталась на папиросной бумаге для облегчения нелегальной доставки в Россию. Однако это вовсе не означало, что отец был большевиком. В то время чтение и даже распространение революционной литературы вовсе не было разделено по партийной принадлежности. Отец был сторонником партии сионистов-социалистов (СС), которая была предшественницей нынешней лейбористской партии в Израиле. Эту партию не надо смешивать с Бундом, еврейской социал-демократической партией, истреблённой сталинскими чистками. СС также подлежала уничтожению, и отец скрывал свою принадлежность к ней при советской власти, не упоминая, конечно, об этом в анкетах, составлявших непременную принадлежность того времени.

Я не знаю, почему отец уехал из Ровно и оказался в Одессе, но это произошло не позже 1905 года. Отец участвовал в революции 1905 года уже будучи в Одессе. Он страстно ненавидел самодержавие, то есть государственный строй России. Он стал даже членом боевой дружины и получил револьвер, хотя стрелять ему не пришлось, и по окончании революционных событий он зарыл его где-то на Малой Арнаутской.

Поскольку отец не мог получить заграничный паспорт, он должен был выехать из России нелегально. Границу переходили с помощью контрабандистов, бравших за это небольшую плату. Эта процедура описана в одном из рассказов Куприна, но там в литературных целях выбран эпизод опасности. Отец перешёл границу совершенно безопасно. В те примитивные времена в Европе, в отличие от России, границы проезжались совершенно свободно, никто не спрашивал документов. Эта свобода появилась вновь совсем недавно, после Шенгенского соглашения. Проживание во Франции, куда отец поехал, было по-видимому официально разрешено, поскольку он учился в Парижском университете.

В Париже он застал уже тётю Берту, о которой он мне говорил, что она держала лавку, где торговала продуктами. Отец был

принят на faculté de science. Я не знаю, каким образом он усвоил французский язык в необходимой для этого степени. Хотя конечно, в дореволюционной гимназии языкам учили гораздо лучше, чем в нынешней школе. Он ничего не вспоминал о самом процессе обучения, и, надо думать, медицина, которой он учился, не вызывала у него особенного интереса. Для заработка он работал на картонажной фабрике. В летние каникулы отец ездил в Россию — как я понимаю, обычным поездом, — и на обратном пути никто его не спрашивал, как он выехал из России. Это были времена просто мифические, хотя уже тогда полно было "террористов", анархистов и эсеров, к которым отец не имел отношения. Так он проучился в Париже три курса и оказался в России во время каникул 1914 года, когда разразилась Мировая война, и он был мобилизован в армию.

Насколько я понимаю, ему не очень хотелось сражаться "за веру, царя и отечество", поскольку он был членом партии сионистов-социалистов, царя ненавидел, в бога не верил и вряд ли питал большой энтузиазм по поводу отечества. Его зачислили писарем, ввиду его грамотности, и своими воинскими подвигами он никогда не хвалился. Однажды он повредил себе нос, когда колол дрова, но следов от этого не осталось. В 1918 году происходила стихийная демобилизация, то есть армия просто расходилась по домам. Полковое имущество раздали солдатам. На долю отца пришлось две лошади; он их по дороге продал и приехал в Одессу. Там он окончил своё медицинское образование на медицинском факультете университета, где ему зачли три курса в Париже — процентной нормы тогда уже не было.

Что собой представляла гражданская война на Украине, очень трудно объяснить гражданам какого-нибудь упорядоченного государства. Власть в городе менялась 14 раз, в зависимости от успехов тех или иных воевавших сторон, и каждая смена власти сопровождалась поисками виновных и их наказанием. Отец рассказывал, что однажды в городе было три власти одновременно, в разных частях его, и отцу запомнилась государственная граница возле Сибиряковского театра, обозначенная театральными стульями. Бабушка с дедушкой (родители матери) вспоминали, что были хорошие и плохие власти, в зависимости от того, как они проводили обыски. Очень плохой властью были украинские националисты — петлюровцы, — которые просто всех грабили и устраивали погромы. Хорошей властью были кайзеровские немцы, дисциплинированные и цивилизованные в ту войну. Но лучше всех были, как это ни странно, "матросы", то есть большевистские части, составленные из военных мо-

ряков! Они тоже проводили обыски, но искали только оружие и были отменно вежливы. Такой отзыв моего дедушки меня удивлял, поскольку от был "мелкий буржуа", и поддерживал только Февральскую революцию, а следующую считал излишней.

Детство

Отец женился примерно в 1920 году, когда в Одессе была уже советская власть — и вместе с ней голод. По рассказам отца, страшно было проходить по улицам, где валялись трупы умерших с голоду. Ему повезло — он женился на девушке из семьи, имевшей припрятанные ценности, так что его подкармливали.



Ревекка Григорьевна Николаевская.
Одесса, 20-е годы.

Мать моя, Ревекка Григорьевна Николаевская, была довольно избалованной барышней, училась играть на фортепиано и собиралась поступить в консерваторию. В квартире было два фортепиано — не знаю, зачем два. Всё это отменила новая власть, и пришлось думать о куске хлеба. Думаю, что мой отец любил мать, хотя плохо ладил с нею. Мать досадовала, что он не сделал карьеры и всегда был беден.

Из Одессы пришлось уехать, когда мне было два года. По-видимому, причиной отъезда было отсутствие в Одессе квартиры (не знаю, что стало с огромной квартирой дедушки), но не только это. Отец искал более приличного заработка, а тогда всё же можно было лучше заработать "в провинции". "Тогда" — значит в двадцатые годы, потому что тридцатые принесли с собой новый голод. Таким образом, году в 1926 или 27-ом всей семьёй переехали в Могилёв-Подольский, городок на Днестре у румынской границы, где отец работал врачом и даже одно время заведовал поликлиникой.

Мои первые ясные воспоминания начинаются с Могилёва. Я помню дом, в котором мы жили. Это одноэтажный домик, а перед ним обширный пустырь, где когда-то был дом, а теперь бугор, заросший травой. Мать учила меня ни в коем случае не притрагиваться к кошке и собаке. Она была мнительна — ипохондрик. Она считала, что прикосновение к собаке означает угрозу бешенства, а к кошке — стригущий лишай. От бешенства тогда делали пастеровские прививки, и мать объяснила, что если меня укусит собака, мне будут делать болезненные прививки в течение месяца, колоть меня — очень эффективное психологическое средство отучить ребёнка от животных. Я и до сих пор боюсь к ним прикоснуться.

Но я помню и другой урок, который дала мне мать. Мне было лет пять, и я был тогда порядочным барчуком. Однажды у ворот оказалась молодая женщина с ребёнком, просящая милостыню. Я испытывал презрение к нищим и принялся их гнать. Мать вышла, отставила меня в сторону, разговорилась с этой женщиной, что-то ей дала и потом сказала мне: "Зачем же ты их гонишь? Эта женщина учительница. Её выгнали с работы, её преследуют, ей не на что жить". Это был урок человечности, полученный от матери. Я запомнил его навсегда.

Когда мне было года четыре, мне наняли бонну — тогда это ещё было возможно. Это была какая-то барышня, которая со мной ходила и учила меня читать по букварю. Я его запомнил. В этом букваре изображалось, как квасят в бочке капусту, как рубят её сечкой, а вокруг этой бочки ходит кот. Лет в шесть или семь отец учил меня французскому языку — к сожалению недолго. Потом ещё некоторое время со мной занималась гувернантка, знавшая французский язык, тогда ещё таких в России было немало. Мы читали с ней "Тартарена из Тараскона" Доде. К сожалению, эта дама преподавала мне всего месяц, а потом её больше не было. И всё же французский язык стал для меня привычным, я не воспринимаю его как чужой язык, поскольку начал изучать его очень рано. С английским



Ревекка Григорьевна Николаевская и Илья Яковлевич Фет
с сыном Абрамом. Одесса, 1926 г.

хуже, потому что английский я впервые услышал, когда мне было шестнадцать лет. Систематических усилий для моего образования не прилагали. Но и эти уроки сделали своё дело — учиться языкам надо начинать рано.

Ещё мне запомнился эпизод, свидетельствующий о том, что в могилёвский период у меня какое-то время была няня (в дальнейшем няни уже никогда не было). Однажды она вела меня мимо бывшего барского особняка с высоким подвалом, окна которого были ещё до революции зарешечены гнутыми железными стержнями. Няня указала мне на этот подвал и сказала почему-то: "Здесь по ночам кричат кулаки". Я спросил её, почему они кричат, и она ответила: "Потому что их бьют". Я, по-видимому, не решился спрашивать дальше, но запомнил этот эпизод. Это было во время коллективизации, около тридцатого года. И только много лет спустя я узнал, что всё это означало: особняк принадлежал ГПУ. Это сокращённое название означает Главное Политическое Управление, которое до того называлось ЧК, а потом КГБ.

В Могилёве я начал ходить в школу. Тогда на Украине почти все школы уже были украинские, но эта была русская. Дело в том, что Могилёв находился на границе, где было много пограничников с семьями. У них были дети, которых они не хотели учить в украинских школах, и для них открыли русскую школу. Украинский язык там был лишь одним из предметов, но преподавание велось по-русски, что тогда на Украине почти не допускалось. Впоследствии в этом обвинили украинских националистов. Школа была далеко от нашего дома, поэтому отец договорился с кем-то, у кого был грузовик, и меня подвозили в кабине, хотя обратно, кажется, не отвозили. Я помню, что грузовик этот производил на меня впечатление роскоши — от него пахло бензином и резиной.

В школу меня отдали рано, в неполных семь лет вместо положенных восьми. Но проучился я в ней только 1 год. А в 1932 году, когда стало совсем голодно, отец переехал в деревню, где мы прожили примерно два года. Теперь я точно не могу припомнить название этой деревни, но кажется она называлась Мурованные Куриловцы. На отрогах Карпат располагалась украинская деревня, а внизу еврейская. Это было довольно обычно на Украине, когда две деревни стояли рядом. Мы жили внизу. Район был винодельческий, и бочки делали у нас во дворе. Но голод настиг нас и там.

Голод на Украине был страшный. Как я потом узнал, всего от голода на Украине в то время умерло шесть миллионов человек. Это было связано с коллективизацией, с насильственным образованием



В два года. Одесса, 1927 г.



С младшим братом Яковом. Могилёв, 1932 г.

колхозов. Крестьяне не хотели в них работать, не понимали, зачем всё это делается. Потом был плохой урожай — всё это достаточно известно. Сам я этого голода не испытал, потому что отец как-то выкручивался. Он постоянно ездил к тяжёлым больным, которые сами не могли приходить. И хотя с больных денег он никогда не брал, они так или иначе как-то ему платили, в основном продуктами. Я помню, что главной пищей для нас тогда была мамалыга — это такая каша, которую делали из кукурузной муки. Я не знаю точно, как её варили, потому что потом мамалыги уже не делали, хотя кукурузная мука была. Ещё из неё делали коржи, которые назывались малай. Всё это казалось необыкновенно вкусным. Я был тогда ребёнком и не ощущал на себе всех тягот жизни, но помню, что отец был в то время утомлённым и страшно измученным.

В деревне я пошёл во второй класс, а на следующий год — сразу в четвёртый, минуя третий, потому что я много читал и знал всё наперёд. Таким образом в школе я оказался на два года моложе своих товарищей. Это имело неприятные последствия, потому что товарищи смотрели на меня как на "сопляка", не принимали меня в свои игры, но и не били, потому что бить маленьких считалось неприличным.

Школа в деревне была украинская, но никакого антисемитизма я не замечал и своей еврейской изолированности не ощущал. Советская власть не поощряла его, а это такая болезнь, которая нуждается в поощрении. Трудности мои были другими: я обогнал свой класс, я знал наперёд всё, что изучалось, имел обыкновение высовываться, отвечать первым и вёл себя несколько некорректно. Отец меня поправлял, учил обращаться с товарищами.

Учителем у нас был молодой мужчина, который никак не мог справиться с дисциплиной в классе. На его уроках ученики вели себя плохо и постоянно случались какие-то истории: что-то пропало, что-то разбилось, что-то испорчено. Надо было искать виновных, и возникал обычный школьный вопрос "Кто это сделал?" Я никогда ничего дурного не делал, был совершенно образцовый ученик. Мало того, я считал, что всегда должен говорить только правду, и на вопрос "Кто это сделал?" я тут же правдиво отвечал.

И вот однажды отец сказал, что он виделся с моим учителем, и что ему нужно серьёзно поговорить со мной. Он объяснил мне, что я веду себя как ябедник, доношу на своих товарищей, и что делать этого не следует, потому что такое поведение постыдно. Я не мог понять, почему: "Ведь я же говорил правду! Зачем мне лгать?" Я считал, что выполняю свой долг. Зачем он, такой-сякой, разбил

чернильницу, и почему он отрицает, что это сделал? Отец на это говорил что-то не совсем внятное о товарищеской солидарности, о том, что нужно держаться друг друга, что доносить нельзя. Должен сказать, что вся эта аргументация не произвела на меня никакого впечатления. Но что доносить нельзя — это я крепко запомнил.

В деревне мне запомнился Днестр — тихая, спокойная река, а на другой стороне уже Румыния, совершенно чужое царство. Впрочем, граница тогда не ощущалась так сильно. Посредине Днестра пограничники ездили на лодке, границу обозначали бревна, стоявшие на якоре в воде, но люди купались, и до брёвен можно было плавать.

Вокруг были фруктовые сады. Отец часто брал меня с собой в эти сады. Причём в этом случае фрукты можно было есть немытыми, а дома мать требовала непременно их мыть. Мама до болезненности следовала гигиене — она всё мыла, всё кипятила. Отец относился к этому иронически — он ведь был врач.

Мне запомнилось, как отец принёс большие географические карты — ему их дали в школе во временное пользование. Я ползал по этим картам и изучал географию. Запомнил я тогда мало, но названия двух индийских рек мне запомнились своим необычным звучанием — Ганг и Брахмапутра.

Однажды отец, не занимавшийся со мной регулярно, объяснил мне, что такое синус. При этом он допустил неточность, которую я исправил. Он никогда после гимназии математикой не занимался, но уже в старости однажды просил меня объяснить ему дифференциальное и интегральное исчисление. Из этого обучения ничего не вышло: как видно, его занимали другие заботы.

А ещё я изучал плакаты в отцовском медицинском пункте. Я их рассматривал, читал. Особенно на меня произвёл впечатление плакат, на котором было написано: “Пионер не пьёт водки, вина, пива”. В то время я был пламенным пионером и боролся за коммунистические идеалы, как я их тогда понимал. Я проникся этим лозунгом. Однажды к отцу приехал его знакомый врач. Его угощали обедом и пили вино, что было очень обычной историей в тех местах, потому что вино там же и делали, оно было дёшево. Увидев, что они пьют вино, я стал по этому поводу возражать и скандалить. И тогда, к моему великому удивлению, отец, который очевидно должен был быть согласен с этим положительным лозунгом на плакате, схватил меня за шиворот и запер на время обеда в чулан. Когда гость уехал, меня выпустили. Но пока гостя провожали, мой маленький брат Яша, которому в то время было 2 года, влез на стол и выпил из бутыли остатки вина. Уже тогда между нами было большое рас-



Ревекка Григорьевна и Илья Яковлевич с сыновьями Абрамом и Яковом. Могилёв, 1931 г.

хождение в характерах, которое проявлялось и впоследствии: мой брат был более гуманным, более человечным, а я был в каком-то смысле фанатиком.

Через два года мы вернулись в Могилёв, где я пошёл в пятый класс. В школе учиться было неинтересно, на уроках я вертелся и строил рожи, за что меня однажды вызвал директор школы и сделал мне строгий выговор. Я был этим очень удивлён, так как не видел в таком поведении ничего особенного. Директором был учитель физкультуры. Я на его уроки не ходил, потому что был освобождён от этого предмета из-за сердца. Поскольку я не мог бегать, меня не брали играть в футбол, хотя однажды я исполнял функции вратаря — неудачно. Кажется, тогда я и забыл на футбольном поле галоши, за что мне дома влетело. Но я был страстным болельщиком. У нас в городе проходили даже футбольные соревнования между командами пограничников из разных мест. Они входили в клуб "Динамо", то есть в клуб НКВД — тогда я этого не понимал и, конечно, болел за свой город Могилёв.

В центре города мне запомнился небольшой парк с развалинами польской крепости или церкви. В этом парке стоял настоящий самолёт — маленький биплан У-2, который можно было рассматривать снаружи. В те годы самолёт был ещё большой редкостью и потому привлекал внимание. Я впервые летал на самолёте уже взрослым, в 1947 году.

В Могилёве у нас в то время была обширная квартира при поликлинике, с большими пустыми комнатами. При советской власти квартиры не покупались, а предоставлялись по должности и по усмотрению начальства. В те годы в маленьком городке профессия врача была дефицитной, так что в качестве заведующего поликлиникой отец мог получить там большую квартиру, чего впоследствии в больших городах, где мы жили, уже не было. В этих больших комнатах я играл с какими-то детьми: у нас были деревянные игрушки, из которых мы строили сооружения.

Вообще же я был довольно изолирован от товарищей. Родители не пускали меня играть с ними, опасаясь, что плохие мальчишки могут меня испортить, внушат мне плохие мысли или слова. И они стали сами выбирать мне компанию. Думаю, что это была в основном инициатива моей матери. Но те, кого они мне выбирали, мне не нравились, и я оставался изолированным.

Это не мешало мне бродить с товарищами по садам. И особенно мне запомнилась охота за орехами. Могилёв в то время был со всех сторон окружён садами. С садами на Украине покончила только

коллективизация. Плоды, по-видимому, не считались важной статьёй хозяйства и не планировались, никто ими не занимался, а впоследствии их извели. Но тогда они ещё были. Товарищи мои охотились за орехами по чужим садам: сбивали их, прятали, копили, играли этими орехами, ели их. Я тоже участвовал в этих предприятиях, но лазить по деревьям я не мог, поэтому не был особенно удачлив.

В школе я запомнил двух девочек, с которыми сидел на одной парте и поддерживал хорошие отношения. Я даже помню их фамилии, по которым видно, что одна из них была еврейка, а другая украинка. В те времена я не делал никакой разницы между национальностями. Дома говорили только по-русски, и я не проявлял никакого интереса к еврейской культуре, которая в те годы ещё дозволялась, в советском варианте, конечно. По-видимому родители были даже огорчены отсутствием у меня каких-либо национальных чувств, и однажды заставили меня пойти на спектакль еврейского театра, приехавшего на гастроли в Могилёв. Я почти ничего не понимал в представлении, потому что те фразы идиш, которые я иногда слышал у бабушки с дедушкой, были слишком просты. Кроме того, меня усадили где-то на галёрке, за чьими-то спинами, так что я почти ничего не видел. Я с этого спектакля сбежал, за что родители учинили мне суровую взбучку. Похоже, что они сочли меня почти антисемитом.

Но однажды приехал к нам с гастролями детский театр, русский, и я не пропускал ни одного спектакля. Конечно, все они были в коммунистическом духе, но это мне вполне подходило, потому что я был в то время убеждённым коммунистом. Для меня, как я ясно помню, коммунизм был увенчанием и воплощением гуманизма, а о других сторонах этой доктрины, более практических, я не имел понятия. Один из спектаклей был антифашистского содержания, так что это было, по-видимому, около 1934-го года. Я запомнил песенку из этой пьесы, которую исполнял подросток, точнее — исполнявшая его роль женщина:

Проклятые фашисты
Идут на нас войной,
Но я останусь всё-таки
Весёлый и живой.

Поскольку я был одним из самых прилежных и чувствительных зрителей, мне предложили написать в стенгазету мои впечатления, отражавшие эти гастроли. Я не помню подробностей того, что́ я на-

писал, но моя статья оказалась слишком критической и её не одобрили: я написал об игре артистов то, что думал.

Другой эпизод можно точно датировать 1934 годом, потому что речь шла о достопамятном 17 съезде ВКПб — "Съезде победителей". Как известно теперь, почти всех этих победителей Сталин впоследствии расстрелял. После съезда материалы его должны были везде изучать, даже в начальной школе. А так как я был самым грамотным и активным из учеников, то мне поручили сделать сообщение об отчётном докладе Сталина на этом съезде. Мне было тогда неполных 10 лет, я точно помню, что учился в пятом классе. Родители были удивлены, что такому мальчику поручили столь сложное дело. Я думаю, это была инициатива директора школы, то есть того самого физкультурника. Речь Сталина оказалась целой книжкой примерно в 150 страниц. Она была наполнена идеологией, политикой и экономикой — кто-то написал её для безграмотного диктатора. Тогда я принимал всё это всерьёз, пытался понять, но ничего не понимал. Поскольку я обязался сделать доклад и стыдился нарушить обещание, пришлось положиться на память, и память меня не подвела. Доклад вышел на славу и вызвал восторг публики именно по той причине, что докладчик был такой маленький мальчик. Но я в самом деле ничего не понимал и запомнил только одну деталь: в докладе много раз повторялось выражение "экономическая конъюнктура", особенно беспокоившее меня своей непонятностью. Я знал, конечно, что такое "экономия", потому что мать иногда рассуждала об экономии, хотя никогда не умела экономить. Но "конъюнктура" совсем сбивала меня с толку, потому что я мог связать это слово только с "конём", а кони здесь были явно ни при чём. Я не спрашивал объяснений у родителей, очевидно догадываясь, что и они не разбираются в этих трудных предметах.

Экономическая конъюнктура после голода 1932 года несколько улучшилась, открылся магазин "Гастроном", в котором однажды родители купили очень вкусные "охотничьи" сосиски. Как видно, тогда их ещё не умели фальсифицировать. Что касается вкусных вещей, то я помню, что ещё раньше, около 1930 года, на главной улице всё ещё была частная кондитерская Иванова, где были невероятно вкусные пирожные "Наполеон" со сладким кремом. Каждый раз, когда меня проводили мимо этой кондитерской, я убеждал родителей туда зайти, но добивался своего редко. Вкусные пирожные были признаком частной торговли. Государственная гастрономия покончила с ними, и теперь вряд ли даже частные торговцы знают, что такое настоящие пирожные.

Примерно к этому же времени относится наша поездка в Киев. Во всяком случае, это было уже после завершения коллективизации, когда голод миновал, наступило относительное благополучие, то есть уже можно было что-то есть, но ещё не начался большой террор — большевики, которые провели для Сталина коллективизацию и индустриализацию, ещё не были истреблены. И вот тогда родители повезли меня в Киев, лишь недавно ставший столицей Украины. Раньше столицей был пролетарский город Харьков. Киев же, который был когда-то исторической столицей Руси, пользовался репутацией города монархического, черносотенного, враждебного. Я помню это путешествие, помню вокзал в Жмеринке. Жмеринка — это крупная узловая железнодорожная станция, где с местного Могилёвского поезда пересаживались на поезд дальнего следования Одесса — Киев. Вокзал этот был дореволюционный и сохранил всю дореволюционную роскошь. Сохранился и дореволюционный обычай впускать в зал ожидания первого класса только пассажиров без багажа, в то время как пассажиры с багажом находились в зале ожидания второго класса. С нами были какие-то вещи и ждать нужно было довольно долго, поэтому родители сдали багаж в камеру хранения, чтобы находиться в первом классе. Во втором классе толпилась масса народу, были низкие потолки, было душно и неприятно. А в первом классе сохранилось всё великолепие дореволюционного вокзала, там можно было чувствовать себя барином, за исключением, конечно, буфетов, где не было такого угощения, какое, вероятно, было до революции. А потом мы приехали в Киев. Для меня это была столица, первый крупный город, который я увидел, потому что Одессу я, конечно, не помнил. Он выглядел празднично, голодных и нищих уже не было: кто был обречён, те умерли. Советская власть стояла прочно. Крещатик в то время переименовали в улицу Воровского, потому что Крещатик был связан с крещением Руси, а следовательно не имел права так называться. Воровский же был великий большевик, и власти не смущало несколько неловкое звучание его фамилии. На улице Воровского меня повели в кондитерскую, где мы ели вкусную булочку под названием Марципан. Такие деликатесы стали уже редкостью, и я их, естественно, раньше не видел.

В Киеве нам показали особняк, очень похожий на тот, что я уже описывал (старый барский дом в Могилёве, где мучили кулаков), тоже одноэтажный, но бóльших размеров. Нам сказали, что в этом доме живёт Косиор. Косиор был первый секретарь ЦК КП(б)У. Потом его Сталин расстрелял, конечно, вместе с другими секретарями.

В Киеве отец посетил одного из своих старых товарищей. Этот его товарищ гимназических времён стал заместителем главного прокурора Украины. Тогда это была очень важная должность, прокуроры имели огромную власть, от них зависело, кого сажать. Но в 34-ом году отец ещё определённо не боялся пойти к этому товарищу в гости.

Я помню, что это была скромная трёхкомнатная квартира с низкими потолками, поменьше моей нынешней. Большевики тогда ещё жили очень скромно, кроме самых главных. Я не слышал, о чём они разговаривали; мне это было неинтересно — очевидно, вспоминали минувшие дни. А вспоминаю я этот эпизод потому, что теперь, когда я думаю о биографии моего отца, я лучше понимаю кое-какие вещи, которые тогда не понимал. Мой отец до революции принадлежал к одной из меньшевистских партий — партии СС. А во время сталинского террора подлежали истреблению все люди, имевшие хоть какое-нибудь отношение к политической деятельности, — как меньшевики, так и большевики. Отец после революции держался в тени: ни в какую партию не входил, скрывал свою прежнюю принадлежность к сионистам-социалистам и фигурировал только как врач. Как врача его оставили в покое. Никто не знал о том, что он до революции занимался революционной деятельностью, и я не знаю, писал ли он в анкетах, что учился во Франции, хотя в начале 30-х годов это ещё не имело такого фатального значения, как впоследствии.

Товарищ же отца после революции стал коммунистом, занял видное положение в обществе, а следовательно был обречён. Я не сомневаюсь, что этот его товарищ был уничтожен, как и все остальные коммунисты. Сталин истребил всех, кто занимался хоть какой-нибудь политической деятельностью, и прежде всего — всех большевиков, кроме самых жалких и забитых. Пол партии было истреблено, а другая половина, состоявшая из безвестных тружеников, должна была повиноваться.

И вот теперь, вспоминая, как отец уже в 40-е годы и позже наставлял меня не высовываться и не говорить лишнего, я совершенно уверен, что он все годы советской власти и особенно в 30-е годы, годы террора, был подавлен страхом. Он знал, что делалось, а я не знал — у меня не было никаких сведений о том, что происходило в стране, кроме как из газет, которым я тогда верил. Отец знал и по-видимому страшно опасался, что узнают о его прошлом и посадят. Вскоре наступил 37-ой год, год большого террора. Тогда уже и я услышал о том, что что-то происходит.

Учился я легко, всегда получал пятёрки, поэтому ко мне всегда хорошо относились учителя и ставили меня в пример. Но когда в первом классе стали организовывать кружок пения, меня не взяли. Мне это показалось страшной несправедливостью. И наша учительница, которую я очень любил, вежливо и мягко объяснила мне, что участникам этого кружка надо иметь голос. Голоса у меня не было. Так я понял, что мне достались не все способности. Второй раз подобное случилось уже в Одессе. Здесь у нас впервые появились уроки рисования. Рисование было факультативным предметом, и в других школах я его не проходил. Учителя звали Афанасий Афанасьевич. Он велел нам срисовать с барельефа петуха. И тут я понял, что не в состоянии этого сделать. А мой сосед по парте, совершенный тупица, который по всем предметам ничего не мог, очень хорошо срисовал его. Тоже был полезный урок, потому что оказалось, что я не только петь, но и рисовать не умею.

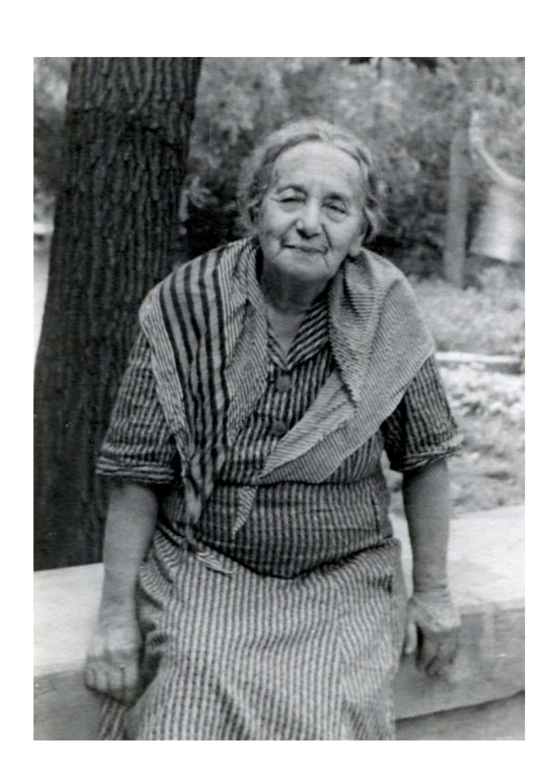
В Одессе

Бабушка с дедушкой

В Одессу мы вернулись, когда мне было двенадцать лет. На возвращении настаивала мать. Она скучала в Могилёве, её предыдущая жизнь в Одессе казалась ей более интересной, и она воображала, что там нам будет лучше. Это было заблуждение, потому что наша квартира в Одессе была потеряна, а новую получить было уже невозможно — была советская власть. Так мы остались в Одессе без квартиры, и отец должен был снимать комнату. В одной комнате мы все не помещались, поскольку было уже двое детей. Тогда бабушка с дедушкой сняли отдельную комнату, и родители сплавили меня к ним. Очевидно, снимать комнату было не так дорого, как сейчас, потому что бабушка с дедушкой тоже были в состоянии платить за неё. Всё время, пока мы жили в Одессе, мы скитались по чужим наёмным квартирам. С этого времени до шестнадцати лет, то есть до самой эвакуации из Одессы в начале войны, я жил у бабушки и дедушки.

Бабушку с дедушкой я хорошо помню. Бабушка моя, Екатерина Абрамовна, была еврейская женщина старого типа, со старыми бытовыми привычками. Она не то чтобы верила в бога, но считала себя верующей. Когда мы жили в деревне, они с дедушкой по праздникам ходили в синагогу, чему я напрасно пытался помешать, а в Одессе уже, кажется, не ходили, то есть были не очень верующие. Иногда они говорили между собой на идиш. Я понимал то, что они говорили, но сам я на идиш никогда не говорил и не читал. Отец с матерью говорили только по-русски. Моим языком всегда был русский язык — не идиш и не украинский, который я знал лишь настолько, чтобы читать и говорить в случае необходимости.

Бабушка была отличная хозяйка и очень хорошо умела готовить в еврейском вкусе, что меня не вполне устраивало, потому что я никогда не любил рыбы, и в особенности фаршированной рыбы. Зато мне нравилось, как она готовила фаршированные шейки. Это было изумительно вкусно, и после этого, кажется, уже никто не умел их так готовить. Ещё она делала очень вкусные клёцки в бульоне. Короче говоря, бабушка умела готовить. Мать готовила гораздо хуже и не любила этого делать. Её воспитывали барышней. Бабушка



Екатерина Абрамовна Николаевская, бабушка.

с дедушкой всегда держали до революции прислугу — матери не приходилось работать по хозяйству.

Когда я поселился у бабушки с дедушкой, я стал видеться с родителями не так часто — может быть, раза два в месяц. Особенно тесной связи у меня с ними не было. А с бабушкой и дедушкой близкие отношения тоже не установились, потому что очень уж мы были далеки по взглядам.

Взгляды моей бабушки определялись тем, что она была дочь присяжного поверенного. Для неё это было высоким положением в обществе. Её отец был одним из первых евреев, кто получил должность в эпоху великих реформ — это было ещё в 60-х или 70-х годах девятнадцатого века. Он был адвокатом, официально признанным в этой должности, выступал в судебных процессах и должен был являться в суде в мундире и при шпаге. Это производило сильное впечатление на евреев, потому что они не носили мундира и оружия

с библейских времён, так что их легко было обижать. Отчество его мне неизвестно, но имя его было Абрам Поляков, потому что бабушка была Екатерина Абрамовна, в девичестве Полякова. По имени этого прадеда меня и назвали, а моего брата Якова — по имени деда с отцовской стороны, которого я никогда не видел.

Когда много времени спустя, уже будучи взрослым, я однажды разговорился с ней, она всё недоумевала, для чего я так усердно занимаюсь наукой, если она не даёт достатка. Я пытался выяснить её мнение относительно целей человеческой жизни. Она ответила несколько неуверенно: "Чтобы дом был — полная чаша". Мой дом никогда не отличался богатством, был скорее беден. Я был уже доцентом, а "полной чаши" всё не было видно. Зачем же тогда заниматься наукой? Этого бабушка никогда не могла понять. Она была простая женщина, вовсе не имевшая никаких интеллигентских взглядов.

Дедушка мой, Григорий (Гдаль) Семёнович Николаевский, до революции был коммивояжёром кондитерской фабрики братьев Крахмальниковых в Одессе и весьма преуспевал в этом деле, путешествуя с образцами конфет по всей России. Коробки от этих конфет с цветными картинками на них сохранились до начала тридцатых годов, но конфет уже не было, а дедушка служил кассиром в бакалейном магазине. Никогда не слышал, чтобы он владел аптекой или жил в Николаеве.

Он был либерал, терпеть не мог самодержавие и горячо приветствовал Февральскую революцию, которая дала евреям равноправие, и вообще это была хорошая революция, и Александр Федорович Керенский был прекрасный человек (он был премьер-министром). Дела пошли было хорошо, но тут совершилась ещё одна революция, совершенно ненужная — Октябрьская, которая всё испортила. После этого всё пошло плохо, поэтому любимое выражение бабушки и дедушки, когда они объясняли, как идёт жизнь, было такое: "В мирное время (то есть до революции) было так-то, а теперь вот так". Начиная с революции было уже не мирное время, а вроде бы военное. Главная их аргументация была сугубо материалистической — они подсчитывали, сколько разные вещи стоили до революции и сколько стоят теперь, если они теперь вообще доступны. Из их сравнений было видно, что до революции было жить лучше, чем теперь. Эти рассуждения я считал мещанскими, потому что мальчишкой я был убеждённый коммунист, считал, что нельзя мерить благополучие соотношением цен и зарплаты. Короче говоря, они были материалисты, а я был, по-видимому,

идеалист. Я пытался с ними спорить, ругался с ними, но они не уступали, они стояли на своём, и я считал, что они закоренелые, неисправимые мещане.

Слово "мещане" трудно перевести на другие языки, но я полагаю, что по-французски это будет bourgeois. По-английски тоже есть такое слово, но оно заимствовано из французского. А поскольку мальчишкой я был очень идейный, то у меня никогда не было близких отношений с бабушкой и дедушкой. Они заботились о моем физическом благополучии, то есть одевали, кормили меня, тревожились, когда я не приходил вовремя — короче говоря, опекали меня, но не пытались меня воспитывать. А так как я жил отдельно от родителей, то отец с матерью тоже не могли меня воспитывать. Я каким-то образом воспитывался сам, главным образом, читая книги.

Чтение

У отца с матерью, которые скитались по наёмным квартирам, книг не было. Отец был человек интеллигентный, образованный, учился в Париже. Но чтобы прокормить семейство, он должен был при советской власти работать на две ставки — у него совсем не было времени читать. У бабушки с дедушкой когда-то книги были, это я хорошо запомнил, потому что, когда они ещё жили в Одессе, до переезда в Могилёв, строил себе мосты и прочие сооружения из дореволюционного собрания сочинений Тургенева. Я по этим томам ходил, прыгал через них. Читали ли их, я не знаю, но вообще на моей памяти бабушка с дедушкой ничего не читали.

У меня же книги были всегда. Я помню, что ещё в могилёвской школе был очень прилежным читателем. Там была библиотека, и так как я любил книги больше всех, меня выбрали библиотекарем. Книг было около ста. Я их описал, оприходовал, составил список, и наверное выдавал их кому-то, но кажется больше хранил, чем выдавал. Все эти книги я вскоре прочёл, и читать мне там стало нечего.

Но в Могилёве была ещё государственная районная библиотека с детским отделением. Это была большая библиотека. Там было много книг, которые попали туда из частных собраний. Каким образом они туда попали, я не знаю — может быть их отнимали у буржуев, а может их где-то собирали, но там было очень много книг, и я стал неутомимым читателем. Я читал ежедневно, всё время. Думаю, что именно тогда я испортил себе зрение, потому что я с детства близорук. По правилам этой библиотеки за один раз на руки выдавали

одну книгу. Но так как я её прочитывал очень быстро, то в тот же день приходил снова и брал другую. Причём читал я беспорядочно, всё подряд, что попадалось.

Родители никогда не контролировали моё чтение. Они сокрушались, что я испорчу себе глаза, и это было верно. Один-единственный раз они пытались отобрать у меня какую-то книгу, которая, как я полагаю, была дореволюционным детективом. Там кого-то убили и находили виновного. Они отбирали, а я не отдавал — в конце концов я всё равно эту книгу прочёл. А в остальных случаях они даже не проверяли, что я там читаю.

Читать я начал очень рано, ещё в деревне. Первые две книги, которые мне попались, я хорошо помню. Одна из них называлась “Тансык”. Тансык — это имя казахского мальчика. Там описывалось, как строили Туркестано-Сибирскую железную дорогу — Турксиб — и как дикари-кочевники удивлялись, что по этой железной дороге будет ходить шайтан-арба (паровоз). Я запомнил, как они это представляли себе. Увидев автомобиль, они подумали, что внутри мотора сидит шайтан — злой дух по имени Бен Зин. Крутя баранку, шофёр вонзает палку в этого шайтана и тот тащит машину. А потом там описывалась трогательная история, как грузовик состязался с лучшим местным скакуном и как победил. Вначале арабский конь вырвался вперёд, а потом устал и пал мёртвым, а грузовик его обогнал. Это была советская книга, проповедовавшая индустриализацию. Разумеется, я разделял все эти идеи.

Ну а вторая книга сыграла гораздо большую роль в моей жизни — это была книга Жюль Верна “Восемьдесят тысяч вёрст под водой”. Из неё я узнал, что на свете есть гораздо более интересные вещи, чем те, что меня окружали в детстве, и гораздо более интересные люди. Во всяком случае, капитан Немо показался мне несравненно более значительным человеком, чем все окружающие меня люди, потому что он во-первых, был учёный, изобретатель, во-вторых — великий революционер. Я очень ценил то и другое. А интерес к знанию, к науке, я, конечно, получил впервые из этой книги Жюль Верна.

Что касается революционеров, то в Могилёве оказалось великое множество историко-революционной литературы. Это были воспоминания разных революционеров о том, как они до революции боролись с самодержавием. По-моему, там было больше эсеров, чем большевиков, потому что все они бросали бомбы, потом они судились, потом сидели в тюрьме. Эта эпопея произвела на меня сильное впечатление. Как все мальчишки, я был уверен — чтобы улучшить

положение на земле, надо только перебить всех плохих людей. Надо взорвать их бомбами, чтобы их не было, тогда останутся только хорошие люди, и всё будет в порядке. Плохими, разумеется, были царские офицеры, чиновники, в общем — господа, потому что я был тогда пламенный коммунист.

Итак, в Одессе я жил у бабушки с дедушкой, встречаясь с родителями раза два в месяц. Очевидно отдали меня бабушке с дедушкой потому, что мой младший брат больше нуждался в уходе. Но кроме того было ещё одно обстоятельство — мама больше любила его, чем меня. Меня она не любила, потому что я постоянно возражал, был непослушный. Его же она стала готовить к музыкальной карьере. В Одессе была знаменитая школа Столярского, куда она водила его учиться играть на скрипке. Она была из тех матерей, которые пытаются осуществить в детях свои неосуществлённые мечты. Самой ей не пришлось учиться в консерватории, и теперь она возлагала свои надежды на Яшу.

Летом родители снимали дачу, и тогда я жил с ними. Обычно они снимали дачу в Люстдорфе. Это была немецкая колония на берегу Чёрного моря, примерно в двадцати километрах от города, куда можно было доехать трамваем. Оттуда отец ездил на работу. Он всегда работал, а мы оставались с матерью, которая занималась хозяйством. Я не помню такого случая, чтобы отец был постоянно с нами на даче. Очевидно у него никогда не было отпуска.

Когда я впервые оказался на берегу моря, оно мне показалось очень страшным. Оно всё время волновалось, волны набегали и убегали. И хотя они были совсем маленькими, я их тогда испугался. Но отец приучил меня не бояться моря, и стал учить меня плавать. Поскольку тогда не было никаких плавательных кругов, отец приспособил для этой цели грелку. Её надували воздухом и привязывали мне на грудь. С этой грелкой я и учился плавать, пока не научился настолько, чтобы не быстро, но долго плыть без усталости.

К этому пребыванию на даче относится самый счастливый эпизод моего детства. Мне подарили "Таинственный остров" Жюль Верна. В этом издании было три маленьких томика. Жюль Верна я уже знал тогда, но этого романа не читал. Я помню, что проснулся рано, часов в семь утра, с ощущением счастья от мысли, что впереди у меня ещё не прочитанный "Таинственный остров". Я выбежал на веранду, сел в кресло и забыл обо всём на свете. Впечатление было очень сильное, потому что это одно из редких литературных произведений, где изображаются положительные герои, которые делают полезное дело и живут настоящей жизнью. Потом я узнал, что

в числе почитателей Жюль Верна был также И. С. Тургенев, который его очень любил и восхвалял.

Музыкальные впечатления

Я помню, что родители мои в молодости часто пели дуэтом. У отца был грудной тенор и пел он с большим чувством. Мне не очень нравился их репертуар. Это были романсы, главным образом чувствительные, а иногда отрывки из оперетт. Когда они начинали петь про Сильву, которая кого-то не любит и кого-то погубит, я этого не мог вынести. А так как они пели над моей колыбелью, а я, по их словам, от этого плакал, то родители составили себе впечатление, что я немузыкален, поэтому музыке меня не учили. Впрочем, была ещё другая причина. Однажды (ещё в Могилёве) мы встретили на улице учительницу музыки, которая посмотрела на мои руки и сказала, что пальцы у меня короткие и что с такими пальцами нельзя играть на пианино. Потом я узнал, что короткие пальцы не являются препятствием, и что такие пальцы были у многих хороших пианистов. Однако музыке стали учить моего брата, но не меня. А жаль, потому что музыку я всегда любил.

Иногда они исполняли и очень хорошие произведения. Мне запомнился романс Даргомыжского “Свадьба”. Романс этот несколько загадочного содержания, изображающий некую космическую свадьбу, которая происходит не в церкви, а на открытой природе. На свадьбу приходят разные силы природы, разыгрывается буря. Мне они объяснили, что свадебное торжество и буря — это символическое изображение революции, которую ожидали еще при жизни Даргомыжского. Эта песня мне очень нравилась. Ещё мне запомнилось, как отец пел песню Шуберта “Шарманщик”, завершающую “Зимний путь”. Пел он её как-то по-иному, чем я слышал потом с эстрады в исполнении хороших певцов. У отца это звучало как-то особенно тоскливо и печально. У меня такое впечатление, что общий тон настроения у отца был грустный.

В Одессе родители часто ходили в оперу и брали с собой меня — оперный театр был в обычаях и привычках родителей. Мне запомнился “Фауст” Гуно. Запомнился марш солдат, возвращающихся с Валентином из похода. Солдаты шли непрерывной вереницей, потрясая сияющими мечами и шлемами. Я спрашивал, как они могут держать такой большой состав солдат. Мне объяснили, что они с одной стороны заходят, а потом с другой стороны сцены выходят снова, поэтому их так много — такая оперная тайна.

Потом я был поражён, что во время Вальпургиевой ночи танцуют молодые и красивые ведьмы. Это на меня производило странное впечатление, потому что по моим понятиям они должны были быть старыми и уродливыми. Но я не знал тогда разницы между германскими и латинскими ведьмами. Теперь я знаю, что германская Hexe, а по-английски hag или witch — это уродливая старуха. А вот у французов и итальянцев ведьмы молодые и не столь страшные. Они занимались преимущественно устройством любовных дел. И хотя итальянцы сохранили для ведьм латинское название strega, они всё-таки совсем не страшные — мне сразу вспоминается рисунок, приписываемый Боттичелли, где свои ведьмовские дела обсуждают молодые красивые женщины. А во французском языке ведь и вообще нет специального слова для ведьмы. Есть la sorcière — это собственно говоря волшебница, и я не знаю, есть ли даже отдельное слово для ведьмы. Так что ведьмы Гуно не были страшны. Кроме того, там ещё танцевали черти — молодые мужчины, почему-то обнажённые по пояс. Музыка Гуно произвела на меня очень сильное впечатление. Еще я очень хорошо помню оперы "Бал-маскарад" и "Дон Карлос" Верди, "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Чайковского и ещё много-много другого. Я не помню, пели эти оперы по-русски или по-украински. Мне кажется, что всё-таки по-русски, хотя были периоды украинизации, когда навязывали украинские тексты. Но если бы я слышал "Евгения Онегина" или "Пиковую даму" на украинском языке, что бывало, то я бы запомнил такое безобразие.

Оперный театр сохранился во всей своей дореволюционной роскоши, никому не пришло в голову его уничтожить. Роскошный зал с золотыми барочными разводами по белому фону, говорят, был скопирован с Венской оперы. Роскошные лестницы и фойе тоже производили на меня впечатление.

Что такое оперный театр и опера, я тогда хорошо понял и узнал навсегда. Но вот серьёзной симфонической и камерной музыки я долго не знал. На таких концертах я не бывал, потому что родители их не посещали. Мне было пятнадцать лет, когда я впервые попал на симфонический концерт. Это было незадолго до войны. Пошёл я на него по собственной инициативе с кем-то из товарищей. Исполнялась Пятая симфония Чайковского, и я был совершенно потрясён, услышав Andante maestoso. Тогда я впервые понял, что такое симфоническая музыка, хотя в ту пору мне ещё очень трудно было в ней разобраться. Нужно ведь было улавливать главные темы и следить за развитием — этому я научился только впоследствии.

А потом концертов долго не было. Была война, мы голодали, было не до концертов. Но у нас была радиоточка. И в годы войны в редакциях ещё сидели старые интеллигенты. Большевики их набрали когда-то и они пропагандировали классическую музыку. Я помню, что в годы войны, при всей антинемецкой направленности, радио передавало симфонии Бетховена. Но тогда Бетховен был для меня ещё слишком сложен. А вот когда я услышал "Неоконченную симфонию" Шуберта, это было для меня очень сильное переживание.

Окончание школы и вуз



Перед окончанием школы. Одесса, февраль 1940 г.

В 15 лет я окончил школу в Одессе и должен был поступить в какой-то вуз. Это было слишком рано, потому что в вузы не принимали до 17 лет. Чтобы я мог поступить в вуз, понадобилось особое распоряжение комитета по высшей школе в Москве. Туда писали, прибыло разрешение, и я мог поступать. Тогда возник вопрос, в какой именно вуз мне поступать, то есть какое получать образование. Дело в том, что к тому времени я уже имел разнообразные интересы: с одной стороны научные, а с другой — гуманитарные. У меня был интерес к литературе, истории, но учиться по этой части я не собирался — мне казалось, что я и так всё понимаю в этой области. Я хотел учиться математике, которая мне очень нравилась. Я лучше

всех в классе решал задачи, а в 10-ом классе участвовал в математической олимпиаде, которая проводилась в Одесском университете. В то время там была сильная математика, и в олимпиадах участвовали ребята из старших классов, которые ещё со школы готовились в кружках при университете и решали трудные задачи. Я ничего этого не знал, не готовился и пошёл на олимпиаду без всякой подготовки. Из пяти задач на втором туре я решил только две и думал, что провалился. Но потом оказалось, что это была общегородская олимпиада, и я на ней занял третье место. При том, что я к ней совсем не готовился, это было просто удивительно. Оказалось, что я особенно хорошо решил какую-то задачу по теории чисел. Меня наградили — я получил целую кучу книг, штук двадцать. Отчасти это были книги по математике, которые у меня до сих пор хранятся, а отчасти это были сочинения Маркса, Энгельса и Ленина.

Итак, я решился было стать математиком, но родители энергично советовали мне этого не делать. Их аргументация состояла в том, что математикой я везде смогу заниматься, когда хочу (это ведь не требует никакого оборудования и никаких особых условий), а работу мне лучше искать такую, которая доставит средства к существованию. Тогда считалось, что математик мог быть только учителем в школе, а это было неинтересно. А вот инженер — это звучало куда более интересно, и по-видимому производило впечатление на отца, который сохранил дореволюционные понятия о специальностях. Меня каким-то образом убедили стать инженером. И вот я выбрал Одесский Институт Связи, в который и поступил на радиофакультет. Радио мне казалось во всяком случае интересным. Учиться там было легко. Вот только черчение приводило меня в ужас и начертательная геометрия, где нужно было писать стандартным шрифтом и делать эпюры разноцветной тушью. В последний момент я непременно ставил кляксу на эти эпюры, и нужно было начинать всё с начала. Теперь такую нелепость даже представить себе невозможно. А тогда я понял, что черчение — это не для меня. Впрочем, я благополучно окончил первый курс, когда началась война.

Война и эвакуация

Война была для нас неожиданностью. Мы не знали, как развивались события, и в особенности неожиданно было, что хвалёная Красная Армия терпела одно за другим поражения и отступала. Очень скоро обнаружилось, что Одесса находится под угрозой, и началась эвакуация различных учреждений. Отец был специалистом по детским болезням и работал тогда в санатории для детей с костным туберкулёзом. Очевидно эвакуироваться по суше было уже трудно. И санаторий, где работал отец, а вместе с ним и нашу семью вывезли по Чёрному морю. По морю мы шли очень осторожно — только ночью и в сопровождении военных кораблей. И хотя над морем летали немецкие самолёты, мы благополучно прибыли в Новороссийск, откуда нас перевезли в Сочи. Там мы пробыли около месяца, а дальше ситуация складывалась так, что пришлось двигаться дальше.

Дальнейшая эвакуация была страшным делом, потому что железные дороги были переполнены, поезда шли как попало — самое большее, на что можно было рассчитывать, это как-то уехать в теплушках. Теплушки эти и вокзалы того времени, и вообще вся эта история с эвакуацией произвели на меня страшное впечатление. Я никогда этого не забуду. Мы ехали чуть не месяц, потому что проехав какой-то этап, поезд останавливался, и надо было ждать следующей возможности уехать. Чего мы только за это время не наслушались! В ходе войны очень скоро проснулись антисемитские настроения, и нам пришлось наслушаться также и этих разговоров.

Наконец мы приехали в Новосибирск, куда у нас было направление. В Новосибирске уже можно было высадить часть детей санатория, и таким образом обязанности отца в качестве врача этого санатория окончились. Тогда он пошёл в областной здравотдел устраиваться на работу. Я очень хорошо помню, как мы приехали на Новосибирский вокзал, который был страшно переполнен беженцами. Нас приютили какие-то незнакомые люди. Это были школьные учительницы, которые очень хорошо нас приняли, сочувствовали нам. Мы прожили там недели две, пока отец не получил назначение.

Его назначили врачом в Новокусково — это деревня Асиновского района, севернее Томска. Туда мы ехали вначале по железной

дороге, а потом нас повезли на лошадях, потому что деревня эта находилась далеко. Была уже сибирская зима — холод и снег. Но главное — голод. Он был нашим спутником во время всей войны. Мы ели то, что удавалось достать, или то, что выдавали по карточкам. А в деревне ещё и карточек не было — отец получал продукты где-то в местном колхозе. В этой глуши мы слушали печальные сводки информбюро по поводу военных операций, которые велись с потрясающими неудачами — немцы брали всё новые и новые города.

Я тем временем принялся решать задачи. Дело в том, что во время нашей вынужденной остановки в Новосибирске я побывал в книжном магазине и купил там две книги, которые произвели на меня большое впечатление и может быть даже определили мою дальнейшую судьбу. Одна из них была книга Чезаро "Курс алгебраического анализа исчислений бесконечно малых" — переиздание дореволюционного перевода. Теперь эта книга кажется старомодной, но всё-таки это был курс дифференциального и интегрального исчисления, который мне казался понятным, потому что там была теория пределов, следовательно процессы дифференцирования и интегрирования объяснялись на строгом математическом языке. Беда в том, что до этого мне попадались только плохие учебники, в которых анализ излагался не строго. У Чезаро всё излагалось строго, а самое главное — там были задачи по теории пределов. Эти задачи я и принялся решать. К моему удивлению, после некоторых усилий я их все решил. Это было для меня большой поддержкой — я убедился, что могу одолеть трудные задачи.

А другая книга, которую я купил в Новосибирске, была книга какого-то Белоновского под названием "Основы теоретической арифметики". Я до сих пор не имею понятия, кто этот человек, но в его книге я впервые прочёл изложение теории рациональных чисел по Дедекинду, то есть теории сечений. Это было первое современное математическое построение, которое попалось мне на глаза. Оно произвело на меня неизгладимое впечатление. Я всё понял, и удивился, что так хорошо понимаю эти вещи, потому что они были прекрасны. Думаю, что эти впечатления от двух случайно купленных книг сыграли очень важную роль в моей жизни.

Кроме того, я писал письма, пытаясь разыскать мой Институт Связи. Мне сообщили из Москвы, из комитета по высшей школе, что он эвакуирован в Актюбинск, в Казахстан. Но оттуда на мой запрос я не получил никакого ответа. И тогда у кого-то возникла идея, что я могу продолжить моё образование в Томском университете — он не так далеко от нашей деревни, это старинный университет, где

конечно есть физико-математический факультет. Я сделал запрос, и мне ответили, что есть такой факультет, причём на факультете есть разные специальности, в том числе и радиофизика.

Томский университет

Отец повёз меня в Томск. Меня приняли сразу на второй курс, причём я должен был сдать какие-то добавочные предметы, которые не изучались в техническом вузе. Началась моя студенческая жизнь — голодная, нищая, но полная интересных впечатлений. Очень скоро выяснилось, что я вовсе не хочу заниматься никакой радиотехникой, что математика для меня куда интересней. Это выяснилось, как только я начал пользоваться библиотекой и слушать лекции. В Томском университете во многом сохранились ещё старинные нравы. Там была очень хорошая старинная библиотека, где были университетские учебники, а лекции читали хорошие профессора, оказавшиеся в Томске в эвакуации — это было очень интересно. В армию меня не взяли, потому что у меня был порок митрального клапана сердца, так что я мог спокойно заниматься математикой.

Эвакуированные профессора, впрочем, постепенно уезжали в свои родные места, а местные профессора не всегда оказывались такими же знающими. Я тогда слушал спецкурс по римановым поверхностям, который читал некий Волковысский, впоследствии ставший доктором наук. Я никак не мог от него узнать, что же такое риманова поверхность — поверхность она или нет. Дело в том, что хотя римановы поверхности называются поверхностями, они нереализуемы в трёхмерном пространстве. Их нельзя осуществить без самопересечений, стало быть они, строго говоря, и не поверхности. Тот вопрос, что я ему задал, вероятно, студенты задавали нечасто: "Если они не поверхности, то что они такое, какой их логический статус?" Для математика смысл вопроса совершенно ясен — в каком отношении находится это понятие к основным понятиям математики? Волковысский, специалист по римановым поверхностям, этого не знал. Он всё время занимался этим объектом, и ему не приходило в голову поинтересоваться, а что это такое, в сущности, какой статус имеют эти вещи? Статус в этом случае означает, к какой категории они относятся.

Я не мог успокоиться, потому что пока я не выяснил их статуса, для меня эти римановы поверхности не были законным объектом мышления. Так, как они описываются в курсе комплексного переменного, они меня не удовлетворяли. И тогда я с этим вопросом обратился к Петру Константиновичу Рашевскому. Он же совершенно



С отцом Ильёй Яковлевичем в эвакуации. Томск, 1942 г.



С братом Яковом в эвакуации. Томск, 1942 г.

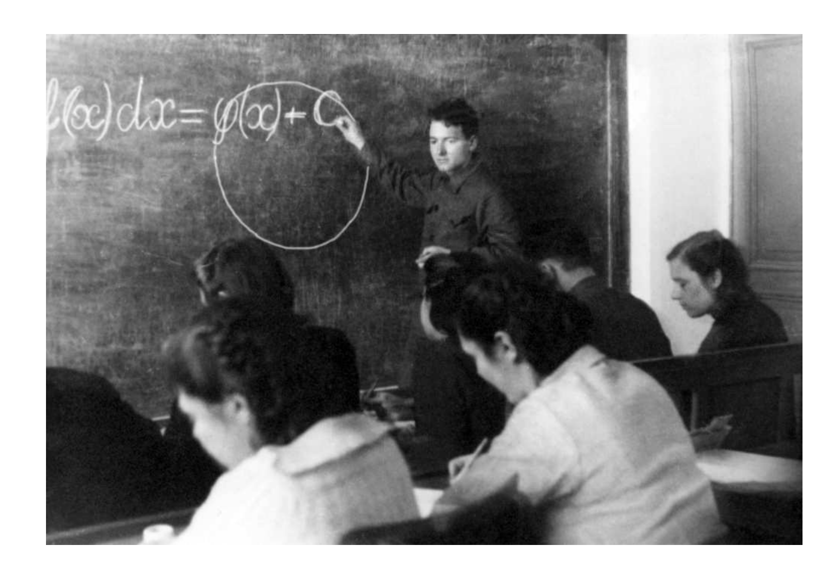
невозмутимо ответил: “Они — двумерные многообразия. Двумерные многообразия — это вот что такое. Поверхности в трёхмерном пространстве, которые мы знаем, это тоже примеры двумерных многообразий. Но двумерные многообразия не обязательно вкладываются в трёхмерные пространства” и т. д. Он понимал это, то есть он был достаточно культурным математиком. На меня произвело впечатление, что некультурный математик, не понимающий своего предмета, может иметь публикации и быть доктором наук. Это было странно.



В эвакуации. Ревекка Григорьевна с родителями, Григорием Семёновичем и Екатериной Абрамовной Николаевскими. Томск, 1942 г.

В тот год родители, как могли, помогали мне. Иногда они присылали мне какую-нибудь посылку, но это было очень трудно, потому что они сами тогда голодали. В Томске я впервые попал в общежитие, что было очень тяжело, потому что я никогда не жил иначе как дома — жить с чужими людьми в одной комнате для меня было почти невыносимо, любые контакты с людьми были для меня всегда трудны, потому что я вырос изолированным. Впрочем, меня никто не обижал, ко мне все хорошо относились, я нисколько не ощущал на себе в ту пору антисемитизма; и вообще, можно было бы сказать, что обстановка в университете была хорошая, если бы не война и голод.

К следующему учебному году отец перевёз семью в Томск, чтобы быть рядом со мной. Ему дали одну комнату в коммунальной квартире, где мы и поселились вшестером. Комната эта была очень далеко от университета, приходилось далеко ходить — городского транспорта в то время в Томске не было, — но я жил дома. Отец всю войну работал в военном госпитале. Его даже наградили орденом Трудового Красного Знамени, который надо было где-то получить, но он так и не потрудился этого сделать, потому что был постоянно занят на работе. Мать пошла работать в какой-то архив, перевезённый с Дальнего Востока — от этого был хоть какой-то заработок. Брат учился в школе. Дедушка умер в 1943 году от раны, которую он получил ещё в Одессе во время бомбёжки. Бабушка присматривала за домом.



Старший преподаватель Пединститута. Томск, 1944–1945 гг.

Все события войны воспринимались, конечно, очень остро и болезненно, но мне никогда не приходило в голову, что немцы могут одержать победу, что они придут сюда. По-видимому, у меня был такой мальчишеский оптимизм, который позволял думать, что кончится всё хорошо. Но самое главное, я не понимал, что происходило в стране: не знал о репрессиях, не знал о жертвах.

И вот наступил 1945 год. Как раз в этом году я окончил универ-

ситет. Я получил диплом с отличием и был принят в аспирантуру Томского университета — в сорок пятом году ещё можно было еврею поступить в аспирантуру, через три года уже было нельзя. До войны преследовали только тех евреев, которые всерьёз воспринимали еврейскую культуру, а остальных не притесняли. После войны Сталин стал закручивать гайки.

Я начал учиться. Но оказалось, что учиться не у кого. Во время войны в Томске были профессора, которые приехали в эвакуацию, но они разъехались ещё до окончания войны. А из постоянных профессоров томского университета один только Николай Павлович Романов был настоящим математиком, как я тогда понимал. Но и он уехал, потому что из-за язвы желудка ему нужны были особые условия питания — он уехал в Самарканд, где были фрукты, рис… Но даже если бы он остался, я вряд ли стал бы с ним работать, потому что он занимался теорией чисел, и даже пытался меня этим заинтересовать, но это было не для меня. И я понял, что учиться не у кого. Пришла идея перевестись в аспирантуру Московского университета, где тогда была знаменитая математическая школа — Москва была тогда одним из мировых центров математики. Но когда я стал просить о переводе в Москву, декан факультета Вера Михайловна Кудрявцева, которая очень хорошо ко мне относилась, сказала: “Нам неудобно отпускать вас с первого курса. Ведь это означало бы, что мы не можем подготовить аспирантов уже на первом году”. Так я целый год просидел в аспирантуре в Томске без всякой пользы.

Я хотел заниматься функциональным анализом. А этот интерес у меня выработался под действием статьи Немыцкого по функциональному анализу в “Успехах математических наук”. Конечно, я пока ещё плохо представлял себе, что такое функциональный анализ, но главную идею понял — идею о том, что функция изображается как точка (или вектор) некоторого пространства, и открывается возможность применить геометрическую интуицию в функциональном пространстве.

Я вступил в переписку с одним из моих профессоров, с Петром Константиновичем Рашевским, геометром, который вернулся в Москву из томской эвакуации. Он меня знал, помнил мои вопросы, мои реакции и начал обо мне хлопотать. Рашевский договорился, что меня возьмёт к себе в аспирантуру Израиль Моисеевич Гельфанд, уже тогда знаменитый математик и главный представитель функционального анализа в Московском университете. И тогда меня отпустили из Томска в Москву в качестве прикоманди-

рованного аспиранта. Это значит, что я числился аспирантом Томского университета, прикомандированным к институту математики Московского университета.

Московская аспирантура

Школа Лузина

Московский университет в то время был одним из мировых центров математики. Математическая школа в Москве расцвела перед самой революцией, во время революции и гражданской войны. Это происходило в очень тяжёлых материальных условиях. Образовалась она из студентов Московского университета вокруг Николая Николаевича Лузина, недавно вернувшегося из Гёттингена и Парижа. Некоторых из его учеников я знал, бывал на их лекциях и семинарах и сохранил о них впечатление.

Николай Николаевич Лузин был купеческий сын из Томска. Однажды в Томске я видел на одной квартире уцелевшую табличку его отца.

Он получил обычное образование в гимназии. Но в гимназии он по математике учился плохо, не успевал. Это свидетельствует только о том, что у него был, по-видимому, плохой учитель. Но он интересовался математикой и поступил в Московский университет. В ту пору Московский университет по математике был ещё слаб, и по окончании Московского университета он поехал в Париж. Это было незадолго до революции, может быть, в 1912 или 1913 году, где познакомился с французской математической школой.

Он рассказывал, что наибольшее впечатление на него произвели лекции Пуанкаре. Это особенно любопытно, поскольку его собственные научные интересы были далеки от этого. Пуанкаре рассказывал методы возмущения в небесной механике. Лузин никогда не занимался этими сюжетами, но его совершенно изумило, в каком стиле тот читал лекции.

Пуанкаре обычно в начале лекции ставил задачу — *нерешённую* задачу — и принимался её решать. К концу лекции задача могла быть решена, продвинута или не удавалась. Все эти возможности случались, но слушатели имели возможность присутствовать при совершенно необычном явлении — они наблюдали процесс решения задачи первоклассным математиком: как он думает, какие пути он ищет. И это настолько расходилось с привычками, господствовавшими в то время в Московском университете, что Лузин был этим потрясён.

В обычных европейских университетах читали курс по каким-нибудь учебникам, придерживаясь известного порядка, и рассказывали только хорошо известные вещи. Причём искусство профессора заключалось в том, чтобы не запутаться в предмете и аккуратно изложить известное.

Пуанкаре рассказывал совершенно неизвестные вещи, вначале неизвестные ему самому — это был процесс творчества. Такой совершенно новый и необычный подход к построению лекций поразил Лузина, хотя сам предмет рассказа Пуанкаре его не интересовал. Его интересовали другие сюжеты.

Дело в том, что как раз в начале века во Франции произошёл очень значительный перелом в математическом мышлении, связанный с появлением теории функции действительного переменного. Это было расширение классического анализа, которое в первую очередь связывается с появлением меры интеграла Лебега. Лебег был французский математик совершенно иного стиля, чем Пуанкаре, отнюдь не пользовавшийся такой известностью. И даже то, что он делал, было плохо принято классиками, в том числе и Пуанкаре. А ввёл он новое понятие меры и интеграла. Достаточно сказать, что тот интеграл, с которым мы теперь имеем дело, — это интеграл Лебега. Старое определение интеграла Римана он вытеснил. Новые понятия, которые были введены такими математиками как Лебег, Борель, Бер, Фату, произвели сильнейшее впечатление на Лузина, потому что как раз эти вещи были в духе его собственных интересов.

Когда он вернулся в Москву, он стал пропагандистом и идеологом теории функции действительного переменного, что было совершенно новым направлением и сразу же получило большую популярность в Московском университете. Эта популярность была не только положительным явлением, она несла в себе некоторый отрицательный элемент. Молодые люди, которые увлеклись функциями действительного переменного, перестали интересоваться классическим анализом. Классическая математика вообще вышла из моды в этой среде. Достаточно сказать, что курс уравнений в частных производных, который читали в университете, вызывал общее отвращение — их называли "несчастными производными". А между тем, ведь это предмет, который стоит прямо на границе приложений анализа к математической физике. Впоследствии оказалось, что московская математическая школа породила превосходных исследователей и в этой области, но это было потом.

Николай Николаевич Лузин был очень своеобразный человек. Он был энтузиастом, загоравшимся новыми идеями, пропаганди-

ровал эти идеи и в высшей степени обладал способностью образовывать учеников. А этой способности не имели многие величайшие математики. Например, Пуанкаре не имел ни одного определённого, несомненного ученика. Образование школы — это совершенно особый талант. Если, например, говорить о физиках, то Эйнштейн не имел учеников. У него были сотрудники-секретари или нечто в этом роде, но сильных физиков, которые могли бы быть названы его учениками, у него не было.

Для того, чтобы иметь учеников, необходимо умение работать с молодёжью, которое в значительной степени независимо от математического таланта. Лузин не был великим математиком. Ему не принадлежат фундаментальные математические результаты, хотя, конечно, теорема Лузина об аппроксимации измеримых функций непрерывными является классической теоремой теории функций действительного переменного, и Лузину принадлежит важный вклад в дескриптивную теорию множеств. Однако он в высшей степени обладал способностью образовывать учеников — не обучать учеников, а именно образовывать их.

Самым блестящим из его учеников, несомненно, был Андрей Николаевич Колмогоров. Он был одним из великих математиков двадцатого века. Это был человек с оригинальными идеями. Достаточно сказать, что ему принадлежит первая общепринятая аксиоматика теории вероятностей. Он сделал теорию вероятностей строго математической наукой в своей книге 33-го года. Колмогоров отличался универсальным охватом математических предметов, то есть его работы относились едва ли не ко всей математике.

С Колмогоровым был тесно дружен Павел Сергеевич Александров. Оба они были родом из Смоленска и оба из старых интеллигентских семей. Они представляли собой элемент старой, традиционной русской интеллигенции, которую я очень высоко ценю и пытаюсь всячески поддержать её продолжение.

У Павла Сергеевича Александрова не было такой универсальности. Это значит, что талант его был ниже, чем у Колмогорова. Он не был великим, он был выдающимся математиком. Начинал он с теории множеств в стиле Лузина. А потом он занялся так называемой теоретико-множественной топологией. Топология и составляла в математике его преимущественный интерес.

Дмитрий Евгеньевич Меньшов и Нина Карловна Бари занимались тригонометрическими рядами в стиле теории функций действительного переменного. Их я лично не знал, и даже не помню, чтобы их видел. Они, конечно, появлялись на факультете и были

тогда активны, но я не интересовался этим предметом.

Пётр Сергеевич Новиков был гениальный математик, который последовал по пути теории множеств. И более того, развил её в ту сторону, в которую Лузин не мог или не хотел её развивать. А именно, от теории множеств он перешёл к тесно связанной с ней математической логике. Ему принадлежат важнейшие результаты в математической логике и в алгебре, потому что он был ещё и выдающимся алгебраистом.

Он был скромен, похожий на колхозного бухгалтера, ходил в очень рваных башмаках — тогда было трудно с этим. У него я был на одной только лекции по математической логике, и она мне очень понравилась, но я не имел возможности всё слушать — не мог разбрасываться. Он сказал тогда: "А кто знает, может быть теорема Ферма и неразрешима". Это значит, что её нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Для меня было большим потрясением, что такие вещи бывают. Он ошибся, потому что она оказалась всё-таки доказуемой.

Появились также люди несколько иного направления, которые отошли от интересов школы Лузина.

Лазарь Аронович Люстерник и Лев Генрихович Шнирельман вначале работали вместе и были соавторами. Их знаменитая работа о замкнутых геодезических была как раз в традициях Пуанкаре и была связана с дифференциальной геометрией и топологией. Сюжеты эти уже далеко ушли от того, чем занимался Лузин. Это направление как раз и стало моей специальностью.

Моложе других был Лев Семёнович Понтрягин. Он был учеником не самого Лузина, а П. С. Александрова. Он занялся топологией, но не теоретико-множественной, как Павел Сергеевич, а комбинаторной топологией. Теперь её называют алгебраической топологией. Из Понтрягина выработался классик, совершенно первоклассный математик, проложивший новые пути в топологии.

И, наконец, появилось классическое по сюжету направление математического анализа — дифференциальные уравнения. Совер шенно новые и сильные результаты стал получать Иван Георгиевич Петровский, который, как и Лузин, был учеником Дмитрия Федоровича Егорова. На семинарах Петровского я никогда не был и его предметом тогда не интересовался, хотя впоследствии даже очень интересовался.

Можно упомянуть ещё таких математиков, как Вячеслав Васильевич Степанов (ученик Д. М. Егорова), специалист по обыкновенным дифференциальным уравнениям, и Виктор Владимирович

Немыцкий, который занимался функциональным анализом и дифференциальными уравнениями. Степанов был автором известного учебника дифференциальных уравнений, по которому я учился. А Немыцкий — автором той самой статьи, которая повлияла на моё решение заниматься функциональным анализом и ехать в Москву. Она произвела на меня сильнейшее впечатление.

А потом появились новые люди, которые уже не были учениками Лузина. Среди них самым выдающимся математиком и основателем школы был Израиль Моисеевич Гельфанд. Я не знаю, чьим учеником был Израиль Моисеевич и был ли он вообще чьим-нибудь учеником. Он начал внезапно, с очень новых и сильных результатов. Происходил он откуда-то из провинции, из Бессарабии. В Москве его энергично поддержал Колмогоров, который понял его талант и его оригинальные результаты.

Московская математическая школа

Как функционировала эта школа в эпоху её расцвета? Территориально московская математическая школа была связана с Московским университетом. Мехмат Московского университета тогда был крупнейшим математическим центром. Теперь об этом очень странно говорить, потому что в наше время всё это в далёком прошлом — хотя роль российской математики всё ещё значительна, она никак не сравнима с тем, что было тогда.

Фольклор, который был распространён в Московском университете, утверждал: "До войны было две главных математических школы: одна из них — немецкая школа в Гёттингене, которая приняла уже интернациональный характер, а другая — московская математическая школа. Нацисты, конечно, уничтожили немецкую школу, но спасшиеся из Германии математики вместе с американскими математиками создали математическую школу в Соединённых Штатах".

Осенью 46-го года, когда я появился в Москве, там думали, что теперь есть две математических школы — американская и московская. Причём никакого комплекса неполноценности у москвичей не было. Они полагали, что эти школы равноправны, равноценны и сопоставляли их довольно бесцеремонно, вплоть до комического. Топологи, например, говорили, что в Америке есть Стинрод (уже тогда знаменитый тополог), а у нас в Москве есть Кронрод (он подавал надежды стать выдающимся математиком, но не оправдал этих надежд, потому что перестал заниматься математикой).

Претензия эта на самом деле была неосновательной, потому что московская математическая школа, конечно, не могла выдержать конкуренции с американской. Американская, была сильнее. Там уже были собственные выдающиеся математики — коренные американцы: Морс, Лефшец и, в особенности, Джордж Дэвид Биркоф и Винер. Но когда предвоенная и нищая послевоенная Европа экспортировала в Америку нескольких своих самых выдающихся математиков, среди которых был, например, Фон Нейман, американская математическая школа превратилась, по существу, в международный центр.

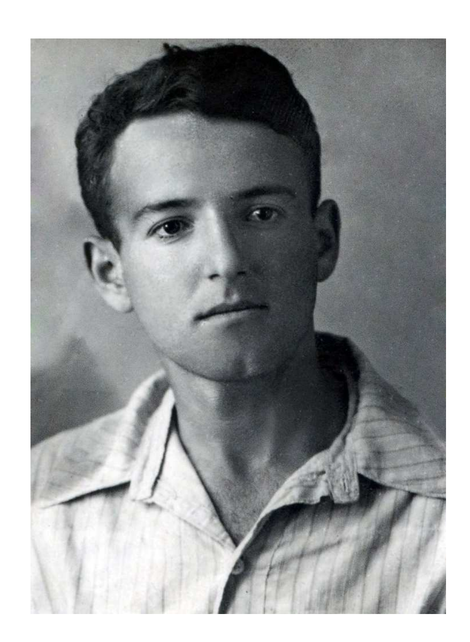
Второе обстоятельство, которое делало эти школы неравными и сказалось на их судьбе, состояло в том, что американская школа имела прекрасные возможности для развития. Это была богатая и свободная страна, где учёных щедро оплачивали, положение учёных в Америке как раз в это время стало очень почётным, и математические школы там создавались не в одном каком-нибудь месте, как у нас в Москве, а в целом ряде университетов, где бурно развивалась математика.

Более того, в отличие от Москвы, у них была органическая связь с другими науками: с физикой, биологией, что и проявилось в работах Винера, создавшего кибернетику. Словом, Америка впитала в себя все математические силы Европы, а Москва этого не сделала и не могла сделать, потому что иностранцам въезд в Россию был почти невозможен. И когда из Германии разъехались эмигранты, Москва этим не воспользовалась. Одного только человека я знал в Москве, который приехал из Германии и работал в Московском университете — это был Плеснер, крупный специалист по функциональному анализу. Он был, пожалуй, пионером функционального анализа в Москве. Это не был математик мирового масштаба, скорее, солидный специалист по своей части. Но ему повезло — будучи иностранцем и приезжим из Германии, он остался в живых, не был арестован и умер своей смертью. Для Советского Союза это можно было считать большим достижением.

А когда советская власть перешла к активному разрушению науки, Московская математическая школа была обречена.

Университет

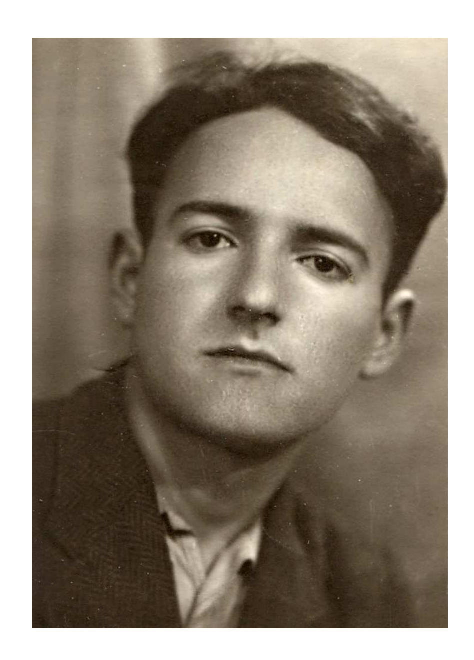
Осенью 1946 года я приехал в Москву. И вот пришёл я, никому не известный оборванец, в Институт Математики Московского университета. Директором этого института был Вячеслав Васильевич



В аспирантуре. Москва, осень 1946 г.

Степанов, автор знаменитого учебника дифференциальных уравнений. Он реагировал на моё появление очень замечательно: “Для нас большая честь, что к нам приезжают учиться издалека”. Я был потрясён этими словами. Никакой чести университету от меня не было. Я был никому не известен, а университет был старый и знаменитый. Но Вячеслав Васильевич Степанов был представитель старой интеллигенции.

В общежитие мне удалось устроиться далеко не сразу, а после больших хлопот. Пришлось ходить в главное управление университетами, которое должно было заняться устройством моей койки в общежитии. А пока меня приютил Михаил Васильевич Охотин — учёный, кандидат технических наук. Он мне предоставил свою подмосковную дачу, где я и жил, в полной изоляции и в ужасающем холоде, потому что уже была поздняя осень. Вопросы питания тогда тоже были почти неразрешимы — московских карточек у меня ещё не было. Что я ел, находясь на этой даче, я просто не могу припомнить. Единственное воспоминание, что в Москве я покупал какие-то пирожки, которые продавали на улице. С чем они были, мне даже страшно подумать.



В аспирантуре. Москва, апрель 1947 г.

Старые здания Московского университета находятся в центре Москвы, напротив Манежа. Если встать к ним лицом, то можно увидеть памятник Герцену и Огарёву. Слева от него был расположен корпус точных наук, а справа — корпус гуманитарных наук. В этот второй я никогда не заходил — мне это было неинтересно. А в корпусе точных наук я проводил бо́льшую часть своего времени. В левом крыле этого корпуса находился Кабинет математики — прекрасная математическая библиотека, которая стараниями Московского математического общества получала все важнейшие мировые журналы, монографии. И всё это делалось несмотря на отсутствие валютных ассигнований. Дело в том, что Московское математическое общество и московский университет имели обменный фонд. Они издавали Математический сборник, один из старейших и самых солидных математических журналов Европы, они издавали интересные математические книги, поэтому им было чем обмениваться. Обмен был искусно организован и, самое главное, вёлся не равнодушными библиотекарями, а настоящими энтузиастами этого дела под наблюдением математиков. Это была прекрасно

снабжённая математическая библиотека. Там я и работал.

Математическая работа в Московском университете происходила в двух учреждениях, одним из которых был Математический институт при Московском университете. Его не надо путать с Академическим институтом математики им. Стеклова, который с Московским университетом не был связан. Выдающиеся математики обычно работали в обоих местах. Директором института математики был Вячеслав Васильевич Степанов.

Этот институт представлял собой учреждение, которое можно было бы назвать излишним, потому что на самом же деле был математический факультет. Зачем был ещё институт? Но это имело свой смысл, потому что это было административное звено, независимое от института Стеклова. Как я потом понял, это было важно, потому что в Стекловском институте была дурная традиция, казённая, бюрократическая и антисемитская. А в Институте при Московском университете традиция была интеллигентская, на старый лад. Этот институт вскоре после моего отъезда из Москвы закрыли. Я не знаю, почему начальство решило его закрыть, но это не было связано с арестами — никого не арестовали.

Вторым учреждением было Московское математическое общество, на заседаниях которого я несколько раз бывал, но не часто. Доклады на Московском математическом обществе были для меня недоступны. Они адресовались уже образованным математикам, касались специальных предметов, которых я большей частью не знал, а активного участия в математической жизни я принимать не мог — я был начинающим математиком. Там я слышал доклады Понтрягина в 48-ом году. А докладывал он свои характеристические циклы. Я не имел понятия тогда, что это великая, очень важная идея, хотя мне это было очень интересно.

Семинары

Но самая главная часть жизни Московской математической школы протекала в семинарах. Здесь я познакомился с тем, что такое семинары. Впоследствии я утратил такую возможность, потому что в тех местах, где я работал потом, не было достаточно сильных и заинтересованных математиков, чтобы образовывать семинары. Их не было в Томске, где я потом работал. Их не было и в Новосибирске, несмотря на то, что туда переехало несколько крупных математиков. Но там ни разу не было активно действующего семинара. Делались попытки их организовать, но они не шли, не получались.

Для того, чтобы семинар создался, нужны особые условия, и, прежде всего, нужен руководитель семинара, инициатор, крупный математик, имеющий учеников. Эти ученики работают в семинаре, когда они уже есть, и образуются заново, когда они приходят в семинар. В семинаре этом ставятся задачи и докладываются решения задач, делаются рефераты по чужим работам и всё время обсуждаются математические вопросы.

Семинарская форма работы в математике, по-видимому, не была развита в прошлом. Я не уверен, что такие семинары где-нибудь были в девятнадцатом веке. Конечно, люди собирались и обсуждали разные вопросы, но такой организационной формы как семинар, не было. А это была именно форма организации, потому что семинары были постоянно живущими учреждениями, они продолжались, и некоторые из них продолжались даже после смерти основателя — его ученики брали на себя роль руководителей семинара, — но чаще всего в таких случаях разрушались.

Семинаров было много, и они охватывали обширный спектр математических наук. Была доска объявлений, на которой прикалывали кнопками написанные от руки, очень небрежные листочки: "Семинар такого-то (или таких-то, потому что были семинары, возглавляемые двумя или тремя лицами) начинается тогда-то, будет проходить по вторникам в такое-то время". И вот передо мной, приехавшим из глубокой провинции, открылась бездна математической премудрости. Там были представлены все области математики, как я полагал. И в самом деле, если не все, то большинство из них были там представлены, и представлены первоклассными именами. Можно было идти в эти семинары и участвовать в них, если для этого было понимание.

Семинар Гельфанда был самый многочисленный и самый популярный. Это было связано с тем, что он занимался функциональным анализом в новом направлении, в значительной степени начатом им самим. Он был инициатор так называемых нормированных колец, которые впоследствии назвали банаховыми алгебрами. На самом деле их, наверное, надо было бы называть алгебрами Гельфанда, но так как были банаховы пространства, а тут появились алгебры с банаховой нормой — их назвали банаховыми алгебрами. Сам Гельфанд называл это нормированными кольцами.

Это была очень популярная тематика, самая модная тогда область функционального анализа, и в семинаре Гельфанда было человек 50 — это был чрезвычайно многолюдный семинар. Там были его ученики и сотрудники, некоторые уже были доктора наук — они

сидели в первом ряду. Когда Гельфанд со своей обычной манерой задавал кому-нибудь провокационный вопрос, желая показать своё превосходство или возбудить интерес публики, он говорил: "Сначала говорят только доктора". И доктора говорили, конфузились, к большому удовольствию Гельфанда.

Но то, что происходило в семинаре Гельфанда, показалось мне непонятным и странным. Дело в том, что как раз в ту пору Гельфанд переходил от своей тематики нормированных колец к новому сюжету — к представлениям групп.

Очень забавно, что как раз теперь я сижу за представлениями групп, а в то время я ими не занимался, не интересовался, и я вовсе не знал, зачем это нужно. Дело в том, что мои занятия физикой тогда были эпизодические, и хотя физика меня очень интересовала, но я не знал ещё, какую роль играет теория групп в квантовой механике. Гельфанд это знал, и он надеялся с помощью представлений групп сделать продвижение в физике. Его надежды в области физики не оправдались — ему не удалось открыть никаких новых релятивистски инвариантных уравнений, и в физике он ничего существенного не сделал, как это теперь ясно. Но тогда они занимались представлениями групп, причём не конечномерными представлениями, а бесконечномерными, значение которых Гельфанд, безусловно, понимал.

Его главным помощником по этой части был Марк Аронович Наймарк. С Наймарком они занимались и нормированными кольцами, и потом — представлениями групп, бесконечномерными представлениями. Это была алгебра, и она казалась мне трудной и непонятной. Дело в том, что моё развитие пошло по линии геометрии — я геометр по вкусам и настроению, а алгебра была мне чужда. А так как я вдобавок не слушал никаких хороших курсов в университете и ни один алгебраист на меня не влиял, то я был невежествен в алгебре. И я не понимал, зачем всё это делается, мне это было неинтересно, а я ведь приехал заниматься тем, что меня интересовало. Я увидел, что тем функциональным анализом, который был в статье Немыцкого (а меня больше всего в ней привлёк принцип неподвижной точки в применении к функциональным уравнениям), здесь не занимались. И топологическими методами функционального анализа Гельфанд не занимался — он занимался алгебраическим аппаратом.

Кроме того, хотя Гельфанд и был одним из самых выдающихся математиков двадцатого века, он был крайне неприятный человек. В нём был какой-то сильно развитый комплекс неполноценности.

Очевидно, он страдал от чего-то ещё в детстве. При обсуждении всяких математических вопросов он очень бесцеремонным образом демонстрировал свои способности, своё превосходство. Он это делал даже без всякой необходимости, с начинающими математиками. Он высмеивал людей, которые высказывали неправильные точки зрения, высмеивал чужие ошибки и, что самое главное, он совершенно не способен был уважать и оберегать самолюбие молодых людей. Его поведение было вызывающе неприятным. Это не только моё мнение, так думали о нём и другие люди, его знавшие. Кто с ним сотрудничал, должны были его терпеть и, вероятно, натерпелись немало.

Особенно должен был терпеть его и приспосабливаться к нему его друг и ближайший ученик Георгий Евгеньевич Шилов. Он был очень хороший человек. Поскольку в семинаре Гельфанда было много студентов и аспирантов, не понимавших тех дискуссий и докладов, которые там происходили, был устроен подсеминар для молодёжи. Этим подсеминаром руководил Шилов. Он давал студентам задачи, но не те задачи, что в учебниках, а нерешённые задачи. И они их иногда решали, как я слышал. В одну задачу я вцепился. Это была задача по функциональному анализу, связанная с теорией функций комплексного переменного, которую я уже в то время знал.

И сидя на холодной даче, я принялся думать над этой задачей. Думал, думал, думал и вдруг решил. Причём в математике ведь так бывает, что если ты решил задачу, то это твёрдо знаешь. Это не искусство, где оценку сделанного может дать только специалист, эстет, где человек может иметь иллюзии. Полно людей, которые имеют иллюзии, что они художники, что они композиторы и т. д. Но в математике если задача решена, то логическая процедура ее решения должна быть верна, и это стандартным образом проверяется. Поэтому человек, решивший задачу, знает, что он решил её.

Я пришёл на семинар, окрылённый этим, и рассказал Шилову, что решил задачу так-то и так-то — быстро объяснил ему у доски идею решения. Она ему понравилась, он сказал: “Мы будем писать заметку в «Доклады»”.

“Доклады Академии Наук” — это был серьёзный журнал, но там печатались и начинающие математики Московского университета, как только у них получались серьёзные результаты. Я был на восьмом небе. Теперь я не могу даже припомнить эту задачу. Но тот факт, что Шилов предложил её решать и потом напечатать работу в Докладах, свидетельствует о том, что это была не такая уж

тривиальная задача. И вот на семинаре Георгий Евгеньевич рассказал Гельфанду, что Фет доказал такую-то вещь, на что Израиль Моисеевич ответил: “А зачем ты, Юра, даёшь глупые задачи?”. Георгий Евгеньевич что-то пробормотал. В то время он уже был очень известный математик, но что́ он мог против Гельфанда? Так увяла моя первая работа. Впоследствии я сделал другие, но мне было бы куда легче жить, если бы была опубликована та заметка в Докладах — это бы свидетельствовало о том, что я могу решить серьёзную задачу.

Доступ в семинары был совершенно открытый, каждый желающий мог приходить, садиться, слушать, задавать вопросы, что иногда приводило к конфузам, но молодые люди не должны конфузиться этим. Семинары — это то место, где студенты получали специальность.

Семинар Люстерника, в отличие от Гельфанда, был очень маленьким. Там было человек 7–8, не больше, причём это были разные люди. Некоторые из них были взрослые математики (как например, Лев Эрнестович Эльсгольц, а другие были аспиранты. Были также взрослые математики, не работавшие в университете. Почему там было так мало народу? Дело в том, что предмет этот не был модным. Люстерник занимался топологическими методами в геометрии и в функциональном анализе. Для этого нужны были разносторонние знания. Нужно было знать топологию, причём не теоретико-множественную топологию, которой занимался Александров, а более серьёзную, алгебраическую топологию. И надо было знать приложения — анализ и геометрию, к которым эти методы применялись, то есть надо было знать широкий спектр математических наук.

Я не знаю, как справлялись с этой многосторонностью участники семинара Гельфанда, но семинар Люстерника явно отпугивал людей тем, что там надо было много знать. Но так как меня это интересовало, то я не испугался, а стал туда ходить и разбираться во всём этом.

Стиль этого семинара был совсем другой. Лазарь Аронович Люстерник был известен своей сделанной вместе со Шнирельманом классической уже работой о замкнутых геодезических, где он доказал гипотезу Пуанкаре о трёх замкнутых геодезических на замкнутых поверхностях рода нуль. У него были и другие важные работы. Он хорошо разбирался в геометрии и анализе и применял там топологические методы. Хотя сам он новых топологических результатов не выдавал, но он применял эти методы к геометрии и

анализу. Это было для меня необычайно интересно.

Лазарь Аронович был человек очень добродушный, доброжелательный. У него была некоторая ирония, но он был совершенно свободен от наглости и вызывающих манер Гельфанда. Обращение его было ровным, без этого рангового порядка, который был в семинаре Гельфанда. Он был математик очень сильных способностей и, вероятно, гораздо больше бы сделал в своих областях, если бы больше работал.

Он никогда не занимался моим развитием, но он отвечал на мои вопросы и дал мне задачу, которая стала моей кандидатской диссертацией. Впоследствии я узнал, что эта задача была в его собственном плане научной работы. Я вспоминаю его с благодарностью, хотя он был человек не очень внимательный. Я ему обязан в научном смысле — он дал направление моей научной работе. Когда я оказался без работы, он сделал всё, чтобы оказать мне поддержку. Он говорил обо мне с Соболевым и, вероятно, это привело к тому, что меня приняли в Институт Математики, потому что Соболев меня лично не знал. А если в нём не было активного участия к людям, то я сам в этом отношении ничем не лучше. Когда я вспоминаю своё отношение к моим ученикам, то понимаю, что тоже мало занимался их личностью: не знал, где они живут, чем они живут, и только потом уже начал этим интересоваться.

Павел Сергеевич Александров был очень колоритной фигурой. Он был из интеллигентской семьи, с разными интеллигентскими наклонностями. В молодости он увлёкся гипотезой континуума Кантора, пытался доказать её и убил на это несколько лет. Этот интерес неудивителен, поскольку он был одним из самых первых учеников Лузина, а Лузин мечтал, что кто-нибудь докажет или опровергнет эту гипотезу. Он любил говорить: “Придёт еврейский мальчик и докажет гипотезу континуума”. Но когда такие мальчики приходили, они, увы, занимались не этим: Гельфонд стал знаменитым арифметиком, специалистом по теории чисел, а Шнирельман, на которого Лузин возлагал особые надежды, тоже не стал заниматься теорий множеств и к тому же рано погиб. Впоследствии гипотеза континуума оказалась в очень своеобразном положении. Оказалось, что исходя из обычных аксиом математики она не может быть ни доказана, ни опровергнута. Этот потрясающий результат Лузин отчасти предчувствовал в последние годы жизни, а думать об этом он не переставал никогда, как я узнал со слов Алексея Андреевича Ляпунова, который называл себя последним учеником Лузина. Несколько математиков на этом сошло с ума, в том числе и сам Кантор.

Затратив на это несколько лет, Павел Сергеевич впал в отчаяние и перестал заниматься математикой. Он занялся чем-то вроде литературоведения. Он разъезжал по России с лекциями по литературе, особенно о Достоевском. Лекции эти имели большой успех. И было это как раз в самом конце гражданской войны, в это голодное время. Но, к счастью, он не остановился на этом, не стал популяризатором русской литературы, а занялся только начинавшейся тогда теоретико-множественной топологией, которую иногда называют общей топологией.

В это же время в Москве появился его сверстник Павел Самуилович Урысон, его ближайший друг молодости, с которым они вместе работали. Им принадлежит большая заслуга в обосновании начал теоретико-множественной топологии. Урысону, в частности, принадлежит знаменитая лемма Урысона.

Но это направление, которое Павел Сергеевич начал в Москве, оказалось тупиковым — оно не привело к интересным результатам, поскольку, занимаясь чисто логическим развитием оснований топологии, он упустил из виду связи топологии с математическими науками. Он не интересовался приложениями топологии к математике. А главный путь развития топологии заключался в применении алгебры. И этим как раз занимался Лев Семёнович Понтрягин, виртуоз по этой части. А Павел Сергеевич алгебры не освоил, занимался теоретико-множественной топологией всегда в одном и том же духе, применяя лишь самый простейший алгебраический аппарат. И так как у него было много учеников и способность к образованию школы, то он сыграл даже вредную роль, потому что в Московском университете развилось провинциальное, захудалое и тупиковое направление в топологии.

Однажды, будучи уже в Новосибирске, я даже попытался с ним объясниться на эту тему. Я написал ему письмо, где указал, что он завёл топологию в тупик, что было величайшей дерзостью с моей стороны. Я получил вежливый ответ на это письмо, из которого видно, что Павел Сергеевич не понимал и не принимал моих мыслей на эту тему.

На своём семинаре он занимался как раз этой теоретико-множественной топологией, которая мне не понравилась. Я в него ходить не стал, несмотря на то, что Павел Сергеевич был очень любезен, никого не оскорблял и не обижал, как Гельфанд, и щедро раздавал свои задачи.

Настоящим представителем серьёзной топологии в Москве был Лев Семёнович Понтрягин. Семинар Понтрягина мне показался

чрезвычайно интересным, хотя он держался холодно и отчуждённо. Этот семинар для меня имел важное значение. В нём я понял самое главное — что такое настоящая топология.

Понтрягин считается учеником Александрова, но в действительности его учителем был Вадим Арсеньевич Ефремович. Ефремович не был профессором Московского университета, потому что он как раз отсидел свой срок в это время. Понтрягин помог ему обосноваться в Москве, но работал он где-то в другом месте, обратно в университет его не взяли. Будучи бывшим зэком и не работая в университете, он всё же получил возможность вести там семинар. В семинар Ефремовича я ходил и многому там научился.

Отношения между Понтрягиным и Александровым были, по-видимому, прохладные, хотя и вежливые, как я мог наблюдать. Мне запомнилась такая сцена. Проходило объединённое заседание топологических семинаров Александрова и Понтрягина, что бывало нечасто. Зашла речь о том, что у некоторых аспирантов имеются “хвосты” — не сданные экзамены. Александров сказал: “Начальство на это очень плохо смотрит, и оно может начать придираться и присматриваться, почему это у топологов хвосты. Надо произвести решительное обесхвощивание”. А Понтрягин добавил к этому мрачно: “Начнут разбираться, чем они там занимаются, и выяснится, что занимаются они топологией”. Откуда видно, что Лев Семёнович тогда ещё не был человеком, хорошо ладящим с начальством.

Читались лекции. Меня интересовали и некоторые студенческие курсы, потому что для студентов читали лекции выдающиеся математики. Я помню, как прослушал лекцию Колмогорова по функциональному анализу и очень сожалел, что я не смог продолжить посещение этих лекций — не было времени. Послушал лекцию Куроша по алгебре, лекцию Рашевского по римановой геометрии, лекцию Новикова по математической логике, несколько лекций Понтрягина — всё это открывало огромные возможности для работы тому, кто хотел работать. И таких желающих было много, потому что московский мехмат был действительно центром научной и общественной жизни. Ведь общественная жизнь сосредоточивалась тогда в немногих областях, где ее не преследовали — математика была такой областью, до неё не добрались. Но систематически посещать лекции я не мог. Это великое разнообразие научных материалов, которое предлагалось там, превосходило все возможности имевшегося у меня времени. Я понял, что мне надо держаться чего-то одного и не разбрасываться. К сожалению, в будущем я



В аспирантуре. Москва, лето 1947 г.

был не всегда столь осторожен. Кроме того, учиться по лекциям — это был слишком долгий путь обучения.

С какой яростью я пытался доказать себе тогда, что я математик! Дело в том, что я приехал из провинции, и мне объяснили, что хотя я уже и прошёл первый год в томской аспирантуре, но знания мои находятся на уровне третьего курса, иногда поправлялись — хорошего третьего курса. А вокруг ходили важные молодые люди и обменивались фразами, каждая из которых представляла собой нечто загадочное, причём я, конечно, не умел тогда отличить серьёзное от несерьёзного.

Молодые люди тогда не были похожи на нынешних — они не думали о кандидатских степенях, о зарплатах, о квартирах. Они думали о задачах: "Он решил такую-то задачу, а у меня не получается моя задача". И на мехмате суждение о людях было такое: "Такой-то, который решил такую-то задачу, занимается теперь тем-то и тем-то". И весь мехмат хохотал над каким-то незадачливым молодым человеком, который ходил и просил перевести ему работу с английского — не может прочесть работу по-английски!

В это время я уже ходил в разные семинары и, в том числе, в семинар Виленкина по топологическим группам.

И вот сижу я в старой библиотеке на Моховой и думаю, с чего начать — ничего не знаю. И подходит ко мне Наум Яковлевич Виленкин и спрашивает, над чем я задумался. Я говорю ему, что приехал из Томска, недостатки образования — не знаю, с чего начать. Он говорит мне: "Начните с топологии". И, кажется, он мне порекомендовал "Топологию" Александрова и Хопфа. Хопф был коллега и друг Павла Сергеевича Александрова, с которым они написали немецкий курс топологии под названием "Комбинаторная топология". Она вышла в Берлине в 1935 году. Это довольно удивительно — через два года после захвата власти фашистами. Но издательства работали, и всё ещё печатались немецкие журналы — инерция некоторое время продолжалась. Во всяком случае, Павел Сергеевич не побоялся напечатать в Берлине свою книгу. Она была в библиотеке, и мне её выдали.

Книга была издана в 35-ом году, а я приехал в аспирантуру осенью 46-ого. Я не знал, что за это время многое изменилось в топологии (во всяком случае с формальной стороны), и Павел Сергеевич написал другую книгу — он один. И эта другая книга ещё не была напечатана, но её машинопись находилась в этой же библиотеке, и все молодые люди, занимавшиеся топологией и просто готовившиеся к кандидатским экзаменам, учились по этой новой книге, а по старой никто уже не занимался. Я ничего не знал об этой новой книге и узнал о ней лишь много месяцев спустя, на экзамене — с топологами я ведь был почти не знаком, а лишь посещал их семинары.

И вот я оказался перед книгой Александрова и Хопфа. Немецкий язык уже тогда не представлял для меня трудностей (математическая книга — это достаточно простой немецкий язык, а по-немецки я в общем читал), но содержание книги мне было совершенно непонятно, просто страшно приниматься за неё. Я решил понять эту книгу, и месяцев шесть или даже восемь я сидел над ней и долбил её. Я приходил к открытию и работал там целый день, до закрытия библиотеки.

Эти мои занятия можно было назвать совершенно безумными, потому что я нанёс этим огромный вред своему здоровью. Вредил я себе ещё и нерегулярным питанием. Хотя в конце концов я с большим трудом и добился карточки на трёхразовое питание в столовой университета, я не ходил туда трижды, а всю мою порцию съедал зараз во время обеда, так как мне жаль было терять время на еду



Последний год аспирантуры. Москва, 1948 г.

трижды в день. Теперь я понимаю, как это вредно, но тогда мне это казалось выгодным. Я совсем не дышал воздухом, кроме как в переполненных трамваях, которыми я ехал из Останкина, где я жил — час надо было добираться и столько же обратно.

Но в математическом кабинете я мог эксплуатировать свои силы до предела, до полного истощения умственных способностей. Чтобы понять, оценить и почувствовать изучаемый мною предмет, нужно было время. Не чувствуя, нельзя разобраться в математике, потому что математика это не логическая формальная наука, а наука наглядная, связанная с чувственными представлениями. И совсем не скоро у меня образовались такие представления в области топологии.

Когда мне было невмоготу, я выходил в коридор и переваривал мысленно прочитанное. При изучении математики это совершенно неизбежный этап. Человек ходит, бродит, вспоминая, что́ он прочитал перед этим. Я пытался понять. Читаю, читаю — не понимаю.

Выхожу в коридор — думаю, пытаюсь понять, возвращаюсь обратно. Наконец, какие-то вещи стали понемножку проясняться, я начал понимать, о чём идёт речь. Как бы это сказать? Представьте себе, что человек, ничего не понимающий в музыке, услышал симфонию. Хорошо, если он услышит главные темы — всё остальное пропадает для него. Но если он совсем невежествен, то он и тем не слышит, он слышит сплошной набор звуков. Вот такое и у меня было ощущение — всё это казалось мне очень сложным. Алгебра там была смешана с геометрией таким образом, что я не мог этого разобрать. Но я пробился через эту книгу. Я не то чтобы выучил топологию, но я разобрался в ней, понял, о чём идёт речь. И я понял, что это то, чем я могу заниматься.

Потом я по этому учебнику сдавал кандидатский экзамен Понтрягину и Люстернику. Их удивило, что я не знаю целых разделов, в то время как другие знаю блестяще. Они спросили, по какому учебнику я готовился — я ответил. Они удивились и, несмотря на мои пробелы, поставили мне пятёрку. Скучно им было, наверное, экзаменовать такого невежду.

Что я теперь думаю об этом? Дело в том, что книга была написана Павлом Сергеевичем Александровым вместе с Хайнцем Хопфом, швейцарцем, который был лучшим топологом, чем Павел Сергеевич. И самое главное, у него была хорошая геометрическая интуиция. Эта книга была на голову выше той, которую потом написал Павел Сергеевич. Кстати, книги Александрова и Хопфа у меня теперь нет — я её не смог достать, да теперь она и не нужна. А книга Павла Сергеевича у меня есть, и я могу теперь отдать себе отчёт в её слабостях, в том, как она излишне формализована, сколько там вещей устаревших и ненужных. Как ни странно, более ранняя "Топология" Александрова и Хопфа меньше устарела. То есть я, сам того не подозревая, взял лучшую книгу. Но её я должен был изучать один.

Потом так же в полном одиночестве я изучал книгу Морса. На это потребовалось по крайней мере полтора года. Это отнюдь не лёгкая книга. Она называется "Вариационное исчисление в целом". "В целом" не означает, что это *всё* вариационное исчисление, а означает изучение *всей совокупности кривых*, а не только вблизи данной экстремали. Она была по-английски. Через неё я тоже пробился. Потом мне Люстерник подарил свой экземпляр Морса, или у него был лишний — я не знаю. Он у меня стоит до сих пор. В общежитии мне его слегка залили чернилами. Всё это я делал в полном одиночестве, пробивался один, никого не спрашивая. Один раз

я спросил Понтрягина, можно ли пользоваться такими-то результатами в многообразиях. Понтрягин посмотрел на меня и сказал: "Можете этим пользоваться".

К тому времени я уже ходил в семинар Люстерника и нашёл такую математику, которая мне была наиболее интересна. Это было применение топологии к вариационному исчислению, то есть к анализу и геометрии. Позже, когда я представил мою кандидатскую диссертацию, мне сказали, что эта тема стояла в научном плане самого Люстерника. Моим главным, официальным оппонентом был Понтрягин. Но он был слепой, ему трудно было разбирать, поэтому он поручил разобрать мою диссертацию Рохлину и ему рассказать. Рохлин стал разбирать, в одном месте усомнился, сказал, что у него есть ко мне вопросы. Я в ужасе. Какие вопросы? Он спрашивает меня. Я понял, о чём идёт речь, и объяснил ему на пальцах: "Это поворачивается так-то и отождествляется с тем-то и получается... " "Ах так! Ну правильно, всё хорошо". Ему не нужно было долго объяснять. Ошибок он не нашёл.

Люстерник никогда не проверял детально ничего. Он знал основные идеи того, что я делал. Не особенно-то он меня и хвалил, но когда была защита, он предложил признать мою кандидатскую диссертацию выдающейся, что и было принято учёным советом.

С этой выдающейся диссертацией я отправился в Томск под угрозой трёхлетнего тюремного заключения, потому что за отказ отправиться по распределению в то время полагалось отсидеть три года — тогда был Сталин, а он человек серьёзный. Более ловкие люди, конечно, от всего этого уклонялись. Я тоже предпочёл бы остаться в Москве. Но как в Москве, так и в Томске я всегда работал один, всю жизнь в изоляции.

В конце концов я доказал себе и другим, что я математик, но ценою некоторого аскетизма. Эти два года, которые я был в Москве в аспирантуре, я почти не общался с людьми, кроме того принудительного общения, что я имел в общежитии. О нём стоит рассказать особо.

В общежитии

Кроме меня в комнате общежития жило еще шесть человек. Это были очень разные люди. Один из них был аспирант-химик, русский, родом с Кавказа. Однажды он рассказывал товарищам разные гадости про армян. Я тогда ещё не видел ни одного армянина, но счёл нужным дать ему решительный отпор. Он смешался и стал

извиняться в том роде, что он не знал о моих армянских родственниках — другого мотива он не мог себе представить.

Два из них были азербайджанцы. Один специализировался по азербайджанской литературе, а другой по турецкой. Первый был просто малограмотный примитивный тип, а второй был заведомо человек из органов. Он рассказывал сам, что на войне служил в заградотрядах. Темой его диссертации был турецкий поэт Назым Хикмет, впоследствии очень знаменитый. Но в то время он сидел как коммунист в турецкой тюрьме, и его исследователь Акпер очень волновался, не следует ли его считать "врагом народа": он бегал по разным учреждениям и спрашивал, как надо относиться к его герою, но никто не мог ему сказать.

Другие два аспиранта, люди постарше, были с кафедры марксизма и делали диссертации о политике партии во время коллективизации. Это были солидные хозяйственные мужички, русские, но совсем безграмотные, так что они не умели связно выражать свои мысли. А мысли у всех этих гуманитарных аспирантов были готовые и вполне определённые, они знали, чтó от них требуется. Заметив, что я очень легко формулирую любые мысли на грамотном языке, они всё время мне докучали, произнося неуклюжие фразы, и просили меня перевести их на русский язык. Я это делал, находя, что это простейший способ отделаться от них. Но когда я защитил диссертацию и уехал в Томск, я получил письмо от одного из марксистов, который предлагал мне сотрудничество в обработке его диссертации за вознаграждение. Я вежливо отказался.

Концерты

В Москве я был завсегдатаем на концертах в консерватории. Дело в том, что цены на концерты при советской власти не были коммерческими. От большевиков осталась линия поощрения культуры, поэтому книги и билеты в концерты стоили дёшево, и я мог слушать прекрасную музыку даже на жалкие гроши моей аспирантской стипендии. Я покупал абонементы и был постоянным слушателем Московской консерватории — Большого зала и, в особенности, Малого. Мехмат тогда был расположен на Моховой улице, недалеко от Манежа, в старом университетском здании, где я ежедневно занимался. А недалеко оттуда — улица Герцена, где находилась консерватория. Она тоже была в старом дореволюционном здании. Сколько ни трясли все эти учреждения, а всё-таки в консерватории музыка оставалась, и это была хорошая музыка.

В Малом зале мехмат имел своё представительство. Наши студенты занимали там чуть ли не всю галёрку, где были дешёвые места. Вообще в то время мехмат был элитарным факультетом. Там учились дети московской интеллигенции, которые не могли и не хотели вынести официальную пропаганду гуманитарных специальностей. В Малом зале я прослушал полный цикл трио Бетховена. А чего я только не слышал в Большом зале! Тогда, собственно, и сложились мои музыкальные вкусы, которые впоследствии развивались. Бетховену я был обязан больше всего.

В 48-ом году вышло постановление партии об опере "Великая дружба" Мурадели, и был произведён разгром таких наших композиторов как Шостакович и Прокофьев. Их не посадили, но смешали с грязью, перестали исполнять их музыку, которая, впрочем, меня тогда не интересовала. Я не был модернист, я слушал только классическую музыку. В фойе сохранились старые афиши, вывешенные ещё до постановления, и на них была объявлена музыка из "Гибели богов" Вагнера. Я помню, как кто-то из выходящей публики многозначительно указал на эту афишу — авторитеты в музыке пошатнулись, боги пали. В ту пору в Большом зале не замазали портреты великих композиторов, но пересмотрели их состав. В частности, Вагнера заменили на кого-то из русских композиторов.

Каникулы у родителей

Когда я учился в Москве, родители вернулись на Запад. Это была реэвакуация — разрешалось вернуться на место прежнего жительства. Но местом прежнего жительства отца была Одесса, а в Одессе у него не было никакой квартиры, не было никаких шансов получить после войны жилье, поэтому закрепиться в Одессе отцу не удалось. Он устроился работать в Бессарабии, которая была "освобождена" Красной армией, а на самом деле отделена от Румынии и присоединена к Советскому Союзу насильственно. На побережье Бессарабии, недалеко от Аккермана, отец работал в санатории врачом.

Туда я дважды приезжал летом на каникулы из Москвы — отдыхал и подкармливался. Там я вдруг узнал, что мать моя занимается благотворительностью. Родители жили небогато, даже бедно, но вокруг было много людей ещё беднее. И вот оказалось, что мать опекала некоторые бедные семьи и помогала им. Я был очень удивлён. Это означало, что я чего-то не понимал в моей матери. Она вечно устраивала скандалы, была раздражительна, особенно доставалось мне. Но в то же время, позже, когда у меня вырезали аппендикс и начался холецистит с резкими болями, она приехала из Крыма и месяц прожила в Томске, заботясь о соблюдении диеты, чего не могла взять в толк моя жена, и очень помогла мне тогда прийти в норму.

Потом отец переехал в Крым и работал в санатории недалеко от Алушты, на южном берегу. Туда я тоже приезжал. Крым произвёл на меня сильное впечатление. Раньше я видел его только мельком, во время эвакуации, с борта корабля. А потом я там отдыхал и без конца читал книги. Книги мои были перевезены и лежали все эти годы нераспечатанные в ящиках. Я даже помню, что когда умер Жданов (это был один из сталинских палачей), отец спросил меня, нет ли у меня каких-нибудь материалов об этом Жданове, его речей или ещё чего-нибудь. И я ему ответил по-французски, полагая, что таким образом конспирирую, что я не хочу ради этого Жданова открывать мои ящики. Отец не разделял моих взглядов.

О взглядах моего отца я уже говорил. Он не был человеком революционного типа, и мне трудно его представить себе с револьвером, но он искренне ненавидел самодержавие. После революции,



С братом Яковом на каникулах у родителей в Бессарабии. Холодная балка, 1947 г.



На каникулах у родителей в Бессарабии. Холодная балка, 1948 г.

при советской власти, его позиция была очень обычная для революционных интеллигентов. Многие из них считали, что раз революция победила, значит, народ поддерживает большевиков и советскую власть. Он так думал до самой смерти. То, что при этой власти люди умирали с голоду, что их расстреливали и т. д., не производило на него особого впечатления — даже то обстоятельство, что дедушку арестовали как бывшего буржуя и держали до тех пор, пока за него не внесли выкуп (это было около 30-го года). Тогда советская власть пыталась получить как можно больше золота, валюты, и арестовывали людей, у которых она могла быть. У дедушки ничего не было, и родные поступили так, как поступали в таких случаях все: нашли людей, у которых она была, из последних сил купили валюту и сдали — тогда его выпустили. Надо сказать, что в этом случае слово сдержали, а могли бы взять валюту и не выпустить. Об этом не любили вспоминать в семье, но это не пошатнуло доверие отца к советской власти.

Мне запомнилось несколько эпизодов, из которых видно, что у меня такого доверия не было. Помню, что когда я ещё учился в десятом классе, я не поверил, что Финляндия напала на Советский Союз, мне это казалось невероятным. А потом вышел закон о трудовой дисциплине, по которому человека могли посадить в тюрьму за пятнадцатиминутное опоздание на работу. Я счёл, что закон этот означает рабский труд, и с этими мерами советской власти был не согласен. Ещё я не был согласен с принципом, провозглашённым новым наркомом обороны Тимошенко, что к бойцам можно применять физическое воздействие. Нам, правда, объясняли, что их не всегда будут бить, а только в боевых условиях — всё равно меня это не убедило, я почувствовал в этом какой-то дурной запах, который мне не нравился.

Вспоминается эпизод, который доказывает, что антисоветские настроения у меня были ещё значительно раньше. Когда я учился в 7 классе, у нас ввели предмет под названием “Конституция” (тогда была принята так называемая сталинская конституция). И на этом уроке преподаватель (я его хорошо запомнил, потому что он был почему-то одноногий) толковал о всех благах этой конституции и о её преимуществах по сравнению с конституциями других стран. Он её сравнивал с конституцией Соединённых Штатов и приводил цитату из Энгельса, который говорил, что хотя в Соединённых Штатах две партии, республиканская и демократическая, но существенной разницы между ними для пролетариев нет, потому что обе они буржуазные и напоминают две стаи собак, которые



У родителей в Крыму. 1949 г.



Вся семья в сборе. В центре бабушка, Екатерина Абрамовна Николаевская; слева от неё Ревекка Григорьевна Николаевская (мать); Людмила Андреевна Стеткевич (1-ая жена Абрама Ильича) и Яков Ильич Фет (брат). Справа – Илья Яковлевич Фет (отец) и Абрам Ильич Фет. Крым, 1949 г.

дерутся между собой из-за добычи. Когда этот одноногий учитель объяснил нам, что в Соединённых Штатах между партиями нет разницы, я поднял руку и спросил его: "Как же так, я читал в газете, что американская коммунистическая партия рекомендовала своим сторонникам голосовать за демократов. Если это две стаи собак, то какая разница, за какую стаю голосовать?" Преподаватель был шокирован этим моим высказыванием. Я не помню, что именно он мне объяснял, как он оправдывался, но он упорно хотел узнать, откуда я почерпнул такие взгляды. Ему и в голову не приходило, что я мог сам до этого додуматься, и он хотел узнать, кто мне всё это внушил. Я его заверил, что додумался до этого сам. Никаких для меня последствий этот случай не имел.

По-видимому, я с самого начала замечал противоречия в официальной доктрине, а к 16 годам этих противоречий набралось уже достаточно много, и отец вынужден был меня предупредить, что если я буду высказываться таким образом, то люди могут услышать, и меня посадят. Тридцать седьмой год уже прошёл, и посадки были актуальны — об этом все знали, но я об этом не думал вовсе. Вообще я был весьма небрежен по этой части, потому что очень мало знал тогда о репрессиях и преследованиях. В газетах этого не было, в моем чтении тоже не было, а знакомых, которые бы говорили на эту тему, я не имел. Таким образом, в 16 лет, и даже раньше, у меня уже были антисоветские настроения, но прочных антисоветских взглядов тогда ещё не было — взгляды мои определились несколько позже.

Я мало знаю о том, как работал отец. Я только знаю, что он был очень хороший врач. Он всегда повторял латинский лозунг ne nocis (не вреди) и никогда не давал лекарств, если можно было их избежать. Всюду, где он работал, его любили пациенты и персонал. Но у него бывали неприятности с начальством, потому что он был непоколебимо честный человек, его нельзя было заставить участвовать ни в каких злоупотреблениях. И когда речь шла об отчётах (а врачей тоже заставляли писать отчёты), он не занимался никакой фальсификацией данных и писал всё как есть. Начальству это не нравилось. Начальство всегда воровало, чего отец не выносил. Отношения с начальством у него всегда были плохие.

Работа в Томске

Университет и ученики

В Томск я вернулся в декабре 1948 года, когда родителей там уже не было. Приехал я с одним чемоданом, набитым книгами. После Москвы у меня там возникло такое же ощущение, как после нашего недавнего возвращения в Академгородок из Парижа: "Как, он всё ещё существует?" Оказалось, что Томский университет ещё как существовал! При всей своей старомодности и отсталости он был неплохим местом работы. Я стал доцентом Томского университета. Ко мне хорошо относились, и я горячо принялся за дело, стал просвещать моих коллег — они же совершенно не знают математики, которую берутся преподавать! Можно себе представить, с каким восторгом отнеслись к этому коллеги.

В университете мне сразу же дали комнату в общежитии. Эта комната находилась на главной улице, кажется она называлась улицей Ленина, прямо напротив почтамта. На кафедре меня встретили дружественно. В Томске в то время отношения ещё были патриархальными. Это значит, что сохранялись преподаватели с 30-х годов, а может быть и раньше.

Заведующим кафедрой анализа там был профессор Павел Парфентьевич Куфарев. Он был солидный специалист по теории функций комплексного переменного. Не могу припомнить, на какую кафедру меня приняли, кажется, как раз на эту. Вначале я был ассистентом, очень скоро меня сделали исполняющим обязанности доцента, поскольку я приехал уже защитившим кандидатскую диссертацию, притом с отличием. Я помню, что приняли меня доброжелательно. Хотя, конечно, люди в университете были разные. Павел Парфентьевич был человек добродушный, никогда мне не мешал, и только когда у меня возник конфликт с ректором и меня стали преследовать, он меня как-то на заседании учёного совета факультета обругал космополитом. Павел Парфентьевич вряд ли понимал, что в то время это была политическая кличка и угождать этой терминологии было неуместно.

Другие преподаватели этой кафедры тоже были люди незлые. Единственным исключением была Евстолия Николаевна Аравийская. Это была злая ведьма, которая преподавала уравнения в частных производных. Она преподавала не уравнения математической

физики, которые обычно имеются в виду под этим названием, а классическую теорию уравнений в частных производных первого порядка. Это такая формальная наука, сводящая уравнения первого порядка к обыкновенным дифференциальным уравнениям. Я слушал её курс ещё будучи студентом. Излагала она его по старым учебникам, по Гурса, очень формально, причём смысл производимых преобразований оставался непонятен. Не могу припомнить, чтобы я когда-нибудь сдавал этот экзамен, хотя обязан был сдавать. Эта женщина была злая, и она меня почему-то невзлюбила. Потом она оказалась во главе патриотов, которые приветствовали все политические кампании того времени, и поучала меня. Но она была исключением. Другие были люди мирные. Ко мне они относились хорошо до того времени, когда конфликт с ректором заставил их занять определённую позицию. И тогда они, конечно, заняли более или менее дружественную позицию по отношению к ректору.

Курсы, которые мне дали, парадоксальным образом не были элементарными. В университетах всегда считалось, что самые важные курсы — это те, что читают на первом и втором курсе: математический анализ, высшая алгебра. Эти курсы поручались опытным преподавателям. Меня же всегда опасались в этой роли. Боялись, как бы я чего-нибудь не напортил. Какие-нибудь новинки или оригинальность в этом отношении не приветствовались, поэтому мне с самого начала дали серьёзные курсы.

Я не очень ясно помню, что это было. Но один курс я хорошо запомнил. Это были как раз уравнения математической физики, то есть уравнения в частных производных второго порядка. Запомнил, потому что как раз по этому курсу у меня вышел конфликт со студентами. Они обиделись на меня за то, что, по их мнению, я строго спрашивал на экзаменах, и написали на меня донос. В этом доносе они писали, что я их оскорбил, ответив на какой-то их вопрос, что это вопрос тривиальный. Они посмотрели значение слова в словаре и нашли, что оно означает "банальный, пошлый, вульгарный". Они не знали, что это же слово имеет в математике специальный смысл, и означает "легко доказываемый". В доносе было также написано, что я высокомерен, презрительно отношусь к студентам, и что те вопросы, которые мне кажутся очевидными, для них не очевидны. Отчасти это было верно, но главным образом это была попытка избежать строгого экзаменатора — они думали, что им позволят сдавать экзамен кому-то другому.

Ещё у меня были лекции на других факультетах. Однажды я что-то читал на химическом факультете и запомнил это, потому

что студенты были иного типа — они были не похожи на наших.

Конечно, я читал вариационное исчисление, потому что это была как раз моя специальность по защите диссертации. Тогда ещё это был отдельный курс, который потом благополучно упразднили. Я читал топологию, было много каких-то других курсов, которые мне трудно сейчас припомнить. Но всё это были специальные курсы, которые преподавались на третьем и четвёртом году обучения. Я также вёл семинар для студентов, и там у меня появились первые ученики. А через некоторое время я начал заниматься с дипломниками — со студентами пятого курса. Если о моей педагогической работе в Томске я мало помню, потому что она для меня была неинтересна, то работа с дипломниками мне запомнилась.

Дипломных работ было много. Эту обязанность мне охотно поручали. У меня всегда были темы для дипломных работ, и через некоторое время стали приходить желающие получить темы для кандидатских диссертаций. Эти успеха не имели, потому что я начинал с того, что давал им список литературы на полгода, с тем, чтобы они затем рассказали о прочитанном. Больше они не возвращались — им нужны были только диссертации.

Большинство дипломных работ не представляло собой ничего особенного. Но среди самых первых моих студентов были Альбер и Топоногов, которые впоследствии сделали хорошие диссертации. Диссертация Альбера была продолжением его дипломной работы. А дипломная работа его была выдающаяся.

Одна из задач, которую я ему дал, была такая: представим себе, что на плоскости имеется аналитическая функция двух действительных переменных x и y, аналитическая в окрестности начала координат и имеющая в начале координат абсолютный минимум. Требовалось исследовать строение линий уровня вблизи точки минимума. У меня было предположение, что для любой размерности аналитическая функция имеет выпуклые поверхности уровня вблизи точки абсолютного экстремума. Это предположение оказалось ошибочным. Целый год он решал эту задачу и приносил всё новые решения. Все эти решения оказывались неверными. Я их опровергал и отсылал его обратно. Впоследствии кто-то принёс мне контрпример, доказывающий, что уже на плоскости эта теорема неверна.

Я дал ему другую задачу — о замкнутых геодезических. В ней ему удалось самостоятельно использовать результаты французского математика Эресмана, которых я не знал. Мне тоже пришлось немало повозиться с этой работой — в результате она получилась очень хорошей.

Альбер был человек неприятный. По натуре он был карьерист, умел ладить с начальством, всё обо всех знал: кто кого поддерживает, у кого какие отношения с ректоратом, у кого есть административное влияние. Всю эту базарную суету в научном сообществе он знал во всех деталях. И эта его черта мне не нравилась в нём с самого начала. Я ничего не знал. Я плыл через это бурное море помоев, не обращая на него никакого внимания. А потом, когда я устроил его в Горький к Сигалову, он стал и там интриговать. Он и меня пытался настроить против Сигалова, что было очень глупо. Не прижившись в Горьком, он уехал под Москву, где ухитрился сделаться заведующим математической частью в очень известном физическом институте в Черноголовке. Там он тоже не прижился и в конце концов эмигрировал в Америку, где очень скоро умер.

Другой мой ученик — Виктор Андреевич Топоногов, — впоследствии очень известный математик. Ему я дал в качестве дипломной работы непомерно трудную задачу о захвате трёх тел. Это задача из небесной механики. Когда имеется двойная звезда, то может ли эта система из двух тел захватить третье, обычно небольшое тело, приходящее из бесконечности, и сделать его своей планетой.

Эта задача спорная, было много спорных результатов, и в то время появилась работа Хильми. Это был советский математик, который доказывал, что захват имеет положительную вероятность. Я до сих пор не читал его работы и не знаю, правильны ли его результаты, но говорят, что есть качественное рассуждение Нильса Бора, придуманное им сразу же в ответ на вопрос тополога Кириллова. Топоногов должен был разобраться в этом и дать более удовлетворительные доказательства, по возможности с оценками. Очевидно, что я не только преувеличил возможности Топоногова, но и преуменьшил трудность задачи — я не понимал тогда, насколько она трудна.

Когда он стал моим аспирантом (кажется, он был единственным официальным аспирантом за всю мою научную жизнь), я дал ему задачу о геодезических треугольниках, продолжающую работу Александра Даниловича Александрова. Александров сделал работу для двумерного случая, а я хотел это перенести на общий случай. Перенос был нетривиальный, и Топоногов сделал важную лемму, без которой всё это не пошло бы.

А когда я ушёл из Томского университета, его отчислили из аспирантуры за неимением руководителя, хотя я не отказывался им руководить. Я предлагал ему переехать в Новосибирск, где я мог устроить его в Институт Связи. Это было важно, потому что про-

должалась совместная работа. Он не решался, но через некоторое время всё-таки приехал с неоконченной задачей.

Я говорил о нём Румеру, и через некоторое время он его взял к себе в институт. Там он работал вместе с Покровским, Улиничем и другими его учениками. Его положение в Институте полупроводников было синекурой, и мы могли спокойно заниматься диссертацией, которую он вскоре защитил в Московском университете. А потом, видя, что он блестящий геометр, его взял к себе в Институт Математики Решетняк. Впоследствии у него были очень интересные результаты.

Можно отметить работу Пестова о плоских замкнутых кривых. Я заметил почти очевидный факт, что гладкая плоская кривая, имеющая в каждой точке радиус кривизны не меньше r содержит внутри себя круг радиуса r. Это почти очевидно, потому что любой касающийся изнутри круг помещается в этой кривой. Я поставил вопрос, верно ли это для невыпуклых кривых. Примеры показывали, что это верно. Но задача оказалась трудной, и я её поставил моим ученикам. Некоторые из них ею занимались, и решил её Пестов, в дальнейшем уже ничего не сделавший. Доказательство его было длинным, оно занимало страниц 30 или 40 и содержало дыры. Володя Ионин предложил гораздо более краткое доказательство, которое было опубликовано в совместной работе Пестова и Ионина. Результат был нетривиальный — он дал начало некоторому циклу работ о геометрии поверхностей. А примыкающие сюда работы о поверхностях были сделаны Лагуновым. Работая над задачей, он сам нечто придумал, но не мог закончить вторую часть работы. Тогда я присоединился к его работе, и поскольку я сделал решающий шаг и доказал всё, что нужно, то эта работа вышла как совместная и была напечатана в Сибирском математическом журнале.

Смерть Сталина

По совместительству я преподавал также в пединституте. Бывали недели, когда я был занят восемь-десять часов в день. Как я это выдерживал, теперь не могу понять. Там меня однажды даже заставили читать теорию вероятностей, от которой в университете я отговаривался тем, что я её не знаю. Это и в самом деле было так. Но в пединституте мне пришлось её читать. В группе было всего две студентки, обе они плохо соображали, и я старался вести занятия так, чтобы это было как можно более доступно. Однажды

я с ними с помощью таблиц смертности вычислял математическое ожидание жизни для людей, доживших до семидесяти лет. Очень долго они не могли понять, как это делается, я им втолковывал. И оказалось, что математическое ожидание равно трём годам. Это значит, что человек, доживший до семидесяти лет, может ожидать, что он в среднем проживёт ещё три года. На этом грустном результате мы закончили наше занятие. Придя домой, я развернул газету и прочитал сообщение о болезни Сталина, которому было как раз семьдесят три года. Я пришёл в ужас, потому что если бы выяснилось, что я эту тему разрабатывал прямо накануне, этим могла бы закончиться не только моя карьера, но и моя жизнь — такие были времена. Но эти студентки не связали одно с другим, потому что Сталин не воспринимался как человек, о котором говорят таблицы смертности. Он был сверхчеловеком.

Сталин умер 5 марта 1953 года. Мои чувства к тирану вряд ли нуждаются в объяснении. Тогда уже я был заядлый антисоветчик и с интересом наблюдал реакции окружающих. Пока Сталин был болен, лекции продолжались, жизнь шла своим чередом, хотя примечательным образом радио вело очень странные передачи. Непрерывно звучала классическая музыка — серьёзная, грустная и в том числе траурная. Теперь я понимаю, что это делалось для того, чтобы не говорить о политике и не привлекать внимание к этому событию. Всё это делалось неуклюже, потому что именно такой выбор музыки заставлял задуматься, что же происходит. А происходило то, что в политбюро грызлись из-за власти, зная, что Сталин умрёт.

В этот день в 9 часов утра у меня была как раз лекция в пединституте. Я пришёл туда, застал большое возбуждение — все готовились слушать последние известия. Начались известия с траурного марша из Третьей симфонии Бетховена. Этот марш играл какой-то жидкий, очевидно срочно собранный оркестр, после чего голос Левитана сообщил о смерти Сталина. Я помню, что некоторые студентки тут же начали рыдать. Ни о каких занятиях не могло быть и речи. Поскольку я там был совместителем, я сказал, что по такому случаю должен быть вместе со своим коллективом, и пошёл в университет. Это был довольно длинный путь сверху вниз, была ещё зима, и я помню, как брёл туда по снегу пешком. Транспорта тогда в Томске, по-видимому, не было никакого.

В университете я нашёл большое скопление народу. Все студенты и преподаватели собрались в актовом зале и ждали. Они ждали распоряжения, что делать. Проводить какой-то митинг, заседание,

что-то говорить, что-то слушать никто не осмеливался до получения распоряжения. Два часа там все сидели молча, угрюмо и ждали распоряжения, а его не было. Через два часа, наконец, пришло указание, и начался траурный митинг.

Я помню этот митинг. Было двенадцать выступлений. Только два из них содержали какое-то искреннее чувство, остальные были формальные и казённые. Но публика была настроена мрачно. По моим собственным подсчётам я знал, что у каждого третьего или четвёртого пострадал кто-нибудь из родителей. Я знал, например, что у Веры Сергеевны и Виктора Сергеевича Фёдоровых отец был арестован и погиб в лагере за то, что он был священник. Знал, но никогда об этом не говорил. Замечательно, что на политические темы тогда говорить было не принято. Это был урок сталинского времени. Только впоследствии начались разговоры на эти темы, а тогда это было слишком опасно. Какие настоящие чувства были у присутствующих, я не знаю, очень возможно, что многие действительно о Сталине скорбели. Но таких слез, какие были у студенток в пединституте, я не видел. После митинга все молча разошлись.

Последние годы жизни Сталина были связаны с преследованием так называемых космополитов, а в 52-ом году началось дело врачей. Смысла этого явления я тогда не понимал, я не чувствовал, какая угроза нависла над всеми евреями Советского Союза. Дело в том, что я жил в такое время, когда антисемитизм искусственно раздувался начальством, но в общем даже и на Украине, где он был в прошлом, я его мало чувствовал, а в Сибири и вовсе не замечал. Поэтому когда на заседании нам читали материалы о деле врачей, я не чувствовал никакой угрозы, хотя и был антисоветски настроен. Когда начались атаки на космополитов в 49-ом году, я похвалялся тем, что я космополит. Я довольно откровенно говорил с коллегами о разных происходящих событиях, и ничего, мне это обошлось, никто меня не тронул. Я тогда был молод и чересчур легкомысленно разговорчив. Я очень ясно помню, что меня не раз предупреждали, что если я буду говорить, то мне будет плохо.

Почему меня не посадили, мне теперь совершенно ясно. Чтобы человека посадили, надо, чтобы кто-нибудь на него донёс. И доносчики были, по доносам сажали. Но доносить тоже было рискованно. При Сталине органы НКВД предпочитали иметь не одного осуждённого, и устраивать процессы групп — они разоблачали контрреволюционные организации. И очень часто случалось, что доносчик попадал на скамью подсудимых вместе с тем, на кого он доносил.

Так что доносить — это была опасная игра, особенно если человек этот не был штатным агентом. Тогда ведь в каждой студенческой группе человек на 20 был обязательно агент. Не знали, кто он, но можно было догадываться. Они были также в каждом учреждении. Так вот те, что не были штатными агентами и не числились в НКВД (или в КГБ, как их потом стали называть), боялись доносить, потому что боялись иметь дело с этими органами. Доносили лишь в тех случаях, когда уже боялись за себя.

Вот характерный случай, который произошёл со мной в общежитии Московского университета. Как раз тогда вышло постановление ВАСХНИЛ (Сельскохозяйственной академии), запретившее генетику. Я тогда очень плохо представлял себе, что такое генетика, но хорошо понимал, что научные вопросы не решаются таким способом и разглагольствовал на эту тему перед моими соседями по комнате. После этого мои соседи, посовещавшись, предупредили меня, что если я снова буду вести такие разговоры, они на меня донесут. Среди них было два аспиранта кафедры марксизма, которые, как я теперь понимаю, просто обязаны были донести, но не решились.

В Томске на меня тоже не донесли, но университетское начальство невзлюбило меня за самостоятельность, а с ректором возник серьёзный конфликт. Однажды ректор потребовал, чтобы все студенты пришли на какое-то собрание. У меня в это время был студенческий семинар, из которого вышли хорошие работы. Я спросил студентов, хотят ли они оставаться здесь или идти на собрание. Они сказали, что хотят остаться здесь, и мы занимались, как обычно. Ректор устроил из этого скандал.

Я ему объяснил, что семинар хотя и небольшой, но это демократическое учреждение, я не могу заставить студентов идти туда, куда они не хотят идти. Он страшно сердился и кричал. Я очень беспокоился, как бы с ним не случился удар. Через несколько дней в университетской газете появилась статья, изображающая меня как человека талантливого, но хулигана, не уважающего людей и плохо себя ведущего. Дальше коллеги должны были занять какую-то позицию — либо за меня, либо за ректора. Замечательным образом они оказались на стороне ректора.

К тому времени я был уже 6 лет женат, у меня был маленький ребёнок, мы жили в комнате общежития, а квартиру нам даже и не обещали. С квартирами в Томске тогда было совсем плохо, ничего не строили ещё, и я решил уйти из этого университета. Такая возможность появилась в 55-ом году. Сталин уже умер, и было отме-

нено запрещение менять место работы. Дело в том, что при Сталине человек не мог самостоятельно перейти с одной работы на другую, не мог уволиться — для этого требовалось специальное разрешение.

Новосибирск

Я решил перебраться в Новосибирск. Вдогонку мне послали характеристику, где отметили мой дурной характер. Это не помешало мне устроиться на работу в Новосибирске, где была большая потребность в дипломированных кадрах. Это теперь кандидатов наук, как нерезаных собак, а тогда их было мало, и меня охотно взяли в Институт Связи. Там я получил комнату — это была служебная комната прямо в корпусе Института Связи. Там мы и жили с женою и недавно родившейся дочерью Женей.

Примерно тогда же родители вернулись в Сибирь. К этому времени мой брат окончил Одесский Институт Связи и его распределили на работу в Новосибирск. И когда мы оба оказались в одном городе, родители захотели быть рядом с нами. Отец нашёл работу. Ему дали крохотную комнату в коммунальной квартире в Заречном районе (теперь это Ленинский район), где они и жили втроём. Впрочем, вскоре после переезда в Новосибирск бабушка умерла.

Отец снова много работал где-то в детском учреждении, и общаться с ним мне приходилось нечасто. Но летом отец снимал дачу в Кудряшовом бору на Оби, куда и я приезжал отдыхать вместе с женой и дочкой. И вот там мы с отцом вели разговоры. Разговоры с ним были такого рода, что я ругал советскую власть, а отец не соглашался со мной, и странным образом отказывался видеть очевидные вещи вокруг. Он говорил, например: “Это только в Новосибирске, это только здесь нет мяса, а в других местах есть”. То есть он никак не хотел признать некоторые реальные факты жизни, которые были очевидны — что жизнь голодная, нищая. Все эти годы, в том числе во время наших встреч на Чёрном море и потом в Сибири, между нами всегда были идейные разногласия, как я полагал, очень коренные и важные. Дело в том, что отец не только боялся за меня, что меня посадят из-за моих убеждений, но он и не был согласен с ними, потому что, подобно многим дореволюционным интеллигентам, считал, что если народ поддерживает советскую власть, значит эта власть правильная. Это рассуждение мне всегда казалось странным, потому что какая же она правильная, если я её не поддерживаю. Но отец был очень скромный человек, и он руководствовался народным мнением. А поддерживал ли народ советскую власть, это вопрос трудный — его же никогда не спрашивали об этом. Народ делал то, что ему приказывали. Некоторая

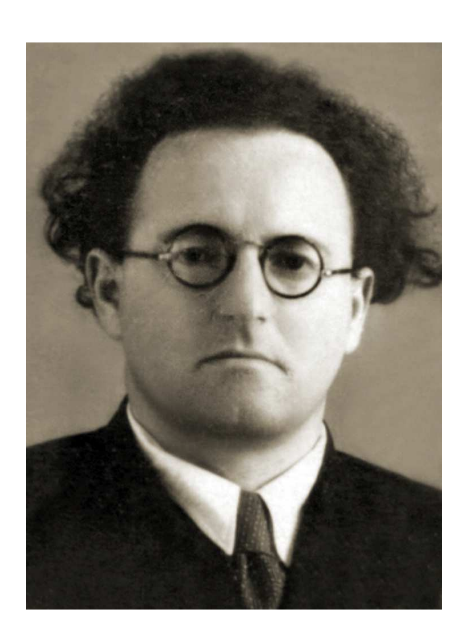


Фото на военном билете. Новосибирск, 1961 г.

часть народа, конечно, поддерживала советскую власть в 20-е и 30-е годы, потом же народ просто терпел. Сталина приходилось терпеть — активной враждебности к режиму не было, потому что все активные люди были посажены и большей частью уничтожены.

С матерью у меня никогда серьёзных споров не было, потому что мать была женщина добрая, но без определённых взглядов. Она никогда об этом не думала, и только боялась, как бы меня не посадили.

Я очень ясно ощущаю, что отец был несчастен в своей жизни. Вряд ли он был счастливо женат. Это означает, что жена, может быть, и любила его, но очень докучала ему. Она вечно обвиняла его в чём-нибудь. В частности, она обвиняла его в том, что семья жила бедно и что он не заботился о её благополучии. Отец делал всё, что мог, но разговаривать твёрдо с женой и держаться определённого курса он не умел.

Ещё в Могилёве был эпизод, который я, возможно, запомнил сам, а может быть по разговорам, которые были потом. Отцу предложили работать в НКВД, за что полагался очень хороший по тем временам паёк. Он отказался с таким мотивом: “Они там убива-

ют людей, а мне бы пришлось писать оправдательные заключения". Отец не хотел. Я ясно помню, что мать, напротив, настаивала, чтобы он пошёл на эту работу, вероятно не очень понимая, что это такое. У матери вообще понимания общественных ситуаций не было, хотя она была женщина добрая и всегда сочувствовала бедным и страдающим людям.

Родители всегда упрекали меня в том, что я порчу отношения с коллегами, с начальством. Лейтмотивом этих разговоров было то, что я не должен ссориться ни с кем, потому что я порчу себе карьеру, без надобности наживаю себе врагов. Об этом мне всегда говорили, но без всякого действия, потому что это для меня не было важно, а ладить с людьми я как не умел, так и не научился.

Когда в Институт Связи пришёл новый директор, у меня произошёл с ним конфликт. Он был важный чинуша с большими партийными заслугами и, по-видимому, из какой-то совсем другой сферы — порядков в вузах он не знал и пытался ввести в институте казарменный уклад. Когда он входил, требовалось, чтобы все вставали и т. д. Мне не понравилась его манера обращения и его нелепые требования, о чём я не замедлил ему сообщить, вслед за чем пришлось подать заявление об уходе, что с практической стороны было глупо.

Я нашёл себе другую работу. Это был филиал Московского энергетического института — заочный технический вуз. Когда открылся Академгородок и выстроили Институт математики, меня приняли в этот институт по рекомендации знавших меня в Москве математиков. Я был принят на должность старшего научного сотрудника. Тогда это была высшая должность, не связанная с административной деятельностью. У меня никогда не было подчинённых, но в институте я пользовался довольно почётным положением. В этом институте я благополучно работал 9 лет.

Институт Математики

В Институте математики Сибирского отделения было с самого начала три ветерана: Соболев, Канторович и Александр Данилович Александров. Был ещё Лаврентьев, но он давно уже не работал — он был администратором. Кроме того, он никогда и не был таким крупным математиком. Мальцев тоже математик меньшего значения, чем эти трое, которые были в самом деле выдающиеся математики с первоклассными открытиями. Все они, приехав сюда, уже заканчивали свою карьеру.

Соболев уже был академиком. Когда он сюда приехал, люди

удивлялись, зачем ему это нужно. Может быть, из энтузиазма. Остальные стали академиками уже здесь.

Канторович — настоящий первый автор линейного программирования. Думаю, что по научному значению своих работ он стоит на первом месте. Главные его работы относились к математической экономике, за что он и получил Нобелевскую премию. Премий по математике Нобель не предусмотрел.

Канторович был человек умный, всё понимавший. Он ещё в молодости раскусил, что такое "советская власть", не имел никаких иллюзий — это редкий случай. Люди, которым приходится притворяться, обычно сами не знают, что они притворяются, они убеждают себя, что всё правильно. Сознательное лицемерие встречается редко — человеку очень важно выглядеть честным в собственных глазах. Леонид Витальевич не обманывал себя — он всё знал, всё понимал, и всю жизнь боялся ареста. Он ведь занимался экономикой и ввёл такие вещи, которых Маркс не знал. А если Маркс не знал, значит это ересь. Он остался цел, потому что был очень осторожен.

Александр Данилович Александров — наиболее причудливая фигура из них. Он замечательный геометр-новатор, занимавшийся геометрией в целом, ему принадлежат прекрасные геометрические результаты. В то время как классическая дифференциальная геометрия занимается кусочком поверхности или многообразия вблизи одной точки, геометрия в целом занимается всем объектом вместе. Замечательно, что при этом удаётся использовать давно забытые методы греческой геометрии, статистические методы, которые применяются в элементарной геометрии. На меня в своё время работы Александра Даниловича произвели очень сильное впечатление, в частности, его книга о поверхностях. Исходя из неё я дал тему диссертации Топоногову — безумно трудную задачу, которую он с моей помощью решил. А так как я принял в этом некоторое участие, то я отчасти работал в направлении, начатом Александром Даниловичем.

Александр Данилович сделал ещё и административную карьеру. В конце 40-х годов, когда казалось, что вот-вот начнётся всеобщий погром и когда в каждой науке люди пытались доказать, что они ни в чём не виновны, Александр Данилович начал вдруг печатать странные статьи: статью в "Правде" "Ленин и диалектика"; статьи о теории относительности, где он доказывал, что теория относительности сама по себе не плоха, но Эйнштейн был отчасти заражён идеализмом, и этого мы в нём не понимаем, и т. д. Почему он так делал — очень трудно понять. Но и через много лет он мне повто-

рял то же самое. Может быть, он уверовал в диамат и стал, как это говорится у Гейне, “держаться ослиных основ и всей ослятины в целом”. Что такое возможно, свидетельствует другой пример — замечательный математик Хинчин, рано умерший, который тоже уверовал в диамат.

В 52-ом году, в самый разгар сталинских мероприятий, Александров был назначен ректором Ленинградского университета. И это очень печально, потому что никто из серьёзных математиков не хотел себя этим пачкать, но Александр Данилович сыграл даже полезную роль — он защитил там факультет биологии. Факультет этот был полон “менделистов и морганистов”, которые притворялись биологами и ботаниками. Александр Данилович их прикрыл и спас. Много лет спустя я был на его юбилее и слышал, как биологи его за это благодарили. А между тем, в это время сажали людей. При нём посадили студента Пименова, который, впрочем, и в самом деле нечто запрещённое распространял и нечто говорил. При другом строе его бы за это только высмеяли, ибо ничего особенного Пименов сказать не мог, но Револьт Иванович был посажен и сидел. Потом я видел их прогуливающимися вместе — они хорошо ладили между собой. Пименов тоже стал геометром.

Александр Данилович производил впечатление человека с раздвоенной психикой. Когда он начинал говорить о философии, слушать его было невозможно. Когда он говорил о математике, это было очень даже интересно. Зачем-то ему нужен был марксизм. Думаю, что он в самом деле в него уверовал.

А ректором он удержался не очень долго — через несколько лет рассорился с обкомом партии. Когда у него возникали какие-то споры по хозяйственным или административным делам, он шёл на партийное заседание, цитировал там Маркса и Ленина и распространялся о диалектике. А партийные чиновники этого уже куда как не любили — двадцатые годы прошли, и теперь им не нравилось, когда им вправляли мозги диалектикой. Они его сплавили в Академгородок, где он стал академиком.

Мальцев приехал примерно в одно время с Соболевым. Он был хорошим математиком, с хорошими результатами, но с теми тремя его нельзя сравнивать. Мальцев был карьерист, всегда держал курс на партийное начальство. Он имел планы устроить единственный в своём роде институт алгебры, чтобы не было чужих и посторонних и чтобы он был единоличным начальником. Собрал вокруг себя болото, до сих пор это болото стоит в институте математики — люди же никуда не деваются, они сидят там.

Он говорил Вадиму Арсеньевичу Ефремовичу: “Зачем вам вступаться за евреев? Зачем вам это?” Учился с ним в университете Израиль Исаакович Гордон, и когда он от меня узнал об этом, он поразился: “Как так, Мальцев, это же была такая контра!” Это выражение того времени означало оппозицию по отношению к власти, так что он начинал совсем не с этого.

Это старшее поколение. А среди молодых математиков были даже несколько моложе меня: Решетняк и Белинский. Белинский довольно рано умер. Он был выездной, ездил с делегациями. Способный математик, но занимался узкими задачами.

А Решетняк был замечательно одарённый математик. Я удивился, когда услышал, как он рассуждает и доказывает. Он был геометр, но освоил также анализ и делал очень интересные вещи.

Мой особый статус в Институте Математики основывался на том, что я усвоил современную математику, в то время как большинство математиков даже не пробовали этого делать. Кроме того, с 64-го года я увлёкся физикой и начал сотрудничать с Ю. Б. Румером. Но об этом отдельный разговор.

Ученики

Когда я уволился из Томского университета, моими дипломниками были только Альбер и Пестов, а аспирантом Топоногов. Но были также студенты младших курсов, с которыми я ещё не занимался. Когда я уехал в Новосибирск, мои ученики стали приезжать ко мне и привозить с собой более младших. Летом они приезжали ко мне на дачу в Кудряшовый бор: Топоногов, Шефель, Бодрецова, Саша Рар. Появлялся Володя Ионин, иногда бывала Иза Соколенко. Собиралась целая компания. Там мы гуляли, ходили на пляж, играли в дикий футбол. Там же я с ними разговаривал, устраивал обсуждения. У меня был неисчерпаемый кладезь задач, и я их охотно раздавал.

Что из этого вышло? Ничего особенного, кроме Топоногова, который решил первоклассную задачу. Топоногов очень хороший математик. С каким талантом! Не такого уровня, как Александров, но уж заведомо не хуже Мальцева.

В институте математики у меня был ещё один талантливый ученик — Шефель. Ему я дал задачу о гиперболических поверхностях. Он работал над ней, сделал хорошую работу в этом направлении, доработался до докторской и защитил её. Но он не решил главную задачу, которую я ему дал, так она и осталась. Он очень рано умер.

Прекрасным математиком оказался Володя Ионин. Он сделал такую вещь, которую редко кто делает. Занимаясь геометрией, он освоил язык категорий и функторов, и с помощью его разработал замечательную теорию гамма-структур — не только геометрическую, но общематематическую. Я убеждаю его завершить эту работу и написать книгу, но он пока уклоняется. Докторскую свою он защищал не по этой тематике — эта тематика новая и поэтому рискованная. Ионина я называл своим посмертным учеником, потому что после моего отъезда из Томска там остались мои задачи, и он решал одну из них.

Если бы я оставался в Томске, я мог бы основать там школу. У меня были достаточно сильные ученики. Я давал задачи, их обсуждали. Обстановка тогда была — слабая аналогия того, что было у Лузина. Ходили задачи, их решали. Студенты тогда были лучше нынешних.

А здесь в Новосибирске ситуация была иная. Здесь студенты в университете очень рано обзаводились практическими целями. Их цель была — устроиться в городке и защитить кандидатскую. Для этого я не подходил, потому что я давал трудные задачи и не имел административного влияния. Всё это было у других, поэтому здесь особенно была в моде алгебраическая тематика — Мальцев умел устраивать своих людей и задачи у него были не столь сложные.

И всё же в ФМШ, где я два года вёл спецкурсы, у меня появились Жубр и Голубятников. Был ещё Костя Смирнов, который, увы, оказался брошенным, когда меня уволили. До сих пор меня мучит совесть, что он остался брошенным. Он не показывался, но я должен был его разыскать. Потом он работал где-то в городке, но я о нём ничего не знаю. Он ещё не был моим учеником, он просто ходил ко мне в семинар[1]. А вот с Алёшей[2] я занимался. Я только начинал обучать его топологии, и своевременно отправил их с Голубятниковым в Ленинград к Рохлину. Они ещё не продвинулись настолько, чтобы можно было давать им задачи. Алёша уже решал задачи Рохлина.

А потом, когда меня отовсюду уволили, я потерял контакты с молодёжью. Да и молодёжь уже пошла испорченная карьеризмом.

---

[1]Здесь А.И., возможно, ошибается. В его домашнем архиве находится дипломная работа К. Смирнова “Применение градиенто-образных векторных полей в топологии гладких многообразий”, написанная в 1968 году. Научным руководителем обозначен А. И. Фет. — (*Прим. ред.*)

[2]Алексей Викторович Жубр. — (*Прим. ред.*)

Письмо 46-ти

В 1968 году здесь группа людей затеяла писать жалобу в государственные органы на то, что происходят беззакония, сажают людей без суда и т. д. Конкретно это была жалоба по поводу Галанскова и Гинзбурга. Понимая отлично, что эти жалобы бессмысленны, что не нужно жаловаться людям, которые сами всё это делают, я тем не менее не мог отказаться подписать её, потому что такой отказ расценили бы непременно как трусость. Иметь такую репутацию я не хотел не только потому, что это стыдно, но ещё и потому что я имел некоторое влияние на окружающих. Короче говоря, меньшим злом было подписать это, чем не подписать, хотя я, возможно, был одним из немногих среди этих 46, кто понимал, чтó из этого может выйти. И все мои ожидания оправдались. Была устроена большая пропагандистская кампания, подписантов обличали на собраниях в институтах, на рабочих собраниях в городе, предлагали отказаться от этого письма. Я не отказался, и в конце концов меня уволили. Уволили с нарушением формальностей, потому что половина учёного совета была против.

Когда меня выгоняли из Института математики, Соболев проявил необыкновенное для него упрямство, пытаясь меня отстоять. Четыре раза собирали учёный совет по поводу меня. Причём у него не было со мной никаких личных связей, моих работ он читать не мог — другая совершенно область. Канторович удивлялся, зачем я участвовал в этой истории с подписями. Он хотел помочь мне и устроил место во Владивостокском университете, но я не хотел туда ехать. Заступался за меня также А. Д. Александров. Решетняк писал какие-то характеристики, поддакивал и помогал выгонять. Верно и то, что характер у меня неприятный. Как это на меня Бицадзе окрысился: "Говорит так, как будто он академик, как будто он директор института!" Это должно означать — "как независимый человек". Но он был подонок, и даже не подозревал, что выдал себя этим высказыванием. Впрочем, все его знали.

Безработный

Этот факт приходилось скрывать от родителей — для них это было бы большим ударом. Они, по-видимому, очень гордились моей научной карьерой. И всё равно они узнали. Когда мать лежала в больнице по поводу сердечной болезни, её соседки ей рассказали, что меня уволили, что я уже безработный. Не работать в государственном учреждении при советской власти было страшно. Более

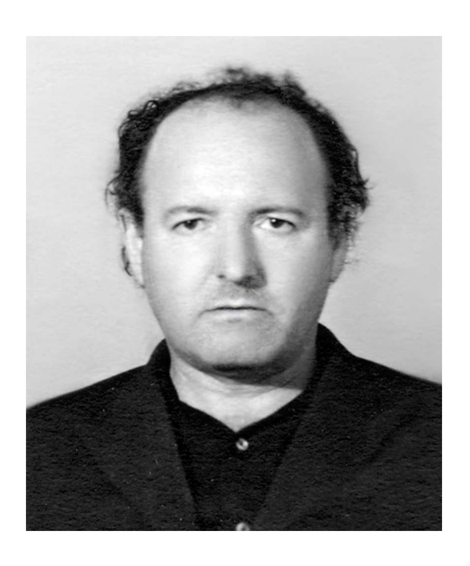


Фото на паспорт. Новосибирск, 1972 г.

того, поскольку я был чем-то вроде врага народа, меня могли и посадить. Словом, они очень боялись за меня. Отец был страшно огорчён. Я помню его слова: "Ты мог бы быть уже профессором, а кто ты теперь?" Отсюда видно, что для него звание профессора всё ещё стояло высоко — он не знал, как низко оно опустилось к тому времени.

Родители очень беспокоились обо мне. В частности, они не могли себе представить, как я могу существовать, не работая. Меня не брали ни на какую работу, и, следовательно, я не получал никакой зарплаты. Мне было отказано в работе в Новосибирске вообще. Целью местных органов было, чтобы все подписавшиеся либо отреклись, либо уехали. Тогда бы они не стояли у них на учёте и им не пришлось бы отвечать за них, а отвечал бы кто-нибудь другой. Я же не делал ни того, ни другого — я не отказывался от своих слов и никуда не собирался уезжать. Для этого были разные причины, и личные, и общественные. Общественная причина заключалась в том, что я не хотел подавать пример трусости — выполнять то, что требует начальство. Напротив, я должен был подавать пример стойкости, настаивать на своих взглядах, что я и делал. Примерно половина подписавшихся отказалась от того, что они говорили, а другие уехали. Я не хотел уезжать, потому что в то время в Но-

восибирске уже была девушка, которая впоследствии стала моей второй женой, и я вовсе не хотел уезжать от неё. В это время я уже не жил с моей первой женой, которая никогда не расходилась со мной по политическим мотивам, но в других отношениях мне мало подходила. Я с ней расстался по личным причинам.

Тем не менее, мне в это время надо было кормить не только себя, но и семью. Я делал переводы, которые мне доставали друзья и знакомые. Они брали их на своё имя, потому что на моё имя их не давали. Это была главным образом научно-техническая литература, причём я не отказывался ни от какой работы, переводил с самых разных языков, включая испанский и чешский. Труд, затраченный на технические переводы, был не так уж велик, но при нищенской оплате их надо было делать много. Я утешал себя, что трачу на это треть времени. Теперь я вижу, что тратил на это бóльшую часть времени. А вот когда мне попадались настоящие математические переводы, в них надо было вкладывать огромный труд. Нельзя переводить по тематике, не понимая её. Надо было изучать то, что я переводил. К сожалению огромная работа над однотомным собранием сочинений Кантора пропала зря — её зарезал Понтрягин со своей комиссией[1]. А вот Клингенберг вышел[2]. Перевод его монографии стоил мне серьёзных усилий. Я решил все задачи, исправил все ошибки, которых там было немало. Я многому научился по этой книге. Но в общем, целые годы моей жизни были заняты заработками.

С 68 года я к тому же потерял доступ в библиотеки. Для теоретика это тоже не мелочь. Поэтому у меня так много книг — я никогда не был уверен, что буду иметь доступ к государственной библиоте-

---

[1]Перевод был сделан в 1969–1970 годах и включает почти всё, что написано Кантором, а также биографию Кантора, написанную А. Френкелем. Машинописный текст перевода составляет 536 стр.

Договор на перевод был заключён с московским издательством Физматлит на имя А. В. Гладкого, поскольку А. И. не имел права ни на какую работу. Когда перевод уже был готов и издательство начало работать над книгой, она была отвергнута комиссией Понтрягина. В своём “Жизнеописании” Понтрягин об этом пишет так: “Я пришёл к заключению, что сочинения Кантора вообще издавать не следует, поскольку привлекать внимание молодых математиков к теории множеств в настоящее время неразумно”.

Когда Ф. А. Медведев и А. П. Юшкевич переводили труды Кантора для издательства “Наука” (1985), они не знали о существовании уже готового перевода Фета (или Гладкого). — (*Прим. ред.*)

[2]Д. Громол, В. Клингенберг, В. Мейер “Риманова геометрия в целом”, Москва, Мир, 1971, 344 стр. Редактором был обозначен В. А. Топоногов, а переводчиком — Ю. Д. Бураго. — (*Прим. ред.*)

ке. Книги, которые мне могли понадобиться, я копил у себя дома. Это был бег с препятствиями, если можно так выразиться.

Четыре года я был безработным, на положении ещё не посаженного врага народа, а потом меня взяли на работу. Очевидно, начальству показалось неудобным, что человек не работает, и дано было распоряжение предоставить мне работу. Мне предложили работу в НИИ Систем. Я отказался, сказав, что это не по моей специальности. Тогда меня приняли на работу в физическую лабораторию ИНХ-а, где я проработал 14 лет, до пенсии.

Самиздат

При советской власти я довольно много занимался Самиздатом. Тут проявились мои безгранично широкие интересы. Я выбирал и переводил для Самиздата такие книги, которые считал наиболее интересными и важными, распространял их. Ещё в 60-е годы меня заинтересовала психология по доктору Берну, я начал в ней разбираться, не видев ни одного психолога в жизни, переводить его для Самиздата. До Берна я пытался читать Фрейда, но его способ изложения мне показался крайне неуклюжим и непонятным — он был врач по образованию[1].

Потом у меня появились общественные интересы — статьи и даже книги на общественные темы, которые входили в Самиздат. Я заботился о том, чтобы это делалось конспиративно, и меня не арестовали. В конце концов я написал эту зелёную книгу[2], затратив на неё несколько лет своей жизни.

На пенсию меня выгнали — начальство меня не любило и в этом месте. Я давно уже пенсионер и должен сам заботиться о своём прокормлении, что я и делаю, поскольку на пенсию у нас не проживёшь. Я очень опытный переводчик. Начав переводить для Самиздата, впоследствии я делал переводы уже разрешённые. Эти книги печатались в издательствах. Таким образом я зарабатываю до само-

---

[1] А. И. Фет перевёл для Самиздата три книги Эрика Берна: "Игры, в которые играют люди", "Введение в психиатрию и психоанализ для непосвящённых", "Секс в человеческой любви". Переводы двух первых книг впоследствии были изданы. Другие книги по психологии, переведённые А. И. для Самиздата: Э. Фромм "Бегство от свободы" (впоследствии перевод был издан, переводчиком обозначен Г. Ф. Швейник), К. Хорни "Невротическая личность нашего времени", Дж. Гриндер и Р. Бендлер "Образование трансов", Дж. Р. Бейч и Г. Гольдберг "Творческая агрессия" и др. — (*Прим. ред.*)

[2] "Инстинкт и социальное поведение", Новосибирск, ИД "Сова", 2005. — (*Прим. ред.*)

го последнего времени, и на гонорар от этих переводов мы с Милой[1] смогли бывать в Европе и изучать там картинные галереи.

Искусство

Литература была у меня с детства. Я прочёл бесконечное количество книг, в частности, ещё в детстве я прочёл всю русскую и западную литературу. Тогда я испортил себе глаза. Да и сам я, в сущности, был литератор. Для себя я писал стихи, для учителей сочинения в прозе.

Музыка вошла в мою жизнь довольно рано. А вот изобразительные искусства отсутствовали в моем воспитании полностью — их не было в культуре моих родителей. Красоты не было в окружающей жизни, всё красивое в России было истреблено или изгнано, и даже было подозрительно. Поэтому знакомство с изобразительным искусством у меня задержалось. Но точно помню, что мне было семь лет, когда в какой-то книге я увидел картинку, изображавшую афинский Акрополь. Это изображение произвело на меня сильное впечатление — тогда я впервые познакомился с прекрасным. Во время московской аспирантуры, как это ни странно, я ни разу не был ни в Третьяковской галерее, ни в Пушкинском музее, то есть искусством я на самом деле не интересовался. Это странный и удивительный факт. Но зато уж потом я очень заинтересовался этими вещами.

Мне было 25 лет, когда я стал серьёзно знакомиться с изобразительным искусством. Тогда я уже жил в Томске и зарабатывал достаточно, чтобы при скромной жизни ездить в Ленинград и посещать Эрмитаж. Останавливался я у родственников жены, иногда у каких-то случайных людей. Но на условия жизни, на отсутствие комфорта я не обращал никакого внимания. Я ходил в Эрмитаж, как на работу, бродил там целые дни и смотрел. Оказалось, что я способен выдержать это занятие семь-восемь часов в день. Однажды я ходил туда целый месяц. Вероятно я был также и в Русском музее, но мне это не запомнилось. Под конец моего месячного пребывания в Ленинграде я уже не знал, кто я такой, потому что я начал разбираться в разных стилях, в разных эпохах и стал чем-то вроде эксперта — входя в зал, я издалека уже различал, кому принадлежат картины. Если заниматься этим упорно, то откуда-то возникают другие стороны личности, которые обычно подавлены и не развились, а тут они вдруг начинают проявляться.

[1] Милой Абрам Ильич называл свою жену, Людмилу Павловну Петрову. — (*Прим. ред.*)



В саду Тюильри. Париж, 2001 г.



С женой возле Версальского дворца. Версаль, 2001 г.



У развалин Древнего Рима. Рим, 2002 г.



С женой в Академгородке. Новосибирск, 1997 г.

Впоследствии я ездил в Москву, где ходил в музеи. А в 55-ом году в Москве была устроена прощальная выставка Дрезденской галереи. После победы над Германией Сталин вывез её из Дрездена, после его смерти эту галерею возвращали ГДР, и московской публике позволили смотреть на неё. Оставаться на выставке можно было лишь в течение трёх часов. И я с женой тогда отправился в Москву специально ради этих трёх часов. Пришлось занять очередь в шесть часов утра, мы стояли часов до одиннадцати, а потом нас в самом деле впустили, и эти три часа мы ходили и смотрели. Тогда я впервые увидел искусство зарубежных музеев. Там была "Сикстинская мадонна", которая составляла главную достопримечательность этой картинной галереи, и много-много другого. Галерея эта действительно великолепная.

Однажды в Москве, кажется, во время какого-то математического съезда, когда образовался перерыв и нам надо было часа три гулять по городу, я предложил Александру Григорьевичу Сигалову пойти в Пушкинский музей. Мы там ходили. Я его страшно стеснялся, чувствуя, что он лучший математик, чем я (это было препятствием для общения). Не зная, что сказать, я стал что-то говорить о картинах, мимо которых мы проходили, высказывать о них своё мнение. Он слушал молча.

Через пару лет я приехал в Горький и увидел у него альбомы, явный интерес к искусству живописи. Я спросил, всегда ли он интересовался этим. Он ответил: "Вот с того времени, когда мы ходили с вами в музее. Раньше искусством не интересовался. Тогда вы разные вещи объяснили, мне это стало интересно". Вот пример хорошего влияния. Мне не приходило в голову, что он не понимает этого сам, ведь он такой выдающийся математик!

В конце пятидесятых годов начали выпускать у нас альбомы, очень несовершенные, с плохими красками, но я их усердно покупал. Теперь на них странно даже смотреть, до того они плохи.

Только после окончания советской власти мне разрешили выезжать за границу. И тогда уже я кое-что увидел за рубежом. Первый заграничный музей, в который я попал в 90-ом году, был в Соединённых Штатах. Это был Институт изящных искусств в Чикаго. Я тогда работал в Чикагском университете, и при всякой возможности ходил в музей, чтобы избавиться от американской действительности. Чикаго — это очень плохое место для жизни, но в середине города находится двухэтажный старинный музей. Тогда же я увидел Метрополитен музей в Нью-Йорке. К сожалению, на него у меня был лишь один день. На обратном пути из Америки я заехал в Лон-

дон со специальной целью — увидеть произведения искусства. Я оставался там неделю и изучал Национальную галерею. Был ещё в Tate Gallery — галерее современного искусства, но это было не очень интересно. А потом мы с Милой изучали картинные галереи Европы. Около месяца провели в Париже, а на следующий год столько же пробыли в Италии. Но это уже отдельная история.

Путь в математике[1]

Во время московской аспирантуры большую часть времени я проводил в библиотеке. Библиотека была на Моховой, в самом корпусе университета. Там был математический кабинет. Это был мой родной дом. Там были опытные и доброжелательные библиотекарши, которые знают, где что достать, и там были книги и журналы. А библиотека, благодаря заботам Московского математического общества, получала по обмену иностранную литературу. Там я сидел целый день и работал. Когда мне становилось невмоготу, я выходил, бродил по пустым коридорам и поворачивал в голове топологические понятия. Ох, как это было трудно! Я же никого не спрашивал! За всё время я ни к кому не обращался. Я участвовал в семинарах, но там были люди не начинающие, как я, спрашивать их мне было неловко. Стало быть я там был наедине с “Топологией” Александрова и Хопфа, на немецком языке, 1935 года издания, предоставленный собственным силам.

Не язык представлял трудности, а алгебра, странным образом применявшаяся к геометрии. Я не привык к этому. Это не была элементарная алгебра, с помощью которой решаются геометрические задачи — это была теория групп. Это не был учебник для начинающих — это была серьёзная монография.

Месяцев шесть я бился об эту книгу, как рыба об лёд. А потом всё это стало проясняться. Я начал понимать, о чём идёт речь, что рассказывается на этом своеобразном языке. А различие здесь примерно такое, как различие между записью нот и звуками, которые за ними стоят. Так вот музыка, которая стоит за этой алгеброй, долго не звучала, я не мог понять, о чём идёт речь. Более того, поскольку мои первоначальные представления о топологии сложились по элементарным книжечкам, я не мог сопоставить содержание этой книги с другими разделами математики. Кто-то должен был дать мне ключи — что́ за этим стоит.

[1] Очерк «Путь в математике» записан на диктофон 9 сентября 2006 г. В нём сделано два изменения. 1. Убран фрагмент, посвящённый встречам с Румером, т. к. он почти в том же виде повторяется ещё дважды: в рассказе “От математики к физике” и в “Воспоминаниях о Румере”. Тем самым, содержание этого очерка несколько сузилось. В нём остался рассказ только о пути А. И. в математике, отсюда его название. 2. Небольшой фрагмент о встрече с Клингенбергом перенесён из более ранних воспоминаний. — (*Прим. ред.*)

А за математическими построениями стоят наглядные образы. Видеть эти образы — значит понимать математику. Математики, населяющие математические институты, большею частью ничего такого не видят — они доказывают теоремы, vertreiben Wissenschaft (гоняют науку). Но я видел, я знал, что математику надо чувствовать. И, к счастью, на факультете были люди, которые её чувствовали.

В этом смысле мне очень помог Наум Яковлевич Виленкин. Он вёл семинар по топологическим группам, который мне не очень был нужен, поэтому я ходил в него недолго — пару месяцев. Виленкин говорил: "Представьте себе, что есть группа и подгруппа", и на доске рисует большой круг, а внутри маленький кружок. "А теперь, — говорит, — факторизуем её". Большой круг он делит на ячейки и показывает: "Вот это элементы фактор-группы. Всё это расслаивается на слои. Представьте себе цилиндр, составленный из кривых". Он рисовал всё это и показывал пальцами. Это называется "объяснять на пальцах".

Когда я студентом пытался делать такие вещи в Томске, я не получил одобрения. Дело в том, что в Томске абстрактной математики было мало — там не занимались этим. Функциональный анализ читал Захарий Иванович Клементьев. Когда он нам объяснял гильбертово пространство, я, пытаясь понять, что это такое, рисовал на бумаге векторы. Элементы гильбертова пространства — это же векторы, а сложение их по правилам параллелограмма. Если представить себе, то всё становится ясным. Я ему сказал, как я себе это представляю. Он очень удивился и сказал: "Разве можно так? Ведь это же абстрактное понятие, разве можно его так представлять?"

А Виленкин делал в точности это — он моделировал абстрактные понятия на наглядных предметах. Я имел уже к этому склонность, я и так уже представлял себе функцию в виде точки в функциональном пространстве. То есть я был уже подготовлен к этому, поэтому его намёка было достаточно. Когда всё стало проясняться, я начал видеть картины, как всё это выглядит — когда написано одно, а за написанным видишь нечто другое. Точно так же, когда ты видишь ноты, они должны звучать у тебя в голове. Но в музыке это всем понятно, а вот в математике, оказывается, можно воспринимать всё это формально. Тогда появляется огромное количество псевдоматематиков.

А потом, когда я научился видеть топологию, я оказался в Томске. В то время я себя чувствовал на вершине волны: я сделал, на мой взгляд, прекрасную кандидатскую диссертацию; я сделал

великолепное открытие в вариационном исчислении — замкнутые геодезические, связанные с топологией.

И вот — это было в 1951 году — захожу я в библиотеку Томского университета, куда всё ещё приходили иностранные журналы, беру номер "*Annals of Mathematics*", и вижу очень большую по объёму статью Серра. Я не знал, что это была его диссертация, которая называлась, кажется, "Сингулярные гомологии пространства кривых", точно не помню, но помню, что это имело прямое отношение к тому, чем я занимался. Начинаю читать эту статью, и ничего не понимаю. Ничего! Потому что это была даже не монография, это была журнальная статья, написанная густо, очень плотно, которая начиналась с объяснения алгебраического аппарата — алгебраический аппарат без всяких объяснений, для чего это нужно. Читаю одно построение за другим, одну формулу за другой — ничего не понимаю. И всё моё представление о себе, вся моя самоуверенность как тополога рухнула. Только потом я узнал, что вся московская топологическая школа оказалась в таком же положении. Никто не понимал Серра.

Что делать? В 52 году я приехал в Москву и обратился к Мише Постникову, который был опытней меня в топологии. Он был ученик Понтрягина. Я ему рассказал, что у меня трудности с работой Серра. Ох, как осклабился Миша Постников: "Ах, так Вы на работу Серра наткнулись!" И далее он употребил неприличное выражение, означающее, что Серр оскорбил, или обошёл, или обгадил всю Московскую математическую школу (игра слов, которую я не могу употребить). "Мы, — говорит, — долго разбирали её". Я сказал: "Мне бы только эту алгебру понять, с которой она начинается". Он ответил: "Мы сделали с этой алгеброй расшифровку" — подробно изложили алгебраическую часть статьи. А они с алгеброй имели, конечно, гораздо лучшее знакомство. Я попросил, нельзя ли дать мне. Мне дали её, кажется, на один день или на одну ночь — ненадолго. А средств копирования не было, или они были, но я не имел к ним доступа. Я переписал её от руки за одну ночь. Это было 50 страниц формул.

И с этим, без малейшего применения к топологии, только с расшифровкой алгебры, которую они сделали, я уехал в Томск и начал думать. Ну, алгебру я более или менее мог понять, чтó она значит, в терминах чистой алгебры. Но как применить всё это к дальнейшему? Что всё это значит? Опять возник этот раскол между формальным пониманием и пониманием по существу.

Но я проходил книгу Морса, в которой тоже применялась то-

пология — правда, старая топология, а не новая, которая была у Серра. Я знал эту старую топологию в применении к вариационному исчислению. То есть я знал теорию критических точек. И я начал моделировать построения Серра на морсовских циклах, на его геометрических образах. Потом я узнал, что таким образом я открыл так называемые спектральные последовательности Морса. Я начал всё это рисовать себе, располагая мои картинки выше и ниже на графлёной бумаге. Не нужно было столько граф, сколько в нотах, но нужно было выше и ниже несколько горизонтальных линий, и на них располагать эти картинки. И алгебра Серра заговорила для меня, я понял, что она означает.

Когда я приехал на следующую топологическую конференцию — это было, кажется, в 54 году, — я уже понимал, о чём идёт речь. Оказалось, хотя я тогда не знал этого, что я понимал это лучше, чем Постников и Болтянский — а это звёзды молодого поколения в тогдашней топологии, — потому что они не имели морсовских картинок, а я имел. Они оперировали алгеброй Серра с помощью диаграмм, а я с помощью картинок.

Очень жаль, что я не пошёл в этом дальше. Дальше произошёл мой конфликт с Томским университетом, который надолго выключил меня из этой работы, затем увлечение Римановой геометрией в целом, породившее диссертацию Топоногова, а не работы под моим именем, и переезд в Новосибирск.

Потом я сделал работу, которая стала моей докторской диссертацией — на старую тематику, замкнутые геодезические. Работа, которой можно было не стыдиться. Я её докладывал на Международном Математическом конгрессе в 1966 году. Там я встретился с Клингенбергом. Когда я спросил его, по каким источникам он учился вариационному исчислению в целом, он мне ответил: "По Вашей статье в Математическом сборнике". Эту статью Американское Математическое Общество поместило в свой сборник переводов. Тогда ещё не переводили журналы целиком, только избранное. Они опубликовали её в следующем же году. Но значение моей теоремы о замкнутой геодезической я хорошо понимал ещё раньше, потому что математика — это такая наука, где если задача решена, то человек это знает. Я снова чувствовал себя на волне. К тому времени я уже освоил технику Серра, понимал, что я могу разобрать современную топологию и даже больше — я мог разобрать то, что снобы в Москве называли "современной математикой".

Современной математикой они называли ту, что началась около 1950 года во Франции, одним из представителей которой был Серр.

А героями ее были Анри Картан (сын Эли Картана), Жан Лере, этот же Серр, Жан Дьедоне, которые составляли вместе группу под названием “Бурбаки”. Человек по имени Бурбаки существовал. Он вовсе не был математик. Он был французский генерал греческого происхождения, который не без славы участвовал во франко-прусской войне, вначале даже немного побил пруссаков, потом пруссаки вдребезги разбили всю французскую армию. Память о нём осталась, и в городе Нанси, в Лотарингии, был поставлен памятник генералу Бурбаки.

И вот оказалось, что несколько молодых французских математиков, не нашедших себе места в Париже, собрались в этом Нанси и стали работать в ничем не примечательном университете. Каждый из них, конечно, публиковал свои работы под собственным именем. Но наряду с работами, содержащими новые результаты, они стали публиковать обобщающие работы, приводящие в порядок всю математику и излагающие её на новых началах. Это было коллективное творчество, которое нельзя было назвать никаким отдельным именем. И вместо того, чтобы подписывать эти сочинения вереницей имён, они придумали лжематематика по именем “Николя Бурбаки”. Фамилия его звучала иностранно, и он был объявлен академиком Поллардской академии наук — Польши и Молдавии. Они наняли актёра, который под именем Бурбаки прочёл математически построенную белиберду студентам. Те, естественно, ничего не могли понять, и недоумевали, что это за наука такая, в которой ничего невозможно понять.

Перед самой войной они начали печатать первые выпуски многотомного трактата под названием “*Eléments de matématique*”, где самые основные разделы математики — только те, которые они считали основными — были расположены в логическом порядке и изложены на основе того, что теперь называется математическими структурами. Они начали печататься, и я видел первое издание первого выпуска алгебры Бурбаки, вышедшее уже после оккупации. На нём было написано “Разрешается немецкой военной цензурой”.

Конечно, во время войны не очень-то можно было печататься, и к тому же некоторые из этой группы были евреи (Вейль был еврей, я забыл его упомянуть, Лоран Шварц был еврей), и им пришлось либо покинуть Францию, либо скрываться. Но после войны они все вернулись во Францию, и тогда началась славная эпоха Бурбаки. Один за другим выходили выпуски трактатов Бурбаки, очень трудные для понимания обыкновенных математиков. Не то чтобы они были написаны на другом языке, язык был французский, но ма-

тематический язык, на котором они были написаны, очень резко отличался от того, к которому все привыкли. Это был тот язык, на котором была написана диссертация Серра. Надо было переучиваться. Они ввели новые понятия, объединяющие всю математику — понятия категории и функтора и по этому поводу написали трактат — "Гомологическую алгебру", которая тоже поставила в тупик математический мир.

Всё это началось около 1950 года. На самом деле раньше, но генезис этой школы прошёл незамеченным из-за войны. Поэтому оказалось возможным такое удивительное явление — когда я спросил Лазаря Ароновича, кто такой Бурбаки, он засмеялся и сказал мне: "Такого человека нет. Это группа молодых французских математиков, которые — сказал он мне буквально, — свои собственные работы печатают под своими именами, а обобщения, не содержащие новых результатов (именно так!), под псевдонимом «Бурбаки». Им стыдно печатать их под своими именами, и они печатают их под псевдонимом". Так относилась славная Московская математическая школа к новоявленной французской школе.

Почему новоявленной? Да потому что французская классическая школа XIX века давно зашла в тупик. Потому что после работ Пуанкаре и Картана она отстала. И на передний план вышла вначале немецкая школа Гильберта, а потом американская школа, возникшая там после эмиграции туда европейских математиков. Так и говорили: "Немецкую школу уничтожил Гитлер. Теперь есть американская и наша, Московская школа". К новой французской школе, возникшей под именем "Бурбаки", относились несерьёзно.

Работы Лере и Серра заставили к ней отнестись серьёзно, когда они начали получать результаты. Одно дело — излагать новые понятия и писать трактаты, объясняющие основы математики, а другое дело — доказывать новые теоремы, преодолевая трудности, которые не поддавались прежним средствам. Особенно поразил, конечно, Андре Вейль, который топологическими методами получил в теории чисел результаты, недоступные прежним методам — совершенно недоступные результаты. Неслыханно! Топология и теория чисел считались в противоположных концах математики! И вот тогда все поняли: "Да, это работает". Так и слышу это в изложении Бориса Николаевича Делоне, старого уже в это время. Он говорил, что вот во Франции они научились делать эти вещи, которые не может дать теория групп, а гомологическая алгебра даёт. Сам он не мог разобрать этого, а его ученик, молодой алгебраист Шафаревич, разобрался в этой гомологической алгебре.

И после 1950 года появилось представление, что возникла современная математика — не больше и не меньше. А те, кто не понимают этой современной математики, так и остались в старой математике.

Я её освоил, да ещё в новосибирской изоляции, потому что в Новосибирске настоящих топологов не было. Конечно, я мог встречаться с ними в Москве, но мне это уже не очень было нужно. Я мог бы пойти дальше в топологии, в её применении к вариационному исчислению, что было бы даже естественно. Меня сгубило любопытство. Я хотел понять, что делается в физике.

А в физике произошёл переворот — введение многомерных групп симметрии. Я это понял из лекций, которые прочёл Юрий Борисович Румер в коридоре Новосибирского Института Математики. Я понял, что физика меняется на глазах, возникает новая физика — физика симметрии. Большинство физиков до сих пор этого не понимает. Во мне разгорелась любознательность. Я захотел в этом разобраться. Вот до сих пор разбираюсь.

А старые интересы у меня никогда не умирают. В последнее время, уже будучи больным, я заглядывал в книжечку Артина "Теория Галуа", которую я так и не разобрал до конца в своё время. Оказывается, голова моя прекрасно работает в области алгебры, а значит и в любой области математики. Я вижу лучше, чем раньше видел. Странно, что алгебраисты не видят, как Артин геометризировал теорию Галуа.

Такова в общих чертах моя математическая биография. Мне везло в том смысле, что я видел живых людей, у которых можно было учиться. Я видел молодого Понтрягина, видел совершенно незабываемого Петра Сергеевича Новикова, видел Колмогорова, полного сил, а также бесконечно ленивого Лазаря Ароновича, который не сделал и десятой доли того, что он мог. Таким образом я убедился на собственном опыте, что есть, бывают математики. А вот с физиками мне не так повезло. На Румера я наткнулся довольно поздно.

От математики к физике[1]

Мои работы по математике связаны с небесной механикой. Из механики известно, что для консервативной системы можно ввести интегралы Мюрре — такой геометрический принцип механики, по которому движение происходит по геодезической линии некоторой метрики. Замкнутые геодезические соответствуют замкнутой траектории механической системы. И Пуанкаре, который исходил из небесной механики, интересовался существованием и числом замкнутых траекторий в связи с движением планет и вообще небесных тел. Планеты совершают циклические движения, возвращаясь в какую-то точку, причём с тем же направлением, так что движение таким образом может повторяться.

Естественно, что в геометрии простейший прототип этого движения — это движение по бесконечно гладкой поверхности без сопротивления, причём на сфере это большие круги, замкнутые геодезические. На эллипсоиде это три главных эллипса и ещё другие кривые, которые менее известны.

Пуанкаре предположил, что три эллипса на эллипсоиде — это типичный случай и что на любой замкнутой поверхности (Пуанкаре имел в виду сначала выпуклую поверхность) имеется по крайней мере три замкнутых геодезических, аналогичных большим эллипсам. Он не доказал этого, но дал набросок доказательства для одной такой замкнутой геодезической. Вообще говоря, даже для одной существование такой замкнутой траектории не очевидно. Тогда Пуанкаре не давал строгие доказательства, давал только идеи.

В 1929 году Люстерник и Шнирельман сделали знаменитую работу, в которой ими было доказано существование трёх различных замкнутых геодезических на любой замкнутой поверхности. От этой работы отправляется моя деятельность. Естественно, возникает во-

[1]Очерк «От математики к физике» записан на диктофон 14 марта 2006 года. Рассказывал А. И. нам двоим с Р. Г. Хлебопросом, по нашей просьбе. Р. Г. часто прерывал, рассказывал сам, поэтому окончательный текст — это выборка из их разговора. Кроме того, один фрагмент — разговор с Сигаловым — вставлен из другого рассказа. О его разговоре с А. Г. Сигаловым, который произвёл на него глубокое впечатление, А. И. многократно рассказывал мне именно в том контексте, где этот разговор вставлен. Если бы А. И. не прерывали, он непременно рассказал бы о нём именно в этом месте. Рассказ приведён в том виде, как он был записан полгода спустя, 1 сентября 2006. — (*Прим. ред.*)

прос, а как обстоит дело с более общими многообразиями? Не обязательно двумерными и с римановой метрикой или даже более общей — регулярные вариационные задачи.

Известен был результат знаменитого Джорджа Дэвида Биркгофа, который доказал, что если многообразие гомеоморфно n-мерной сфере, то на нём имеется по крайней мере одна замкнутая геодезическая. Этот результат доказательства Биркгофа был не очень убедительным, не строгим. Но такое доказательство было.

Моя теорема, опубликованная совместно с Люстерником, состояла в том, что на любом замкнутом многообразии существует по крайней мере одна замкнутая геодезическая. Более того, в дальнейшем я доказал, что существует не три различных геодезических, а на любом замкнутом многообразии существуют замкнутые геодезические трёх определённых индексов. То есть в многомерном пространстве их не меньше чем три, но может быть и больше.

К сожалению, в этой работе нет способа доказать, что эти три геодезические не могут быть повторениями друг друга. Это до сих пор не сделано. Ясно, что этот случай особый, но от него избавиться пока не удалось. А что касается различных геодезических, где уже гарантировано различие, то я доказал, что есть по крайней мере две. Можно было и третью найти, но я этого не сделал — я перешёл к другим вещам. С механической точки зрения это означает, что любая консервативная динамическая система, которая движется в ограниченной части пространства, способна совершить хотя бы одно периодическое движение. Конечно, это очень общие результаты, а особый интерес представляют частные случаи, но ими я не занимался. Результаты эти были получены применением методов топологии.

Математики с середины XIX века оторвались от математической физики. До этого не было разницы между математиком и физикомтеоретиком. Вся французская математическая школа была такая: Лаплас, Фурье, Пуассон. Но Лаплас был первым, кто не занимался чистой математикой вообще. Он не доказывал теорем, а применял математические знания и способности к физике.

Когда произошёл раскол на чистую математику и теоретическую физику, математики при выборе задач стали интересоваться не только физическими и естественно-научными задачами, откуда происходят математические задачи, но ещё и традициями своего собственного цеха. То есть эта задача интересна, потому что ей интересовался A и не решил её, потом B сделал то-то и то-то, поэтому стоит её решать. Этот спортивный подход у некоторых очень хоро-

ших математиков не так сильно вредил, потому что они интуитивно брали всё-таки те задачи, которые имели смысл. Но подавляющее большинство математиков занималось задачами, имеющими только профессиональный интерес, т. е. интерес потому, что это принято в данной профессии. Таким образом среди математиков развился дурной вкус, а у рядовых обычных математиков интерес к спортивным достижениям принял патологический характер. Должен быть хороший вкус, а вкус умирает первым. Что в нашей культуре математика вырождается, это стало мне ясно при встречах с математиками, при разговорах с ними.

Однажды, будучи в Горьком, я оказался на даче у Александра Григорьевича Сигалова. Мы с ним бродили в лесах вокруг этой дачи, и он мне рассказал нечто, что произвело на меня глубочайшее впечатление.

Он рассказал, что пытался исследовать вариационный принцип, соответствующий уравнению Шрёдингера. Это основное уравнение квантовой механики. Вариационный принцип был давно известен, но исследование математика состоит в исследовании решений. Он пытался доказать существование единственности решения, подобно тому, как он делал раньше для двумерных задач. Он взял в качестве образца не какую-нибудь придуманную задачу, а задачу Шрёдингера. "И вот, — он говорит, — стали получаться какие-то странные вещи". Он исследовал многоэлектронный атом (это когда вокруг ядра вертится много электронов), и получалось, что нет единственного решения, а есть какой-то сумбур, какая-то сложность, запутанность, мешающая доказать существование единственного решения.

С физической стороны казалось, что всё должно быть ясно. Что решение есть, доказывается от природы — атомы существуют. А по математике не выходило, чтобы они могли существовать.

Наконец он догадался, что изучал этот многоэлектронный атом так, как если бы электроны его были индивидуальны и имели собственные имена: "первый", "второй", как будто они имели метки, по которым их можно узнавать. Но есть принцип Паули, принцип тождественности частиц, по которому электроны принципиально неотличимы, то есть, нельзя сказать, который из них первый, который второй, потому что они все одинаковы. Они находятся в разных местах, движутся с разными скоростями, но который из них (вот этот) — указать пальцем нельзя. И вот, когда он поставил задачу иначе, с самого начала предположив, что электроны неотличимы, — всё получилось. Это означает, что математик пытался обмануть природу, доказать то, чего в природе нет.

Я думал, что математика всего лишь подводит базу под физические вычисления. Но оказалось, что если не учитывать законов природы, то решения в обычном смысле нет. Иначе говоря, математику нельзя искать решений, которых не существует в природе. Можно, конечно, представить себе, что электроны вертятся по сортам — первый сорт, второй сорт, третий сорт и т. д., — но в природе этого не заметно. И даже более того, неприятности с математикой свидетельствуют о том, что такого в природе не может быть. Не может быть атома, вокруг которого вращается электрон и ещё что-нибудь другое!

Получается, что математика и физика неотделимы друг от друга, связаны в тугой узел. Математику, не знающему физики, угрожает опасность впасть в схоластику, то есть заниматься задачами, которые выдуманы и ничему в природе не соответствуют, чем и заполнено большинство математических журналов. Сигалов раньше меня обратился к физике. Он был замечательный математик.

Но мой интерес к физике объяснялся не только разочарованием в работе подавляющего большинства чистых математиков, которые действительно углубляли бесконечное число тонкостей и занимались этим только потому, что этим занимались другие. Был и ещё другой источник интереса — меня всегда влекла к себе физика.

Будучи студентом в Томске, я должен был сдавать экзамены по физике. Преподаватели физики, которых присылают на факультет, не объясняют, откуда происходит их собственная наука. Конечно, объяснение, что человек происходит от обезьяны, не всегда помогает в человеческой деятельности, но знание о происхождении разных учреждений и обычаев очень полезно — надо понимать, откуда что происходит. И вот, когда пришло время сдавать экзамены, мне захотелось выяснить в самом деле, откуда взялись постановки задач, которые пришли в математику. Любопытство моё не пошло далеко, потому что в те годы и ещё много времени спустя мне надо было доказать себе и другим свою состоятельность в качестве математика. А тогда чистая любознательность увела бы от этого в сторону. Физика на какое-то время отошла в тень. Но ещё в студенческие годы в двух случаях моё любопытство к физике было сильно возбуждено.

Занимаясь чем-то вроде теории электричества по Мандельштаму и Папалекси (а экзамены были элементарные, физику от математиков никто не думал требовать всерьёз, иначе они никогда бы не выполняли никаких требований), я захотел выйти за пределы этого учебника и узнать, что там в действительности делается. Я набрёл на книгу Беккера "Теория электронов". Это очень хорошая

книга старого склада. И в этой книге меня поразили некоторые построения теоретической физики, с которыми я впервые встретился. Ясно помню, что когда я сдавал экзамен, я оттуда привёл какое-то рассуждение, какой-то вывод, и профессорша, которая меня экзаменовала, была очень удивлена и спросила, откуда это. Я объяснил. Но и с Беккером я далеко не пошёл, потому что для Беккера надо было понимать уравнения Максвелла. Теория электронов считается у Беккера уже известной.

А второй случай, может быть, более серьёзный, был такой. Я упорно не понимал, что такое энергия. Я читал, что энергия превращается из одной формы в другую, при этом общее количество энергии остаётся неизменным. Я готов был этому поверить и в том случае, когда механическая энергия переходит в тепловую. Но что такое вообще энергия? Для консервативной системы механическая энергия — это сумма кинетической и потенциальной энергии, и она почему-то сохраняется. Это удивительный факт, но на вопрос "Что такое энергия?" в рамках консервативной механики невозможно было ответить. А когда не только механическая энергия, но появляется ещё и электромагнитная энергия!..

Словом вопрос, что такое энергия, мне не давал покоя. Я не находил на него никакого ответа, потому что в учебниках пишут, что энергия всегда сохраняется, но *что* она такое — не пишется. А для математика, настроенного на строгие доказательства, утверждение, что нечто сохраняется, всё равно что абракадабра сохраняется. Но *что* сохраняется? Я искал ответа на этот вопрос. А в Томске была большая библиотека, и я нашёл в ней книжку, изданную в Москве в 1936 году — перевод книги Планка "Принцип сохранения энергии". Она была написана им ещё в восьмидесятых годах XIX века, задолго до его открытия. Но Планк и открытие-то своё сделал, потому что был великим знатоком энергетики. Я прочёл книгу Планка, содержавшую только объяснение понятий и вовсе никаких специальных вопросов. И он отвечал на вопрос, который поставил в заголовке "Что такое энергия?"

Планк был глубокий физик, но до своего великого открытия он не пользовался особой популярностью, его даже неохотно печатали. Он занимался основами физики. В то время это не имело популярности в Германии, потому что Германия уже вышла из фазы философствования и перешла в фазу технологий. И я понял из книги Планка, что такое энергия. Я понял это с помощью математических терминов, которые сам Планк не использовал, а я применил к этому случаю.

Для физических систем существует некий функционал, сопоставляющий физической системе число. Этот функционал составляется из нескольких слагаемых, число которых неопределённо, неизвестно, может быть бесконечно. Но в каждом случае надо учитывать несколько слагаемых. И если их учесть правильно, то сумма их сохраняется со временем для замкнутой системы. Вопрос, почему она сохраняется, выходит за пределы физики. Физика не отвечает на вопрос “Почему?”, она отвечает только на вопрос “Как?” Этот функционал имеет слагаемые, на вид совершенно разные. Если вы сравните механическую энергию с электромагнитной (интеграл от $t^2 + h^2$), то вы не узнаете, что это одно и то же. Но если вы их суммируете и обнаружите, что сумма сохраняется, то это — энергия. И знание того, что такой функционал существует, очень помогает. Во-первых, помогает при оценке всяких явлений, где нельзя подробно интегрировать, а во-вторых, помогает в поисках новых видов энергии, следовательно — новых физических явлений. Если обнаруживается, что не сходится этот баланс, значит, какой-то вид энергии пропущен, может быть, до сих пор неизвестный.

Так вот, на вопрос “Что такое энергия?” ответ должен быть таким: “Энергия — это то, что сохраняется”. Это очень абстрактная постановка вопроса, и Планк в своей книге, опубликованной страшно давно (русский перевод ведь вышел только через полвека), это объясняет. Она очень хорошо написана (Планк вообще очень убедительно писал), но старомодным языком, выражения функционала у него не было. Из этой книги я понял, что́ физики понимают под энергией. Этим мой интерес к физике в университетские годы ограничился, потому что у меня тогда были чисто математические интересы, которые развивались дальше.

К стыду своему должен сознаться, что я воображал тогда, будто единственная настоящая наука — это математика, а способ мышления других учёных примитивен, и другого мышления, кроме математического, просто не существует. Томские профессора-физики меня из этого убеждения не вывели. Они читали лекции, которые меня не убедили, что они являются носителями другой науки.

Помню, как я забрёл в аудиторию, где студенты старшего курса слушали лекцию по общей теории относительности. Читал доцент по фамилии Жданов, который писал формулы с большим числом индексов. Я же, пытаясь разобраться в теории относительности, даже специальной теории относительности понять тогда не мог. Моё обучение начиналось, конечно, с классической механики, а перейти от классической механики к специальной теории относительности

— значило расстаться с одновременностью. И вот я вижу, что сидят эти студенты и аккуратно записывают то, чего я совершенно не понимаю. Это на меня произвело сильное впечатление. Я задал им вопрос, что́ они с этим будут делать, и они с уверенностью ответили, что будут это сдавать. Слово “сдавать” имеет двусмысленный характер.

Я не знаю, понимал ли сам Жданов, что́ такое общая теория относительности. Это было ещё до того, когда начались атаки на эту теорию. Я ясно помню, что не понимал её. Потом большими самостоятельными усилиями я разобрался в специальной теории относительности, никого не спрашивая. Но дальше этого я тогда не пошёл. Физика казалась мне трудной и недоступной.



С Юрием Борисовичем Румером. Новосибирск, середина 60-х годов

Следующий шаг в направлении физики был сделан, когда я встретился с Юрием Борисовичем Румером. Это было примерно в 1955 году, лет десять спустя, когда я уже был известным математиком. Он появился в Томске на физическом семинаре. Я его запомнил. Он был в новеньком, с иголочки ярко-синем костюме, недавно выпущенный из лагеря. Румер был первым примером учёного, которого я считал настоящим учёным, хотя он не был математиком. Слушая его рассуждения, я понял, что есть какая-то другая наука, другой способ мышления. Прошло ещё много лет, прежде чем я понял, что у биологов тоже есть особое мышление. Это объяс-

нил мне Конрад Лоренц. А тогда я думал, что биологи — это те люди, что ловят бабочек и травки собирают. Словом, у меня было математическое высокомерие. Слушая Румера я понял, что он носитель какого-то другого мышления, в котором не самое главное доказать теорему, а важно уяснить, что́ на самом деле есть в природе. Тогда я с ним не стал знакомиться, мне было стыдно, т. к. я совсем не знал физики.

А потом я с ним вторично встретился и познакомился. Это было уже в Новосибирске, когда я стал работать в Институте Связи. Там же по совместительству читал какие-то лекции Румер и его ученики. Главная его работа тогда была в Сибирском филиале Академии Наук, в небольшом помещении на ул. Мичурина. Он был ещё сравнительно молод, тренировался для здоровья, нося на себе рюкзак, набитый камнями, был полон энтузиазма. И он сказал, что сейчас объяснит мне, что такое физика. Начал он с объяснения теории поля, с общего понятия поля, затем с принципов Гамильтона, с уравнений поля в самом общем виде. Он был очень образованный физик, ведь он учился у Борна в Гёттингене и был одним из его ассистентов. Другой ассистент был Гейзенберг.

Он объяснял мне всё это, а я мало что понимал. Тогда он дал мне только что вышедшие "Успехи физических наук" с работами Боголюбова и Ширкова, которые объясняли квантовую теорию поля. Представьте себе человека, который не мог одолеть "Квантовой механики" Ландау, потому что она казалась ему лишённой логики, а ему дают квантовую теорию поля, которая очень трудна. Хотя в этих статьях она излагается на бо́льшем уровне строгости, чем обычно, я не понимал этих рассуждений, и наша с ним встреча снова не привела меня в физику. Интерес этот остался загнанным в уголок, тем более, что в то время меня волновали чисто математические задачи, которые легли в основу моей докторской. Физикой я в то время не занимался, но знакомство наше продолжалось.

В 1957 году Румер был назначен директором Института радиофизики и электроники, который стал первым физическим институтом в Новосибирске. По моей просьбе он взял к себе на работу Топоногова, моего аспиранта из Томска. А потом, когда я уже работал в Институте Математики, ситуация в физике начала резко меняться в связи с высшими группами симметрии. Долгое время кроме группы Лоренца ничего не было в ходу. Работа Фока 35-го года, где группа SO_4, не произвела впечатления, как и работа Дирака 38-го или 39-го года, в которой появилась конформная группа. А потом появились новые группы, и стало ясно, что груп-

пы симметрии играют решающую роль в физике. По просьбе математиков Румер читал об этом лекцию в Институте Математики. Почему-то ему не дали аудитории, он читал её в холле, почти что в коридоре.

На меня эта тематика произвела сильное впечатление. Я решил разобраться во всём этом. Разбираюсь до сих пор. Тут уж я стал с ним взаимодействовать вплотную. И я был поражён тем, как физик подходит к представлениям групп. Юрий Борисович мало знал теорию групп, но с представлениями работал смело, потому что он твёрдо знал, что представления групп даются тензорами той или иной симметрии, и что надо искать их через тензоры. Это считалось чем-то вроде аксиомы у физиков. Я же не понимал, почему. Для меня тензоры были с одной стороны, а группы — с другой. Я тогда не понимал, что тензоры есть не что иное, как аппарат для представления групп. Потом понял. Я стал думать об этом и беседовать с ним на эти темы. И на этот раз уже глубоко втянулся.

Как раз тогда, когда я в это глубоко втянулся и начал печататься на физические темы, меня выгнали из Института Математики в связи с тем, что я подписал письмо в защиту незаконно осуждённых. Четыре года я был безработным, на положении "врага народа", которого могли в любой момент арестовать. Румер в это время не только не порвал со мной отношений, но обеспечивал печатанье работ. Тогда это были совместные работы. Он даже добился издания нашей книги по унитарной симметрии[1], потом была издана другая книга[2]. И те работы, что я писал один, он тоже проталкивал в печать. Он старался мне всячески помочь. В то время мы работали вместе. В работе о химических элементах[3] исходная идея была его, но он не мог её довести до конца, потому что нужна была разная математика. Как только появилась такая возможность, он помог мне устроиться на работу в Институт неорганической химии. Он нарочно читал там доклад на эту тему и рекомендовал им меня. То есть ради меня он и ещё раньше Сергей Львович Соболев проявили несвойственную им храбрость. Румер был моим учителем в физике. Я очень уважал его как учёного, не разделяя некоторых его мнений.

[1] Ю. Б. Румер, А. И. Фет "Теория унитарной симметрии", М, Наука , 1970. — (*Прим. ред.*)

[2] Ю. Б. Румер, А. И. Фет "Теория групп и квантованные поля", М., Наука, 1976. — (*Прим. ред.*)

[3] Ю. Б. Румер, А. И. Фет "Группа SPIN (4) и таблица Менделеева", в журнале "Теоретическая и математическая физика", том 9, № 2, ноябрь 1971. — (*Прим. ред.*)

С этого времени я много занимался физикой или тем, что я называл физикой. Можно сослаться на эпиграф в одной математической книге, который был заимствован из английского поэта Киплинга "И вот к тебе приходит дьявол и говорит твоему умирающему сердцу: «Ты всё это делал, но было ли это искусством?» (You did it, But was it art?) Рифма была: of his dying heart. Так и я могу сказать, что занимался тем, что называлось физикой, печаталось в физических журналах, но было ли это физикой — это другой вопрос.

Идея химической симметрии атомов принадлежит Румеру. Ему не удалось дойти до точного описания этой системы, это уже сделал я один, но его была первая идея. Конечно, исходная мысль была из физики адронов, где высшие группы симметрии уже себя проявили.

Когда Румер из-за болезни перестал работать, я продолжал заниматься симметрией в Институте неорганической химии. Опубликовал на эту тему несколько работ, написал книгу[1]. А после этого центр тяжести моих интересов как-то незаметно перешёл в этологию. Я стал думать об этом и даже написал на эту тему книгу[2].

Что касается физики, то в физике я продолжал заниматься интересующими меня вещами. Больше всего меня интересовали основания квантовой механики. Я занимался физикой довольно много, но только в смысле размышления над вечными проблемами. В последние годы, например, я много увлекался работами Людвига, в которых многое сделано. Но к моему глубокому сожалению обнаружилось, что всё-таки он не может изложить нерелятивистскую квантовую механику как отдельную науку. Она не получается.

Не получается по странным причинам. Дело в том, что там группой симметрии является группа Галилея. Группа Галилея — это обычные геометрические движения плюс бурсты, то есть Лоренцевы движения (xt, когда y и z не меняются) — преобразования Лоренца. Но в классической механике нет Лоренцевых, а там есть просто движение одной системы отсчёта относительно другой равномерное и прямолинейное. Они вместе с вращениями и параллельными трансляциями образуют группу Галилея. Так её назвали, хотя сам Галилей никаких групп не знал. Из группы Галилея он пытается извлечь динамические переменные нерелятивистской квантовой механики. Но группа Галилея — очень плохая группа, у нее пато-

[1] А. И. Фет "Группа симметрии химических элементов". В сокращенном виде опубликована в сб. «Математическое моделирование в биологии и химии», 1992. Целиком издана посмертно, Новосибирск, Наука, 2010. — (*Прим. ред.*)

[2] А. И. Фет "Инстинкт и социальное поведение", Новосибирск, ИД "Сова", 2006. — (*Прим. ред.*)

логические свойства, связанные с тем, что она является пределом хороших групп, она получается как предельный случай из группы Лоренца. А сама она с алгебраической стороны нехорошая группа, представления устроены плохо, и чтобы извлечь наблюдаемые в квантовой механике динамические переменные, ему приходится идти на ухищрения. И сразу видно невооружённым глазом, что они неестественны. И хотя он назвал свою книгу "Основания квантовой механики", начиная с какого-то места мой энтузиазм к ней ослабел, потому что я увидел, что дальше он идти не может, в особенности когда я увидел, что он тайком протаскивает туда идеи вторичного фрахтования, которые логически там нельзя использовать. Поэтому я отставил временно Людвига.

А в самое последнее время, под действием любознательности моего сына, я решил разобраться в том, что такое общая теория относительности. Это было трудно, но я понял основные идеи и добрался до космологии. Я разобрал решение Фридмана, знаю, откуда всё это идёт и что всё это значит. Теперь я изучаю книгу Эддингтона об общей теории относительности — лучше всех других. Когда-то она была мне недоступна, я её не понимал. Риманова геометрия и тензорный анализ — это главные средства общей теории относительности, математический аппарат. Но я не собираюсь втягиваться глубоко в это, а намерен вернуться к квантовой механике. Эти занятия являются чистой любознательностью, потому что я ничего не печатаю по этой части.

Воспоминания о Юрии Борисовиче Румере[1]

Работал я тогда в Томском университете, хотя и собирался скоро с ним расстаться. Об этом университете представления мои были мрачные. Хорошие профессора математики, которые были там в эвакуации, разъехались, остались местные кадры. Ну а о физиках и говорить не приходится — я на них эпиграммы сочинял:

Перепишем из журналов
Из "Успехов" и "Анналов"
В аккуратные тетрадки
Правду, ложь и опечатки.

Положение моё было такое, что мне даже показать мои эпиграммы было некому, потому что предполагаемая публика была бы не лучше. И вот однажды сказали, что приехал известный физик Румер, о котором я ничего не знал. Это и неудивительно, потому что он просидел свои десять лет. И я пошёл на семинар, где были местные физики, которые вообще говоря были люди неплохие, в человеческом смысле они не заслуживали таких насмешек. Но просто я ведь был молод тогда, и физики, которые ничего не смыслили в своей физике, производили на меня унылое впечатление.

И вот я пришёл. Вижу перед собой человека лет пятидесяти с небольшим, в ярко-синем костюме, сверкающем синевою — сразу видно, что только что сшит. Говорил он со странным акцентом. Я даже не мог понять, в чём дело. Из его биографии стало ясно, что воспитывала его какая-то немка из Митавы, что потом он прожил много лет за границей, и что его русский язык от этого несколько пострадал, хотя родился он в Москве. Учеников ФМШ, например, он называл фэмэшатниками, хотя по-русски так бы следовало называть хищника, который питается фэмэшатами и т. д. Потом я узнал, что он был сын купца первой гильдии, одного из немногих, кто пошёл служить большевикам. Благодаря этому отец послал его за границу и дал возможность долго учиться в Германии. А немецкий и без того был у него почти что родной язык.

В ту пору у меня не было ясного представления о физике. Даже более того, было совершенно еретическое понятие, что есть только

[1] Текст воспоминаний о Юрии Борисовиче Румере создан из расшифровки аудиозаписи, сделанной 26 июня 2007 года, за месяц до смерти А. И. Слушателями вместе со мной были И. А. Самахова и С. С. Аминева. — (*Прим. ред.*)

одна настоящая наука — строгая, доказательная — это математика. А физики что-то там мудрят, что недоказуемо, а лишь более или менее подтверждается опытом. Понять их мудрость почти невозможно, хотя я и пытался — у меня были серьёзные попытки разобраться в физике. Но куда уж там, если физиков вокруг не было — одни профессора.

А тут человек принимается говорить, рассказывает нечто о своих научных интересах. И вдруг я почувствовал, что есть ещё какая-то другая наука, не только математика, что физики чем-то серьёзным занимаются. Другой способ мышления. Я почувствовал это впервые за все годы моего учения. Говорил он бойко, с увлечением, самоуверенно. Местные физики пытались вступить с ним в диалог. Он вежливо от них отмахивался. Всё это было очень интересно.

Потом я узнал, что он был долго в заключении после пребывания за границей, что он был другом, а не учеником Ландау, что он живёт в Новосибирске и работает там в Западно-сибирском филиале академии наук, с главным местопребыванием на улице Мичурина, около какого-то стадиона, и что учёные, какие там есть, — это краеведы, географы, не знаю, кто ещё. Физиков в Новосибирске не было.

В 1955 году я переехал в Новосибирск и стал работать в Институте Связи. Но как я попал именно в этот институт? Дело в том, что в Новосибирске я случайно встретился с Румером, который приметил меня ещё в Томске. Он разговорился со мной, с циничной откровенностью объяснил мне положение в Новосибирских вузах, сказал, что он на полставки работает в Институте Связи и что он меня туда устроит. Что и произошло. Там я благополучно читал лекции и занимался своими собственными задачами, которых у меня было достаточно, и с увлечением работал над одной из них. Лекции не представляли для меня ничего интересного, готовиться мне не приходилось.

Но там был ещё и Румер, который вкратце рассказал мне свою историю. Потом он мне рассказывал её подробней. И очень скоро, узнав, что я интересуюсь физикой, он привёл меня в крохотную комнатушку в Сибирском филиале, заваленную бумагами и книгами, и сказал: “Сейчас я объясню Вам теорию поля”. И стал объяснять так, как он, вероятно, объяснял бы способному молодому физику. Но я не был физик, и язык, на котором он говорил, был для меня чужд. Он дал мне два журнала с формальным изложением того, что он мне рассказывал, отвечал на мои вопросы. Но случилось так, что я не понял ничего. Я ведь даже обычной квантовой механики не знал

тогда и не клюнул на его приманку. Я не стал заниматься физикой, потому что у меня была интересная математика под руками. И отсюда, между прочим, возникла одна из самых важных теорем Римановой геометрии. С Румером я встречался, но не работал вместе. Он рассказывал о себе.

История его была такая. Когда произошла Октябрьская революция, ему было 16 лет, и он находился в Петербурге. В день Октябрьской революции он сидел в читальном зале Публичной библиотеки и готовился к экзаменам в Университет вместе с другими студентами. Вдруг в этот зал вошла команда матросов, обвешанных гильзами и прочим оружием. Они очень вежливо объяснили, что в городе неспокойно, опасно, и что присутствующих просят не выходить из этого читального зала в течение суток. Им приносили чай, чем-то кормили. Через сутки их выпустили. Свершилась Октябрьская революция. А потом Юрий Борисович, который был ещё молод тогда, уверовал в большевистские идеалы, исполнял какие-то функции в Красной Армии, ездил по поручениям, хотя в боях не участвовал.

Потом он поступил на Восточный факультет и начал учиться персидскому языку. Его интерес к языкам был выдающийся. Он не был профессиональным лингвистом, но знал несколько языков и интересовался главным образом структурой языка. Он был не полиглот, а структуралист. Там он проучился меньше года, а потом его отец, видя, чтó делается в России и осознав, что у сына интерес к физике, послал его в Германию. Он был в состоянии его там содержать. И в 20-е годы Румер оказался в Германии. Так как он был очень способный молодой человек и без чрезмерной робости и застенчивости, от чего я страдал, то он очень скоро познакомился с берлинскими физиками, а потом оказался в Гёттингене, у самого Макса Борна.

Он мне рассказывал об этом примерно в следующих выражениях. Что комплексом неполноценности он не страдал. Он от этого излечился, потому что у Борна было два ассистента в ту пору — первым был Гейзенберг, а вторым он. В такой компании он не мог иметь никаких комплексов.

Он оказался там как раз в период подготовки и создания квантовой механики. Во избежание недоразумений — я имею в виду современную квантовую механику, ибо старая квантовая механика Бора-Зоммерфельда уже была и всех раздражала тем, что она не всегда применима, часто ошибается, и вообще ни на что не похожа. Румер начал вариться в этом соку.

Он описывал множество интересных деталей, чему он был свидетелем. Первый ассистент Борна, Гейзенберг, перешёл к нему из Мюнхена, где он раньше работал у Зоммерфельда. По обычаю немецких университетов там переходили, меняли обстановку. И видя, что перед ним физико-математический гений, как выразился Борн в разговоре с его отцом, он дал Гейзенбергу самую трудную задачу — разработать правильную квантовую теорию атома водорода. Давать безумно трудные задачи начинающему физику было необычно. Но ведь Борн был необычным учителем.

Он только что окончил и издал свою "Атомную физику" , которая подводила итог, наводила учёность, придавала респектабельность старой квантовой механике. Произошло это в 1925 году, и осенью того же года Гейзенберг нечто придумал. Борн, который не мог этого придумать, всё спрашивал его "Wie gehet es?"[1] а Гейзенберг отвечал: "Wieder nichts"[2]. Однажды Борн задал тот же вопрос, а Гейзенберг нехотя процедил: "Какая-то чепуха. Получаются величины, произведения которых зависят от порядка сомножителей". Он ещё не знал, что это операторы. И вообще, никто из физиков тогда, за исключением, пожалуй, только Борна, не знал, что существуют матрицы и не умел ими пользоваться. В это трудно поверить, но они не входили в учебные программы физиков. А Борн, который имел хорошее математическое образование, слушал курс по теории матриц. И когда Гейзенберг по его настоянию стал рассказывать, что́ получается, Борна вдруг осенило: "Das sind noch Matrizen!" (Так это же матрицы!). И машина завертелась. Борн захотел выяснить, что такое придумал, но не понял Гейзенберг. К нему присоединился Йордан, другой его сотрудник. Но Борн, человек пунктуальный и честный, первую публикацию предоставил Гейзенбергу, а потом уже они втроём опубликовали подробную статью. С этого началась новая квантовая механика.

Теперь она известна в другом обличье, потому что несколькими месяцами позже с другой стороны к этому подошёл независимо Шрёдингер, живший тогда в Цюрихе. Он назвал это волновой механикой. А потом уже он доказал, что обе механики равносильны. Это была вторая великая революция в физике. Первая была теория относительности. И тогда, конечно, все в Гёттингене, кто понимал, что́ происходит в физике, занялись разработкой квантовой механики. "Атомная физика" Борна устарела в самый момент её выхода в свет.

---

[1]Как дела? — (*Прим. ред.*)

[2]Снова ничего. — (*Прим. ред.*)

И Румер присоседился к этому. Он участвовал в особенности в разработке квантовой химии, т. е. квантовой теории молекул. Он сотрудничал с выдающимися людьми: с Теллером, с самим Вейлем, знаменитым математиком. И одновременно он пытался продвинуться в общей теории относительности. Познакомился с Эйнштейном, предлагал ему разные проекты. Эйнштейн был человек скромный, добросовестный, со способными молодыми физиками он был готов обсуждать всё что угодно. Жил Эйнштейн в Берлине, т. е. Румеру приходилось туда ездить. И вот он варился в этом немецком научном мире, говорил в ту пору только по-немецки, и был на пути к тому, чтобы стать крупным немецким физиком. Тут должно было случиться так, чтобы в Германии к власти пришли нацисты. А Румер ведь и с вида был еврей, так что притворяться ему было никак невозможно. Хотя он и рассказывал, как однажды в железнодорожном вагоне он разговорился по душам с каким-то штурманфюрером и объяснил ему, что он приехал из Аргентины. Но из Германии надо было убираться.

Перед этим у него уже были прочно установленные связи. В частности, он пять раз встречался и беседовал с Эйнштейном, который в конце концов не одобрил его пятимерные оптики (уже не четыре размерности, а пять). И вот, когда Эйнштейн уезжал за границу, он пригласил его к себе в качестве ассистента в Соединённые Штаты. А в ту пору Эйнштейн уже работал над так называемой единой теорией поля, на которую он затратил вторую половину своей жизни и, как уверяют физики, совершенно бесплодно. И вот тогда Румер отказался от предложения Эйнштейна со следующей мотивировкой — он не верит в проект Эйнштейна в построении единой теории поля. Это его заявление было принято совершенно естественно. Эйнштейн понял, что при таких условиях он не может с ним сотрудничать. И, вместо того чтобы уехать в Соединённые Штаты, в Принстон, он вернулся в Москву. Случилось это в 33 году[1].

Румер был подлинной энциклопедией по истории физики. Он знал всех, причём его рассказы иногда были приличны, иногда нет, потому что Румер, в отличие от меня, не стеснялся употреблять анекдоты и разные выражения. Тональность этих историй начиналась с того, что когда, например, Эддингтону сказали, что всего три человека в мире понимают общую теорию относительности, он спросил: “А кто же третий?” Это приличный анекдот. А неприлич-

[1]Согласно биографической хронике, приведённой в документальной книге “Юрий Борисович Румер”, Новосибирск, издательство “Арта”, 2013, Румер вернулся в Россию 8 мая 1932 г. (стр. 19). — (*Прим. ред.*)

ный — я уже не помню, о чём, — начинался со слов: “Эддингтон говорил мне в уборной”.

Эддингтон был крупнейший английский физик того времени. Конечно, все они ездили на поклон в Гёттинген. А потом всё рухнуло, и немецкие физики начали размышлять, евреи они или нет, и что́ им следует делать в обоих случаях. Чтобы вы поняли обстановку того времени, представьте, что вот приехал в Гёттинген нацистский министр народного образования и проводит заседание учёного совета Института Математики. Присутствует Давид Гильберт, первый математик в мире, и министр спрашивает: “Ведь вы не думаете, херр Гильберт, что ваш институт сильно пострадал от увольнения евреев”. На что Гильберт ответил: “Нет, господин министр, я так не думаю. Я думаю, что он больше не существует”. Гильберт был один из людей, которые до конца жизни говорили то, что думали, подобно нашему Ивану Петровичу Павлову. И его не тронули. Он умер своей смертью в 1943 году.

И Румер приехал благополучно в Москву. Он, естественно, уже был знаменитостью, и привёз с собой красавицу жену, дочь знаменитого алгебраиста Шура. Он стал профессорствовать в Московском университете, а по совместительству угораздило его работать ещё и в ЦАГИ. Но его посадили бы и без этого. Человек, проживший столько лет за границей, автоматически подлежал аресту.

ЦАГИ возглавлял Туполев. Вокруг него была состряпана история, и ЦАГИ весь был посажен коллективно за решётку. Предполагалось, что они будут лучше работать под арестом. Тем временем они были объявлены, конечно, врагами народа и нигде не упоминались. На первых порах этих людей разослали по лагерям, где они конечно должны были погибнуть. А потом кто-то подсказал Сталину: “Кто же будет самолёты проектировать?” Стали собирать их и собрали в так называемую шарашку, где они должны были проектировать боевые самолёты. Красавица-жена сразу же отреклась от него. Куда делась — я не знаю. Его вытащили из лагеря и посадили в шарашку, где было более приличное питание, снабжали необходимыми научными книгами, проявляли вежливость.

Румер был физик до мозга костей, вечно погружённый в свои задачи. Он не боялся самых трудных задач, но боялся людей. Очевидно, что во время революции и гражданской войны он испытал многое, что его просветило на этот счёт. А собственных убеждений у Румера, можно сказать, не было. Конечно, он был настроен либерально, конечно он не любил ни царя, ни самодержавие, как все русские интеллигенты, но позитивных идеалов у него не было.

Когда речь заходила о высоких материях, он любил рассказывать анекдот о том, как в эмиграции, в Париже, умирает мексиканский революционер, и так как он добрый католик, то к нему приходит монах его исповедовать. Ну, поговорили о разных грехах. “А теперь, сын мой, — говорит монах, — вы должны простить своих врагов”. На что следует ответ: “Je n’ai pas des ennemis, je les tous tué” (У меня нет врагов, я их всех убил). Соль анекдота заключается в том, что эту фразу надо произнести с испанским акцентом, чего я не могу сделать. А другое его выражение, которым он любил погашать мой энтузиазм, было такое: “Ну, это Вы делаете pour les genre humain” (ради рода человеческого), что считалось крайней наивностью и нелепостью, потому что Румер верил в теоретическую физику, но не верил в род человеческий.

Человек, у которого нет позитивных взглядов, не станет за что-нибудь всерьёз бороться и подвергать себя опасности. Но надо сказать, что у Румера была некая элементарная порядочность, и я совершенно убеждён, что он никогда не давал показаний на других, а на себя сколько угодно. Верно и то, что в компании Туполева он не считался важной персоной, его же там рассматривали как шпиона-вредителя по части самолётов. И это точно, что его не били. Не били, потому что подписывал всё, что от него требовали писать на себя. Не все вели себя так хорошо.

Его всю жизнь преследовала мысль о том, что он может произнести не то слово, не ту фразу, поставить кого-то в неловкое положение. Это очень жаль, потому что он был живой энциклопедией по истории современной физики. Рассказывал он охотно, но не хотел, чтобы я что-нибудь записывал, воображая, что некоторые из людей, о которых идёт речь, ещё живы и могут пострадать, хотя большинство из них было за границей.

Но и я виноват, что мемуары Румера не состоялись. Дело в том, что я вовсе не был заинтересован в писании его мемуаров, не хотел быть при нём Эккерманом. Мне интересно было с ним говорить о физике, а вовсе не о воспоминаниях. И я намеренно ничего не записывал, а запоминал только случайности, и особенно не расспрашивал его.

Он мог бы рассказать много любопытного о нравах Германии, об огрубении обычаев перед приходом фашистов. Вы помните, должно быть, роман Набокова “Дар”, где невеста холодно снимает руку с плеча своего жениха, то есть Набокова, и говорит: “Вы, кажется, принимаете меня за немку”. А ситуация была такая, что приехавшие из России интеллигенты считали немцев того времени варварами,

видели упадок немецкой культуры, часто не хотели водить с ними компанию. Всё это есть у Набокова. Ясно, что в эту пору у него мог совершенно завершиться этот цинизм, с которым он прожил всю остальную жизнь. Он не верил в людей.

Здесь он работал в ИЯФ-е. Одно время был даже директором Института радиофизики, но недолго — он же не мог быть чиновником. А нужен он был в этой роли Лаврентьеву для налаживания связей с какими-то московскими академиками. Кажется, года два он пробыл там директором. А потом он работал в ИЯФ-е, где заведовал теоретическим отделом. Там он собрал вокруг себя своих новых учеников, среди которых были очень талантливые люди.

Его главное правило было — ни с кем не ссориться, и он ни с кем не ссорился. Когда сюда приехал его старый приятель Айно Споринг, знаменитый физик и химик, Румер не решился встретиться с ним. Но когда я оказался изгнанным с работы в 1968 году и под прямой угрозой ареста, он не порвал со мною. Больше того, он продолжал работать со мной. Мы сделали несколько хороших совместных работ. И за время моей безработицы мы с ним вместе, по его инициативе, опубликовали две книги, что мне одному не удалось бы, конечно[1]. Я не скрывал от него своих взглядов, а он им не удивлялся. Такой он был противоречивый и странный человек.

В самом конце жизни (в последние два года) он был одержим идеей, что жена его Ольга Кузьминична приставлена к нему в качестве агента от КГБ, о чём он мне сообщал на прогулках. Он не мог избавиться от этого страха, хотя, с тех пор как вышел из шарашки, для КГБ он не представлял ни малейшего интереса. Это история сломленного человека. Но говорить так представляет с моей стороны самонадеянность, потому что я ведь не был в его положении, я не сидел. То есть сидел, но в одном большом лагере под названием Советский Союз.

---

[1]“Теория унитарной симметрии”, М, Наука, 1970, и “Теория групп и квантованные поля”, М., Наука, 1976. — (*Прим. ред.*)

Воспоминания об Алексее Андреевиче Ляпунове

Вовсе не имея настроения писать воспоминания, я дал себя убедить написать об Алексее Андреевиче, потому что он был человек особенный, и среди известных мне в Академгородке учёных — единственный в своём роде. Прежде всего потому, что он был интеллигент. Среди моих коллег-математиков — более или менее способных людей — это качество здесь было необычно. Для Алексея Андреевича наука никогда не была средством, а всегда была целью, подчинённой, может быть, общим человеческим целям, но никогда не личному успеху и благополучию. Поэтому было странно, что он был "членкором", то есть принадлежал, по крайней мере формально, к чиновничьей иерархии Академии наук, которой я всегда, по возможности, избегал. Те из академиков и "членкоров", которых я знал, понимали эту чиновничью сторону своего положения и стыдились её — одни сознательно, другие нет. Алексей Андреевич просто не придавал ей значения. Думаю, "членкором" его сделал М. А. Лаврентьев, которому нужно было иметь в Городке кибернетику, а следовательно, и её главу с надлежащим чином.

Не помню уже, когда я познакомился с Алексеем Андреевичем — это было в самом начале шестидесятых годов. Очевидно, он знал о моих работах от московских математиков, потому что наши интересы в чистой математике были далеки. Он заведовал тогда кафедрой математического анализа в Новосибирском университете, и сразу же предложил мне читать там "Анализ III" — важнейший предмет третьего курса, включавший функциональный анализ и вариационное исчисление. Сам Алексей Андреевич читал анализ на первых двух курсах, так что его кафедра — да и весь университет — заслуживали в то время серьёзного отношения. Как мне рассказывали, он не стеснялся ставить студентам двойки: его доброта не означала безответственности. Алексей Андреевич никогда не устраивал "заседаний" кафедры, хотя, вероятно, требуемые начальством "протоколы" как-то изготовлялись: он понимал бессмысленность таких требований. Все нужные дела он обсуждал в беседах с заинтересованными людьми. В частности, он советовался со мной об организации преподавания. Но ни разу он не вмешивался в содержание и построение моих курсов: для него было очевидно, что человека, которому доверяют самый высший вид преподавания — преподавание

в университете, — уже незачем контролировать и опекать. Алексей Андреевич никогда не подчёркивал этого своего мнения, как и многих других, которые считал очевидными и для своих коллег.

В шестидесятые годы я очень увлекался кибернетикой, и на этой почве у нас были с Алексеем Андреевичем общие интересы. Мы часто обсуждали с ним перспективы кибернетического подхода — особенно в биологии и лингвистике. У меня интерес к биологии только начинался, и мне предстояло ещё пережить влияние Конрада Лоренца; между тем Алексей Андреевич давно и глубоко размышлял о биологии. Больше всего его волновала сущность жизни. Он пытался дать "определение" жизни, позволяющее отличить живое от неживого, и видел такое отличие в способе хранения информации: живые организмы, как он полагал, хранят информацию на молекулярном уровне — в отличие от неживых систем. Это несомненно для генетической информации, но в шестидесятые годы думали, что и "текущая", приобретаемая организмом информация тоже хранится в молекулах и считывается с них; теперь имеются серьёзные основания думать иначе. Скорее всего, "текущая" информация хранится в виде устойчивых токов в нейронных цепях мозга. Но можно видоизменить определение, которое предлагал Алексей Андреевич, и определить живую систему как систему, способную к репродукции и хранящую на молекулярном уровне информацию о своём строении и функциях. Один из разговоров с Алексеем Андреевичем — о генетике — привёл даже к тому, что я записал мои наброски аксиоматики "абстрактной генетики" и дал ему прочесть. Потом мы к ним не возвращались, но после смерти Алексея Андреевича их нашли в его архиве и отдали мне. Алексей Андреевич щедро делился своими идеями с математиками и биологами, но я не знаю, что он успел опубликовать: он был очень небрежен по части записей и публикаций. Уверен, что его сотрудники помнят его мысли гораздо лучше меня.

Должен сознаться, что тогда я относился к биологическим применениям кибернетики несколько скептически: я не верил, что винеровские идеи обратной связи и регулирующего цикла дают ключ к пониманию жизни. Алексей Андреевич был в этом отношении гораздо большим энтузиастом, и теперь мне кажется, что он был прав. Я имею в виду кибернетические концепции Лоренца, изложенные в его последней книге "*Die Rückseite des Spiegels*". Во всяком случае, идеи кибернетики вошли в плоть и кровь биологии, а не только в изучение частных физиологических механизмов.

Мы часто говорили с Алексеем Андреевичем об "искусственном

интеллекте", очень модном в то время предмете. Разумеется, кибернетический энтузиазм Алексея Андреевича никогда не доходил до смешного оптимизма, вызванного этими планами среди молодых людей, в частности, в Академгородке.

Другой областью наших разговоров была математическая лингвистика и, в частности, так называемый "машинный перевод". Я был знаком с этими вещами по семинарам А. В. Гладкого. Алексей Андреевич знал и поддерживал пионерские в то время работы по формальным грамматикам, но к возможностям машинного перевода относился, как и я, осторожно. Время подтвердило эту осторожную оценку.

Алексей Андреевич всегда был центром активности во всём круге "кибернетических" проблем. В частности, он пробудил у меня интерес к экологии. По его инициативе возник семинар по биоценозам, где должны были взаимодействовать биологи и математики, но достаточно сильных биологов здесь не нашлось, и семинар, куда я одно время ходил, скоро распался. Много лет спустя, однако, эти заложенные Алексеем Андреевичем интересы пробудились, и вот теперь я пишу популярную книгу по экологии, выражающую идеи красноярских экологов[1]. Не знаю, насколько влияли на них инициативы Алексея Андреевича, но их окружения пересекаются, и на Международном экологическом конгрессе в Красноярске я с удовольствием слушал доклад Георгия Карева, одного из учеников Алексея Андреевича и моего бывшего студента.

На развитие кибернетики и её приложений в нашей стране, может быть, больше, чем конкретные идеи Алексея Андреевича, влияла его страстная пропаганда этой новой у нас и поначалу подозрительной науки. Достаточно сказать, что до 1954 года она считалась "буржуазной лженаукой", и требовалось немалое мужество, чтобы уже в этом году выступить в её защиту, в статье, которую Алексей Андреевич опубликовал совместно с С. Л. Соболевым и А. И. Китовым. Тогда ещё не ясно было, в какую сторону повернётся мнение начальства, и пророкам кибернетики угрожала обычная судьба пророков, которых, как известно, побивали камнями. Можно сказать с уверенностью, что Алексей Андреевич сыграл решающую роль в утверждении кибернетики в России.

Первоначальные математические интересы Алексея Андреевича относились к дескриптивной теории функций и, как я уже ска-

[1] Р. Г. Хлебопрос, А. И. Фет "Природа и общество: модели катастроф", Новосибирск, "Сибирский хронограф", 1999.— (*Прим. ред.*)

зал, были далеки от моих занятий. Но, конечно, решение проблемы континуума никого не могло оставить равнодушным. Последний мой разговор с Алексеем Андреевичем был как раз об этом. Мы возвращались с именин Зои Софроньевны Никоро, удивительной, святой женщины, которой исполнилось тогда семьдесят лет. Не знаю, почему, Алексей Андреевич стал вдруг говорить о своём учителе, Николае Николаевиче Лузине. Он сказал мне, что был последним учеником Лузина — чего я не знал, и рассказал, что Лузин всю жизнь мечтал о решении проблемы континуума — представлял себе это таким образом, что "вот придёт еврейский мальчик и решит проблему континуума". Таким мальчиком Лузину казался Л. Г. Шнирельман, гениальный молодой математик, застрелившийся после допроса в НКВД. Но замечательнее всего, — рассказал мне Алексей Андреевич, — что у Лузина было сильное предчувствие особого статуса этой проблемы, её неразрешимости в аксиоматике теории множеств, что и доказал много лет спустя П. Коэн. Это был наш последний разговор.

Алексей Андреевич был необычайно добрый человек и, как часто бывает с такими людьми, не хотел верить в тёмные стороны человеческой природы. Эта наивность, конечно, помогала ему жить, потому что ему приходилось прибегать к поддержке людей, мотивы которых он объяснял в положительном смысле. Жизнь самого Алексея Андреевича, которую он мне никогда не рассказывал, должна была быть тяжкой. Он был старше меня и, несомненно, пережил многое. Достаточно было быть дворянином, а ведь Алексей Андреевич был из знаменитого рода Ляпуновых — хотя он объяснял мне, в ответ на мой вопрос, что происходил не от Прокопия Ляпунова, сидевшего в Тушине с "вором", а из другой ветви этого рода.

Ему пришлось служить в какой-то военной академии, но трудно представить себе Алексея Андреевича в военном мундире. Он был очень больной человек, его берегли от всяких переживаний, но сам он себя не берёг. И хотя все знали, что он мог умереть каждый день, смерть его всех потрясла.

Блеск и нищета физиков[1]

Этот мой разговор будет относиться к физикам. Его можно было бы назвать, наподобие одного из романов Бальзака, “Блеск и нищета физиков”. Физики были кумирами XX столетия, потому что им удалось осуществить самый знаменитый проект этого столетия — атомную бомбу. Обещанное ими мирное использование атомной энергии — т. е. термоядерный двигатель — не удалось. А те атомные электростанции, которые удалось построить, невыгодны. Они не окупаются, и их перестали строить.

Что можно сказать о физиках XX века? В начале XX века в физике были сделаны выдающиеся открытия. Тогда была создана теория относительности и квантовая механика. Примерно к 1930 году эти конструкции были в основном завершены, и идеи новой физики были предложены. А дальше началась их разработка. Между появлением идей и их разработкой есть разница, которую не принимают обычно во внимание.

В чём заинтересована бóльшая часть населения, так это как раз разработка, т. е. технические применения науки. Поэтому публике может показаться, что XX век был веком чрезвычайных успехов в науке, в особенности вторая половина, когда техника развивалась, используя эти достижения физики. Но в действительности как раз к концу XX века источник физических идей иссяк, и новых идей больше не появлялось. Теперь непонятно, в каком направлении будет развиваться физика, хотя, конечно, технические применения физики, т. е. разработка существующих теорий, доставляет много работы большому числу физиков.

Тут возникает аналогия. Аналогия эта представляется очевидной, но так как я сам до неё додумался недавно, то очень может быть, что ее упускают из виду. Упускают из виду, что явление, происшедшее в физике в XX веке, уже было однажды в XIX — это истощение основных идей и переход к разработке деталей.

Разработка деталей — это вовсе не мелкое и незначительное дело, потому что научные теории состоят не только из фундаментальных

[1]Очерк “Блеск и нищета физиков” приводится как типичный для А. И. образец импровизированной лекции для одного слушателя, или его размышления вслух. Аудиозапись сделана 18 октября 2005 года. Расшифровка дословно воспроизводит текст аудиозаписи. — (*Прим. ред.*)

идей, но и из их следствий, начиная от логического исследования научных теорий и до их детального применения. Но основные идеи — всё-таки главное. И вот тут положение в физике XX века напоминает то, что было в XIX веке с физикой того времени, которая в общем произошла из небесной механики.

Дело в том, что вначале была ньютоновская механика. Другие части физики, в особенности электродинамика Максвелла, появились потом. И ньютоновская механика произошла из решения одной конкретной задачи — задачи двух тел. Ньютон, открывший законы механики, составил уравнение движения в этой механике, которые были пригодны для любой системы материальных точек, но решение которых удалось лишь в немногих случаях. Единственный случай, который точно решил Ньютон, это была система из двух тел. Даже точнее, у него это была система из одного массивного тела и другого — значительно меньшей массы, что тоже очень важно в решении этой задачи. Это была система, состоящая из Солнца и планеты, движущейся вокруг Солнца.

Решение этой задачи двух тел имело огромный резонанс, оно приобрело огромную популярность среди неосведомлённой публики, потому что оно позволило в точности описать движение планет, предсказывать их положение на небе. А между тем само слово “планета”, означающее “блуждающий”, свидетельствовало о недоумении, о непонимании, как движутся планеты. Они ведь среди упорядоченного движения звёзд проделывали странные, причудливые петли, которые едва могли предсказать эмпирически, следуя системе Птолемея, но объяснить никак не могли.

Ньютон объяснил движение планет. Точнее, он объяснил движение каждой планеты по отношению к Солнцу. А потом созданная Ньютоном небесная механика послужила образцом для земной механики, для создания механики машин, используемых инженерами, и имела много полезных применений в технике. Первоначальная небесная механика тоже имела технические применения, потому что астрономия была важна в навигации, она служила тогда, когда отсутствовала радиолокация, она служила единственным способом точно определять положение корабля или путешественника на земной поверхности.

Открытие Ньютона не только потому создало ему такую репутацию, что оно имело полезные следствия — вначале они были скромными, движения светил имели мало общего с земной жизнью, — а как раз потому, что это казалось ответом на очень трудный вопрос, который средневековое мышление людей всё ещё связывало с астро-

логией. Ведь издавна было принято думать, что судьба микрокосма, то есть человека, отражает судьбу макрокосма, то есть судьбу вселенной в целом. Эти предрассудки очень сильно способствовали репутации открытий Ньютона. Это было действительно великое открытие, потому что от небесной механики Ньютона и от закона тяготения, которые вместе составили небесную механику, произошла вся современная наука, или вся наука, которую стоит называть этим словом. Раньше наука была просто схоластической учёностью или, выражаясь в нынешних понятиях, учёной болтовнёй на латинском языке.

Настоящее знание появилось из этой небесной механики Ньютона. Но сам Ньютон, конечно, был не в состоянии рассчитать все последствия, все выводы из своей механики. Этим занялись его ученики и последователи, самым знаменитым из которых был французский математик Лаплас. Они развили небесную механику до очень совершенной системы, описывавшей движения всех тел Солнечной системы: планет, спутников, комет. И всё это делалось, опираясь на те же законы Ньютона — на законы механики, в справедливости которых не было ни малейшего сомнения в течение двухсот лет, и на закон тяготения, тоже считавшийся основным законом природы. Особый статус этого закона можно напомнить. Ведь это по поводу него Александр Поуп произнёс своё знаменитое изречение:

> Nature and nature's laws lay hid in night.
> God said: "Let Newton be!" And all was light.
> (Природа и законы природы были погружены во тьму.
> Бог сказал: "Да будет Ньютон!" И воссиял свет.)

Однако решение задач небесной механики — это было решение дифференциальных уравнений, которое не поддавалось математическим методам. Математики знают, что они могут точно решать очень немногие задачи. А когда задача усложняется, когда дифференциальные уравнения становятся сложными, математика останавливается в бессилии и должна сделать какие-то упрощающие предположения.

Таким упрощающим предположением было допущение, что некоторые из участвующих во взаимодействии тел малы по сравнению с другими. Планеты, например, малы по сравнению с Солнцем. Это даёт заметное упрощение при трактовке Солнечной системы, которое на бытовом языке проявляется в виде выражения "Планеты вращаются вокруг Солнца". Это не совсем верно, в действительности планета и Солнце вращаются вокруг общего центра тяжести, а так

как планет много, то картина ещё сложнее. Но в основном можно было считать, что Солнце "неподвижно", а планета вертится вокруг Солнца по эллипсу, согласно закону Кеплера, который Ньютон тоже сумел объяснить.

Ну а если надо учесть влияние других планет — а планеты влияют друг на друга, хотя эти влияния меньше, чем влияние Солнца на планету, — то точное решение задачи было уже невозможно. Нельзя было, например, решить задачу трёх тел. Если, скажем, имеется основное светило Солнце, имеется планета, хотя и меньшая, но значительная, и ещё одно тело, сравнимое с планетой по массе, то тогда возникающая задача трёх тел становится неразрешимой. Математики не могли с ней справиться и не могут до сих пор. Это означает, что в лучшем случае теперь, с помощью компьютеров, можно рассчитать их движение на небольшой промежуток времени, если известны начальные данные. А предсказать, что будет дальше — невозможно.

Что же стали делать астрономы, или люди, занимавшиеся небесной механикой? Они стали рассчитывать случаи, когда наряду с крупными телами (которых должно быть не больше двух, потому что задача двух тел, лежащая в основе всего, решена точно), всё остальное рассматривалось как поправки к этой задаче. Иначе говоря, изменения, вносимые другими телами, рассматривались как небольшие поправки или, как выражаются в астрономии, возмущения движений этих основных двух тел. Возникла теория возмущений. Это приближенная математическая теория, очень утонченная, которая позволяет приблизительно предсказать, как будет вести себя в присутствии этих двух тел третье тело, или третьи тела, если их несколько, которые могут в небольшой степени влиять на положение этих двух тел. Вот эти взаимные влияния, небольшие по сравнению с основным движением двух главных тел, и были предметом занятий небесной механики.

Можно спросить: "Как же, ведь планет много!" Но дело в том, что система, состоявшая из Солнца и одной планеты, может с большой степенью точности считаться изолированной, потому что планеты далеки друг от друга, не сближаются, двигаясь по своим орбитам, и влияние их друг на друга очень мало по сравнению с влиянием Солнца. Именно поэтому можно было развивать небесную механику как теорию возмущений — небольших возмущений основного движения, которое было исследовано ещё Ньютоном. Вся небесная механика была развитием приближенных вычислений, на основе теории возмущений. За пределы этой концепции небесная ме-

ханика не вышла. Это означает, что в тех задачах, в которых имеется нечто большее, чем возмущение основной, решаемой задачи, наука ничего не может сказать. Она останавливается перед этими задачами.

Потом оказалось, что положение, возникшее таким образом в небесной механике, типично. Оказалось, что в новой физике, которая возникла уже в XX веке и символизируется двумя новыми дисциплинами — теорией относительности и квантовой механикой, — положение точно такое же. Тут вошли в науку новые грандиозные идеи. Если говорить об общей теории относительности, то по-видимому эти идеи являются в какой-то степени окончательными, потому что это такая теория, что дальнейшее развитие не может её опровергнуть, а может только уточнить. В этом смысле она окончательная. Да и квантовая механика содержит, вероятно, значительную долю науки, которая сохранится в будущем, хотя и не всю такую науку, конечно.

Эти идеи были завершены примерно к 1930 году. А затем повторилось такое же положение, которое было в XIX веке. В XX веке тоже новые идеи были исчерпаны, но физики занялись разработкой выводов из этих идей. Они принялись решать задачи, которые возникли уже из новых теорий — теории относительности, и ещё больше из квантовой механики. Тут опять были уравнения, которые надо было решать — уравнения общей теории относительности Эйнштейна, очень сложные, где точные решения известны только в самых простых случаях, и уравнения Шрёдингера в квантовой механике, где тоже очень мало точных решений.

Чем же занялись физики? Они занялись разработкой этих новых теорий с помощью теории возмущений. Это значит, что они решали задачу так: брали задачу, которую умеют точно решить, а потом предполагали, что имеется еще какое-то осложнение, которое можно учесть с помощью небольших членов, влияние которых можно приближённо рассчитать. Это теория возмущений. И вся физика превратилась в теорию возмущений — то, чем занимается подавляющее большинство физиков, за исключением небольшого числа фанатиков и мучеников, которые возятся с неразрешёнными проблемами. Все остальные занимаются плодотворной, но в принципе второстепенной разработкой в рамках существующих теорий.

Я не хочу сказать ничего плохого об этих учёных, потому что разработка существующих теорий совершенно необходима. Но не надо выпускать из виду, что при этом основные задачи остаются недоступными. Новые идеи не выдвигаются, а происходит разра-

ботка подробностей в рамках существующих теорий. Причём поразительным образом то, что происходит с квантовой механикой и в некоторой степени с теорией относительности, которой занимаются меньше, очень напоминает работу в небесной механике, составлявшую главное занятие физиков в XIX веке.

Я очень хорошо понимаю, что в этой картине есть передержки и недостатки. Например, я ничего не говорил об электродинамике Максвелла, столь же великолепном построении, как механика Ньютона. Это было независимое достижение огромной силы, построенное на новых идеях, хотя сам Максвелл, возможно, предпочёл бы держаться старых идей, но это ему не удалось. Но и там дело произошло таким же образом. Поскольку точно удалось решить очень небольшое число задач электродинамики, дальше принялись приближённо решать задачи методом возмущений. Приближенное решение задач и там стало основным занятием большинства физиков. В таком положении находится теперь физика.

Это не значит, что она не имеет приложений, что она не полезна. Приложения её бесчисленны, а польза её, как и вред, совершенно очевидны. Например, электроника, которая теперь присутствует в каждом доме и делает нашу жизнь совсем непохожей на жизнь наших предков, является продуктом исследования физиков над катодными трубками в начале XX века, над пучками электронов на электрическом магнитном поле.

У неё был ещё другой источник. Это работы математиков, которые создали математическую логику и позволили, тем самым, рассчитывать работу этих устройств, понимать, как работают логические устройства. Однако, всё это старые идеи — новые идеи не появляются.

На этом можно было бы и остановиться, но дело в том, что физики — это совершенно особая порода людей. Они необычайно высокомерны и уверены в своём превосходстве. Я бы сказал, что они даже несколько напоминают жрецов господствовавших религий, которые претендовали на магическую силу. Египетские жрецы претендовали на совершение чудес. Потом христианские священники совершали чудеса, и за это одни других возводили в святые. А теперь физики играют роль таких чудотворцев. Некоторые чудеса они умеют делать, а другие обещают, как например, давно уже обещанный термоядерный двигатель, под который физики получили немало денег и которого всё никак нет. Физики очень высокомерны. У них есть основания высоко ценить свою науку. У них есть выдающиеся достижения, которые и продолжаются в

рамках существующих теорий. Они делают новые открытия, объясняют новые явления с помощью старых принципов квантовой механики. Физики совершенно уверены в своём превосходстве над всяким другим знанием.

Меня могут спросить, какое знание я имею в виду, потому что в современном мире под настоящим достоверным знанием понимают только такие знания, какие дают нам физики — знание в виде математических формул, позволяющих рассчитывать явления природы. В сущности астрономы делают то же самое, и астрономия является особым разделом физики, в котором приходится только наблюдать, поскольку эксперименты над небесными телами мы пока делать не умеем или умеем мало, только над маленькими телами. Или, скажем, если говорить о чистой науке, есть ещё математики. Почему они этим занимаются — это особый вопрос, но надо сказать, что они в значительной степени были независимы от физиков, откололись от них, отделились, и развитие математики пошло отдельно, хотя соприкосновения были и влияние математики на физику было, и очень сильное влияние. Обратное влияние менее очевидно в XX веке, потому что математики перестали понимать физику. Расхождение между математиками и физиками произошло в середине XIX века. До этого физики-теоретики одновременно были и математиками. А первым физиком, который не делал чисто математических работ, т. е. не решал математических задач как таковых, был Максвелл, работавший в середине XIX века.

Какое же знание есть ещё, не такое, как у физиков, о котором бы стоило говорить? Разумеется, от меня невозможно ожидать, чтобы я говорил о знании сверхъестественного. Ни во что такое я не верю. А между тем, знание, о котором стоит поговорить, есть. Я не имею в виду даже гуманитарного знания, потому что это знание имеет исторический характер, описательный характер, очень далёкий ещё от науки. Например, никто не скажет, что филология или, тем более, история — настоящие науки. Английское слово science не включает в себя гуманитарных наук, оно относится только к точным наукам, к естествознанию.

Но вот есть ещё естествознание, которое находится на доматематическом уровне развития, как полагают. Что это означает? Означает ли это, что оно не может применять математики и что оно не должно её применять, или что оно ещё не развилось до применения математики?

Тут есть точка зрения Канта, который был совершенно уверен, что каждая наука является наукой в той степени, в которой она

использует математику. Ещё гораздо раньше Канта то же самое говорил Галилей, что природа выражается на языке математики, её знаки — это круги, треугольники и т. д.

Предположение, что всякая наука в конечном счёте превращается в нечто вроде математики, и развитая, совершенная наука использует аксиоматический метод, принадлежит Гильберту. Гильберт выдвинул эту идею около 1917 года. Я читал его статью в "*Mathematische Annalen*", в которой он это говорил в применении к физике, и вообще он считал, что каждая наука в совершенном своём, развитом виде, должна стать математической наукой.

Я разделяю эту точку зрения, но я не думаю, что математика, которой будет пользоваться, скажем, будущая биология, будет очень похожа на ту, которой пользуется, скажем, математическая физика. Я думаю, что развитие математики показывает, как далеко она может уйти от образцов классической математической физики XIX века. Те уравнения математической физики, от которых пошло название университетского курса, вовсе не исчерпывают будущей математики.

В математике развиваются качественные методы, не похожие на методы классического математического анализа, дискретные методы, от которых пока неясно, что можно ещё ожидать, но которые, по-видимому, очень важны. Развивается, наконец, математическая логика, говорящая о том, что возможно и что невозможно. Тоже очень полезная тема для размышлений. Короче говоря, какова будет будущая математика, мы не знаем. По этому поводу можем делать только догадки. Но каковы бы ни были эти догадки, чем бы ни была будущая математика, она будет отличаться от нематематики вовсе не использованием интегралов, например, или дифференциалов (то есть классической математической физики). Она будет отличаться, как правильно думал Гильберт, точной логической трактовкой, то есть аксиоматическим подходом. Так вот Гильберт, вероятно, был прав. Но время, когда оправдается его предсказание, ещё далеко.

И вот Конрад Лоренц, крупнейший биолог XX века, работавший совершенно вне русла математической физики, хотя и получивший прекрасное естественно-научное образование и понимавший эти идеи, он думал, вслед за философом Виндельбандом, что в развитии каждой науки есть три этапа: 1 этап — чисто описательный; 2 этап, когда начинают нащупывать закономерности; 3 этап — количественный, математический. Я думаю, что довольно точно описал эти три этапа. К. Лоренц считал, что биология находится

пока на первом этапе и переходит ко второму, что ей ещё далеко до математического этапа.

Сам он не отказывался в некоторых случаях проводить статистику, но, скорее для убеждения своих оппонентов, чем для своего собственного убеждения. Лоренц подчёркивал, что каждая наука является наукой не в той мере, в которой она использует математику, а в зависимости от того, насколько строги её подходы, насколько научен её стиль. А этот стиль может относиться к исследованиям совсем не математическим. Например, таковы были его собственные биологические работы. И таковы же были работы его учителя Хайнрота, на которые он ссылался. Были прекрасные биологи, совершавшие великолепные открытия в XX веке. Наконец, в XX веке было совершено величайшее открытие в биологии — это открытие механизмов наследственности, окончательно доказавшее единство происхождения всего живого на Земле. Это нуклеиновые кислоты и строение механизма наследственности.

Возникновение молекулярной биологии не было связано с математикой и математической физикой, если не считать того, что люди, занимавшиеся этим, пользовались физическими приборами. У них были микроскопы, ультрамикроскопы, они пользовались рентгеном, они вовсю пользовались физическими приборами, но они не пользовались физической теорией.

Если посмотреть, как Крик и Уотсон додумались до модели ДНК, то мы увидим, что они в своей лаборатории строили модели из разноцветных шаров и проволоки — они делали пространственные картинки, чтобы представить себе наглядно расположение того, из чего состоят молекулы ДНК. И всё. У них не было никаких расчётов. И нет никакой возможности рассчитывать, что происходит в ДНК. Даже квантовая механика не позволяет выполнить эти расчёты, потому что методы расчёта в квантовой механике приближенные. Сложные задачи, где участвует много равноправных частиц, неразрешимы. Поэтому мы не знаем, что происходит с ДНК, как на самом деле работает механизм наследственности, как работает жизнь на молекулярном уровне. Это не значит, что квантовая механика неверна. Физики не сомневаются, что она всегда верна в каком-то смысле. Но расчёты выполнить невозможно. А приближенные методы, которые очень хорошо работают в технических приложениях, как раз в этих случаях неприменимы. Приближённая модель, которой пользовались в физике — её называют моделью Борна-Оппенгеймера, или что-то в этом роде, — не работает.

А между тем, открытия, связанные с молекулярной биологи-

ей — самое важное, что было сделано в середине XX века. И это было сделано без математики, без участия математической физики и вообще без математического аппарата. Самое большое зияющее бедствие в науке — это отсутствие теоретической биологии. Есть теоретическая физика, нет теоретической химии, она не получается, слишком сложно всё это. И нет теоретической биологии. А между тем первоклассные открытия в биологии свершились. И не только в молекулярной биологии, но и в этологии, где исследовано поведение животных и даже отчасти человека. Открытия, не использующие математики, совершались и совершаются до сих пор. Физики не вносят своего вклада в это дело. За редкими исключениями они даже не знают, чтó здесь происходит. Они занимаются только разработками в рамках существующих теорий, вылавливая те случаи, когда можно применить механику возмущений, т. е. малые параметры.

В таком положении находится физика. Если бы физики не были так высокомерны и добросовестно искали новые пути, это не вызывало бы такого раздражения у представителей других наук. Они сами от себя отталкивают мыслящих представителей естествознания тем, что ничего не хотят знать, кроме своих расчётов. А расчёты их находятся в тупике. Примером физика-расчётчика самого высокого уровня является Фейнман, американский физик, самый великолепный мастер по теории возмущений. А у нас в России примерно такую роль играл Ландау.

Что нужно для того, чтобы физики вышли из этого тупика? Никто не знает достаточных условий. А необходимые можно сразу же указать. Физикам необходимо быть скромными перед природой. Когда выдающийся современный физик написал книгу “Первые три минуты”, воображая, будто уже точно известно, что происходило в начале мироздания, — это то самое высокомерие, которое греки называли словом “хибрис”. У них было такое понятие, что если смертные возносятся слишком высоко, то боги их наказывают, потому что боги не любят, когда покушаются на их прерогативы. Образец этого высокомерия — это Стивен Вайнберг, гораздо более крупный физик, чем Фейнман, и невозможно сомневаться в его величине. Но в самом ли деле мы знаем, как начиналось мироздание? Сам Эйнштейн, между прочим, который начал эту современную космологию, был очень скромен.

По поводу “дела Лузина”

История Лузина теперь хорошо известна, потому что историк математики Демидов нашёл в архивах и опубликовал историю его преследования в 36-ом году. Тогда начали травлю математиков, и в особенности Лузина, по совершенно бессмысленным обвинениям. Были разгромные статьи в “Правде”, ожидали арестов.

Травля эта прошла впустую, поскольку Сталин, как теперь известно, не одобрил эту кампанию, и обвинения с Лузина были сняты простым умолчанием — внезапно преследование прекратилось. Сталин решил, что не следует начинать погром науки с математики, потому что народ этого не поймёт. Конечно, с биологией было проще, потому что там “вредительство” можно было обосновать.

Кампанию против Лузина начали юродствующие коммунисты Райков, который всё-таки был математиком, впоследствии печатал работы, и Кольман — совсем не математик, а философ и активный коммунист из Праги. Точно не известно, кто затеял эту кампанию, кто был инициатором, но эти участвовали.

К несчастью, большинство учеников Лузина тоже участвовало в этой травле, потому что они не поняли, чтó происходит. Старые математики с традициями русской интеллигенции понимали, что это политическая провокация, что это политическое преследование и что учеников используют для этой цели. Сами они не считали возможным использовать внутренние конфликты перед лицом начальства, а ученики не понимали и сделали возможной эту провокацию. Это история вырождения русской интеллигенции. И это история зависти учителя к своим ученикам.

Мой взгляд на дело Лузина основывается на материалах, опубликованных в Историко-математических исследованиях и, сверх того ещё, на переписке Понтрягина с Гордоном, опубликованной сыном Израиля Исааковича, Евгением Израилевичем.

С его слов я знаю, что Лузин на самом деле был сильно виноват в судьбе Суслина. Евгений Израилевич узнал от сотрудников покойного Привалова, бывшего ректором Саратовского университета в начале 20-х годов, о том, как пытался устроиться в Саратове на работу Суслин и как ректор получил письмо от Лузина с запрещением принимать его на работу. А мнение Лузина было тогда — закон.

С другой стороны, Евгений Израилевич говорит, что, по имеющимся у него сведениям, не обязательно предполагать, что смерть Суслина непременно связана с Лузиным. Он и в самом деле поехал к отцу в деревню, получив от него заверение, что в деревне нет сыпняка. Отец сказал ему неправду, потому что тиф там был — он им заразился и умер.

Я не думаю, что Лузин хотел смерти Суслина, но отношение к нему было нечистое. Совершенно ясно, что он завидовал Суслину, страшно переоценивая значение его работы. Эта зависть могла распространиться и на Павла Сергеевича Александрова, которому принадлежал решающий математический подход, позволивший Суслину построить своё множество. Во всяком случае, обида между ним и Александровым, так же как и между ним и Суслиным, была. И Суслин якобы не постеснялся высказать Лузину, что у него самого не так уж много научных результатов или что-то в этом роде.

Гораздо большей была вина Лузина по отношению к П. С. Новикову — он по существу присвоил себе его результаты, приведя их без указания автора в своей книге, изданной в Париже. Но Новиков как раз не жаловался и не имел претензий. Он понимал, что в условиях политической провокации нельзя говорить против Лузина.

К этому прибавляется ещё и другая сторона дела. Отношения Александрова с Лузиным были осложнены тем, что Лузин долго препятствовал избранию Александрова в академики. Тогда было объединённое физико-математическое отделение, и избрание в академики зависело от физиков. Академики-физики не знали, за кого нужно голосовать, потому что работы математиков были им непонятны и чужды. Естественно, что они спрашивали об этом у Лузина.

Сам Лузин в 20-х годах был избран в академики по отделению философии. О том, как он там был представлен, рассказал Алексей Николаевич Крылов. Однажды он открыл им какую-то работу прикладного математика Галеркина по математической физике, где было полно огромных формул, и сказал: “Вот это математика”. А потом показал работу Лузина, где был словесный текст и очень мало формул, и сказал: “А это философия”. Это мнение не делает чести Крылову, но Лузина, который был уже знаменит, избрали по философскому отделению, что было, вероятно, несложно, так как все сколько-нибудь известные философы были отправлены на пароходе за границу, а отделение философии продолжало существовать. Но практически Лузин заседал всё-таки в отделении математики. И физики всё время спрашивали его мнение о том или ином математике и, услышав отрицательное мнение Лузина об Александрове,

которое он, по-видимому, всё время повторял, — не выбирали его.

И вот когда это произошло в очередной раз (я не помню точно, в каком это было году), к Лузину подошёл Колмогоров и, выругав, ударил его по лицу — случай беспримерный в академии со времени Ломоносова. По-видимому, обвинение в подлости, которое высказал Андрей Николаевич, было связано не просто с тем, что Лузин повторил своё отрицательное мнение об Александрове. Возможно, он дал обещание поддерживать его кандидатуру и нарушил обещание — я не знаю точной мотивировки. Но известно, что Павел Сергеевич был ближайшим другом Колмогорова.

Что же касается научных заслуг Павла Сергеевича, то в них Лузин мог вполне сомневаться — они вовсе не были на уровне Колмогорова, и он не был таким уж первоклассным топологом. Значение введённых им понятий, в особенности понятия компактного пространства, было оценено впоследствии, а в 30-е годы, может быть, ещё и не было понято. И не исключено, что Лузин искренне высказывал своё мнение об Александрове.

С другой стороны, собственных результатов у самого Лузина было мало — известная теорема Лузина была им доказана ещё до революции. Однако это нисколько не извиняет поведение учеников. То, что было организовано против Лузина негодяями в 36-ом году, было политической провокацией, которая должна была кончиться арестом Лузина. Им было известно, что Дмитрий Фёдорович Егоров умер в тюремной больнице в 31-ом году. Ясно было также, что это прямая провокация, которая могла стоить Лузину жизни.

Представители старой русской интеллигенции, участвовавшие в этом обсуждении, — Сергей Натанович Бернштейн и Алексей Николаевич Крылов (кстати, отнюдь не поклонник науки Лузина), — понимали политический замысел этой провокации и ничего не говорили против него. А вот ученики Лузина поддакивали и сделали возможной эту провокацию, едва не погубив его.

Я читал материалы этого обсуждения, напечатанного Демидовым. Из них видно, что Павел Сергеевич высказывался по поводу Лузина умеренно. Как я выяснил, Люстерник не составлял исключения, он тоже участвовал в этой кампании — не очень активно. Но в общем, ученики Лузина против него ополчились, выполнив то, чего от них ожидали провокаторы. Не выступали против Лузина Петр Сергеевич Новиков, Людмила Всеволодовна Келдыш и Нина Карловна Бари.

История эта грязная, нехорошая. В защиту учеников Лузина можно только сказать, что все они были просоветски настроены.

Есть основания полагать, что эти настроения были искренними ещё в 36-ом году. Я очень сомневаюсь, чтобы они остались искренними после чисток 37-го года. И я не знаю, когда эти друзья (Колмогоров и Александров) приобрели лучшее представление о "советской власти". Очень возможно, что их негодование против Лузина было искренним советским патриотизмом.

Ну а Дмитрий Федорович Егоров и Николай Николаевич Лузин были настроены антисоветски, что ни для кого не составляет тайны. И материалы, опубликованные по поводу Лузина в "Успехах математических наук" не оставляют сомнения, что Лузин делал иронические издевательские замечания по поводу советских учёных учреждений, хотя и не прямо против советской власти.

Между Лузиным и его учениками был серьёзный конфликт. И в основе его лежала очень печальная истина — как учёный он им уступал. Он страдал от своего творческого бесплодия. К тому же неприятным качеством Лузина была "нострификация", когда он переставал различать между своим и чужим. Была ещё объективная ситуация, что учитель потерял нравственное превосходство над своими учениками. Это была личная трагедия Лузина, которая обернулась такой постыдной историей в его школе.

Но самое главное, что я понял из этих книжек, как глубоко несчастны были эти люди. Жизнь их была омрачена спортивным беспокойством по поводу приоритетов.

Вот одно важное место из книги Тихомирова. Эйнштейн в 1914 году присутствует на каком-то чествовании Планка и произносит следующее:

"Храм науки — строение многосложное, различны пребывающие в нём люди и приводящие их туда силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства. Для них наука является тем подходящим видом спорта, который должен дать им полноту жизни и удовлетворение честолюбия.

Можно найти в храме и других. Плоды своих мыслей они приносят в жертву в утилитарных целях.

Если бы посланный богом ангел пришёл в храм и изгнал тех, кто принадлежит этим двум направлениям, то храм катастрофически опустел бы. И всё-таки кое-кто из людей как прошлого так и настоящего в нём бы остался. К числу таких людей принадлежит наш Планк, поэтому мы его любим".

В этой речи сказано обо всём, что сгубило Московскую математическую школу. Все они конечно имели научные интересы, они конечно искренне интересовались математикой, но одни из них не

могли избавиться от высокомерия и тщеславия (непременно стать академиком, как Павел Сергеевич), а другие соблазнились утилитарными целями, приложениями, и начали работать на военных (как, например, Лаврентьев, поздний ученик этой школы).

Письмо В. М. Тихомирову

Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!

Мой брат привёз мне Вашу книгу о Колмогорове, а также сборник "Колмогоров в воспоминаниях учеников". Я прочёл обе эти книги с большим интересом, так как в 1946–48 годах проходил аспирантуру в Московском университете (под руководством Лазаря Ароновича Люстерника), знал многих представителей Московской математической школы и сам могу считать себя с известным правом учеником этой школы.

Прежде всего, я хочу поблагодарить Вас за Вашу книгу, которая лишь случайно попала в мои руки (тираж 310 экземпляров!) и вызвала у меня воспоминания и глубокие чувства. Я не был ни учеником, ни близким знакомым Андрея Николаевича Колмогорова и, насколько помню, говорил с ним лишь два раза. Вторая моя встреча с А. Н. произошла, если не ошибаюсь, в 1963 году, во время его приезда в Новосибирск. В то время я ещё благополучно работал в Институте математики Сибирского отделения Академии Наук. Для Колмогорова устроили катание на лодках вместе с молодыми математиками, а из старших почему-то пригласили меня и устроили так, что я оказался в одной лодке с А. Н. В той же лодке были два молодых в то время тополога, Шведов и Кузьминов, которые гребли и давали мне возможность говорить с А. Н. Мы проговорили несколько часов при полном невмешательстве молодых учёных, и я, хорошо понимая научное значение А. Н., пытался выяснить его взгляды на развитие математики в то время и уяснить себе, что он за человек. Об этом разговоре я расскажу потом.

Ваша книга вызвала у меня не только сочувственный интерес, но и серьёзные возражения. Эти возражения относятся, конечно, не к значению научных достижений А. Н., а к общему пониманию эпохи, когда довелось жить ему, его друзьям и ученикам. Боюсь, что Вам не понравится кое-что из того, что я имею сказать. Но я был свидетелем этой эпохи, высоко ценил моих учителей и внимательно присматривался к судьбе людей, которых они подготовили и воспитали.

Расскажу очень коротко о себе. Я приехал в Москву осенью 46-го года из Томска, где окончил университет и прошёл первый год аспирантуры. П. К. Рашевский, знавший меня студентом, отозвался на

моё письмо и рекомендовал меня И. М. Гельфанду, поскольку я, под влиянием статьи Немыцкого в "Успехах", хотел заниматься функциональным анализом. Мне удалось добиться прикомандирования к Институту математики университета, где В. В. Степанов принял меня с подлинно интеллигентским радушием.

В семинаре Гельфанда я вскоре решил задачу, поставленную Г. Е. Шиловым, и Георгий Евгеньевич счёл нужным опубликовать эту работу в "Докладах". Задача была о нормированном кольце аналитических функций в круге. Гельфанд тут же, при мне, сказал Шилову: "А зачем ты, Юра, даёшь глупые задачи?", что не очень содействовало моему научному самоутверждению. Но независимо от этого семинар Гельфанда занимался уже представлениями групп с прицелом на физику, то есть сложной алгеброй, назначение которой было мне тогда непонятно. (По иронии судьбы мне довелось впоследствии заниматься физикой симметрии!) Я посещал разные семинары, выбор которых тогда был необычайно богат, и более всего меня привлёк малочисленный семинар Л. А. Люстерника под названием "Качественные методы анализа". Я принялся изучать нужную для этого математику, сознавая своё невежество. По совету Н. Я. Виленкина я начал с топологии. Занимался я в одиночку, поскольку семинар П. С. Александрова мне был неинтересен, а семинар Понтрягина слишком труден.

Задача, которую мне дал Люстерник, состояла в вычислении кольца когомологий пространства замкнутых кривых на двумерной сфере, в продолжение работ Морса. Моими оппонентами были, в декабре 1948 года, Л. С. Понтрягин и В. А. Рохлин. Диссертация была признана выдающейся, после чего меня направили на работу в Томск.

Докторскую диссертацию я защищал тоже в Московском университете в 1967 году. Она содержала некоторые общие теоремы о замкнутых экстремалях на многообразиях и была принята к защите благодаря решению Николая Владимировича Ефимова. В ту пору защищаться в Московском университете было уже, по-видимому, некоторой привилегией.

Впоследствии я не раз бывал в Москве и участвовал во всех топологических конференциях. Кроме Л. А. Люстерника, я был знаком с П. С. Александровым и особенно с Вадимом Арсеньевичем Ефремовичем, которому после возвращения из лагеря позволили вести в университете семинар. Моими друзьями были В. А. Ефремович, В. А. Рохлин, А. Г. Сигалов и И. И. Гордон.

Я относился к людям, возглавлявшим Московскую школу, с ве-

личайшим уважением, но ничего не знал о её внутренних отношениях и лишь подозревал, в каких внешних условиях она находилась. Замечу, что я приехал в Москву с уже сложившимися антисоветскими настроениями и, естественно, предполагал их у знаменитых математиков как нечто само собой разумеющееся. Я очень хорошо знал, что на эти темы не разговаривают. Естественно, я знал о "деле Лузина" только то, что было тогда напечатано в "Успехах", и напечатанному не верил. Поэтому эволюция Московского мехмата, о которой я слышал, означала для меня лишь дальнейшие вторжения начальства, но не разочарование в моих учителях. У меня могли быть другие математические мнения: например, я написал однажды наивное письмо П. С. Александрову, обращая его внимание на развитие дифференциальной топологии, несравнимое с так называемой "общей топологией", на что он ответил ссылками на работы его учеников. Но статейка Александрова и Колмогорова по поводу Солженицына разрушила мою веру в учителей.

Дело не в том, кто такой Солженицын (что тогда было неясно), можно ли "простить" эту статейку в смысле христианского милосердия и т. п. Дело в *унижении* перед советским начальством людей, которые для многих — как и для меня — были образцом нашей старой интеллигенции, эталоном приличного поведения в этом неприличном мире. Я понимал, что они сделали это из страха за свой драгоценный мехмат. Но, конечно, к тому времени они уже потеряли и свой факультет, и самих себя. А потом произошла метаморфоза Понтрягина и Шафаревича и появилось нечто вроде воспоминаний Александрова в "Успехах" с неприличными, неинтеллигентными признаниями ("при любых условиях хорошо питаться"). Добро бы Понтрягин, но уж П. С. должен был понимать, что́ он выставляет напоказ. Но в случае П. С. это могло быть старческим маразмом (как свидетельствует и стиль этого сочинения), а у Л. С. можно было подозревать просто особую форму помешательства. Его учитель (Ефремович, а не Александров), сохранивший ясный ум до конца дней, так и думал. Дело, однако, не в слабостях и болезнях отдельных лиц.

Я возвращусь теперь к моей поездке на лодке с А. Н. Это было в 1963 году, когда за разговоры практически уже не сажали, и все говорили в своём кругу, что́ думали. Как только ослабел нажим террора, люди "релаксировали", восстановили свою собственную форму, насколько это позволяли условия. Конечно, можно возразить, что А. Н. не причислял меня к своему кругу, но Вы ведь тоже не могли вызвать его на откровенность! Это было явление, которое я наблю-

дал у многих переживших террор, и называю “остаточной деформацией”. Я видел это у С. Л. Соболева, у А. Д. Александрова (в форме, доходившей до раздвоения личности), у Н. А. Шанина (оправдывавшего — *в конце 60-ых годов* — сталинские репрессии). А. Н. молчал не просто потому, что это было нужно, и боялся не оттого, что это было в самом деле опасно. Он довёл себя до необратимой деформации личности из-за своей связи с *учреждениями.* И мне приходит на ум странная мысль, что лидеры Московской математической школы, может быть, никогда не имели отчётливых политических взглядов. Не имел же их Сахаров, *за месяц до смерти* оправдывавший в интервью корреспонденту свою работу над водородной бомбой.

Я помню, как среди друзей Сахарова, искренних “правозащитников”, я сделал, казалось бы, очевидное замечание, что он должен был испытывать угрызения совести. И тут одна женщина, во всех отношениях бескорыстная и смелая, сказала: “А чего же он должен был стыдиться?”. Я был изумлён и нашёлся лишь возразить: “Ну, представьте себе, что какой-нибудь немецкий физик сделал для Гитлера атомную бомбу!”. “Что же тут общего?” — ответила она. И я вдруг понял, что для моих собеседников водородная бомба Сахарова была *патриотическим подвигом.* Это были лучшие из наших “диссидентов”.

В Вашей замечательной книге есть место, где Вы пишете, как страстно хотел П. С. Александров быть избранным а академики, и рассказываете, к каким последствиям это привело. Но в том месте, где Вы цитируете слова Эйнштейна о Планке, всё это объясняется вполне. Конечно, люди несовершенны. Они не видят, как на глазах у них меняются учреждения, меняется смысл почётных званий, и гоняются за почестями, уже теряющими смысл. Они не понимают, какую цену им приходится платить за эти пустые звания, и чего стоят их давно сгнившие учреждения. В ряде случаев я убеждался, что эволюция учреждений не вызывала у наших учителей адекватных реакций, а эволюции учеников и сотрудников они просто не видели. Одна из остаточных деформаций советского человека и состояла в этой потере зрения.

Мальцев описывается в Вашей книге как близкий человек и друг А. Н. (стр. 67). Вероятно, это было давно. Мой старший друг И. И. Гордон тоже описывал его с симпатией (вспоминая его в молодости, когда они вместе учились) и не мог поверить моему рассказу о карьерных подвигах Мальцева в Новосибирске. “Как же так, — говорил он, — ведь это был такой милый юноша, и вдобавок такая *контра*!” Между тем, Мальцев стал (или всегда был?) отвратитель-

ным интриганом и чиновником до мозга костей. Я с удивлением наблюдал его униженные маневры перед мелким партийным начальством — это была уже *ненужная* ему остаточная деформация. Мальцев, пользуясь слабым характером С. Л. Соболева, узурпировал всё управление институтом математики, расставил своих людей на главные места и явно вёл дело к захвату всего учреждения. Говорили, что он хотел устроить здесь *первый институт алгебры*. Он организовал конвейер защит и наводнил своими креатурами не только институт в Новосибирске, но и все вузы Сибири. В этом случае было отчётливо видно, как под видом научной деятельности строится бюрократическая "машина поддержки", основанная на личной преданности. Как мне рассказывал В. А. Ефремович, ещё в Иванове в начале 50-ых годов Мальцев объяснял ему, что он не должен водить дружбу с евреями (там поселился тогда Рохлин). В общем, Мальцев был образцовым карьеристом, менявшим свои повадки в зависимости от ситуации. Не сомневаюсь, что в старой университетской среде он изображал из себя либерала (как и Лаврентьев, главный герой здешней шарашки). И, конечно, эти люди ссылались на необходимость ладить с начальством, чтобы "спасать науку".

Боровков, теперь давно уже академик, приехал сюда за этим званием, а перед тем трудился в некоем учреждении КГБ, как говорили, в том же жанре декодирования, о котором идёт речь в "Круге первом". Он приехал оттуда не один, а с целой свитой проходимцев. И о нём говорили, что он ученик Колмогорова. Конечно, Боровков с его "теорией массового обслуживания" — не ахти какой учёный. Ну а кто такой Гнеденко? Правда ли, что он "работал" на антисемитском наборе студентов? Об участии Гнеденко в приёмных комиссиях А. Н. не мог не знать. Или это тоже входило в тактику "спасения науки"? Некоторые видные ученики А. Н. стали крупными учёными чиновниками, директорами институтов, а Миллионщиков даже вице-президентом. Все эти люди имели у себя в письменном столе инструкции на папиросной бумаге, описанные Солженицыным (помните, те, о которых не полагалось говорить вслух). Вообще, что́ значило быть директором при советской власти? Сам А. Н. ушёл с административных постов, но его ученики *шли* на эти посты с удовольствием. И, конечно, А. Н. встречался с ними и вёл с ними приятные разговоры. Понимал ли он при этом, *кем* становятся эти люди, похваляющиеся званием его учеников? Вы скажете, что не мог не понимать, уж очень был умен. Но остаточные деформации — это и есть бытие, определяющее сознание, и не только обществен-

ное, но и самое личное. А что значит отношение А. Н. к Сталину? Думаю, что он обо всем этом знал, но предпочитал не знать.

Мне не нравятся рассуждения, освобождающие гения от моральной ответственности. Очень уж много бед натворили в истории эти деятели. Я предпочитаю другую мораль: Кому много дано, с того много и спросится. Разговор с А. Н. в лодке оставил у меня тягостное впечатление. Я начал подозревать, что говорю с человеком, потерявшим *себя* в попытках "спасти" какие-то вторичные ценности и представления. Впрочем, ведь во время дела Лузина ученики, выступившие против него, были сторонники советской власти! Это ясно из опубликованных Демидовым материалов. Они не притворялись, а пытались связать личные свойства Лузина с его антисоветскими настроениями. Как сильно было это угнетение разума и чувств, видно из того, что после смерти Сталина у А. Н. начался творческий подъем! Нельзя безнаказанно адаптироваться к злу. Сколько бы сделал А. Н. в условиях свободы!

Очевидное возражение состоит в том, что без этой "адаптации к злу" у нас не было бы никакой науки вообще. Предположим, что Зельдович и Сахаров не делали бы для Сталина ядерного оружия. Да, конечно, это была бы забастовка или саботаж учёных, которые занимались бы без больших должностей и наград скромными делами, избегая смертного греха — поддержки галопирующего фашизма перед лицом третьей мировой войны. В конце правления Сталина дело шло к тому, что забастовка учёных — тихая форма морального саботажа — была лучшим выходом из положения. Не надо было ничего "спасать" — ведь в конечном счёте ничего и не спасли? Могли же А. Н. и П. С. уже в не столь опасное время вместо травли Солженицына уйти на пенсию? Их даже не посадили бы, и они это знали.

Думаю, что инерция последовательных деформаций подавила у таких людей способность ясного мышления.

Я отнюдь не герой. Я не знаю, как вёл бы себя под угрозой расстрела. Но я всё же четыре года оставался безработным, отказываясь от *общепринятого унижения*. Я знаю и других людей такого типа, например, генетиков, которые рисковали раньше и, значит, больше. В наши дни для сохранения науки важнее всего общественная позиция учёного. Что касается научных учреждений, то кого теперь интересует происходящая в них мышиная возня? Прикладные задачи, требующие много затрат, так и остаются нерешёнными. Не решена проблема аккумуляции и передачи энергии на расстояние. Не построен термоядерный двигатель. В Америке считают,

что лучшие изобретения получаются не в больших институтах корпораций, а в маленьких кустарных лабораториях. Пожалуй, единственной областью науки, где в самом деле затраты приносят свои плоды, осталась наблюдательная астрономия, не имеющая приложений. Во всяком случае, в математике, и вообще в теоретической науке, открытия не покупаются ценой капиталовложений и нагромождения аппаратуры. Физика является сейчас примером бесплодного количественного роста. Кстати, как уже давно замечено, число "учёных" растёт экспоненциально, а такой рост не может продолжаться долго. Что касается университетов, то и западные учёные не сумели их "спасти": высшее образование превратилось там в демократическую комедию.

Однажды я слышал в Стекловском институте, как г-н С. М. Никольский возмущался поведением Сергея Натановича Бернштейна, который не считался с наличными условиями и ставил под угрозу благополучие научных учреждений. Было это в 1952 году, когда учёным надо было думать не о спасении учреждений, а о спасении души. Вы уж извините эту лексику неверующему, но я ведь не требую от учёных прямого героизма Ивана Петровича Павлова и немногих ему подобных, в самом деле понимавших, что́ происходит. Пусть учёные хотя бы держались подальше от грязи! А много лет спустя я прочёл строки, в которых П. С. прямо выражал свою *зависть* уже покойному Сергею Натановичу, не посрамившему своё звание русского интеллигента. Так же вёл себя Гильберт в Германии и — почти все немецкие математики. Роковое значение имел тот факт, что наши младшие математики были настроены в коммунистическом духе — эта *доктрина* допускает положительное толкование — и поразительным образом не видели, что происходит в стране. Письма А. Н. и П. С. Александрова доказывают это без всякого сомнения.

Вы написали очень хорошую книгу. О таких людях, как Колмогоров, надо знать и помнить. Великие достижения Колмогорова навсегда останутся вкладом России в мировую культуру. Но надо помнить и о том, что люди его поколения не выдержали исторический экзамен, не спасли честь и достоинство русской интеллигенции. Я понимаю, что Вы не считали себя судьёй этого поколения русских учёных и просто воздержались от резких суждений. Но такое воздержание придаёт вашему изложению некоторый оттенок апологии. Биолог Симон Шноль написал историю советской биологии, которую Вы несомненно видели, где люди того времени выглядят неприятно, но правдоподобно.

Простите мне эти замечания. По многим особенностям Вашей

книги видно, что трагедия русской науки Вас глубоко волнует. Но я уверен, что большинство Ваших коллег, нынешних профессоров российских университетов, предпочтут остаться при своей комфортабельной полуправде.

С уважением
Ваш А. И. Фет 19 марта 2007 г.

А. И. Фет. Собрание сочинений в 7-ми томах

ФИЛОСОФСКИЙ ДНЕВНИК



— Том 7-й —

Философский дневник

22.04.72.

Религия *была* наукой о человеке. Почему я не хочу формулировать это в настоящем времени: “религия — наука о человеке”? По той же причине, по которой алхимию неудобно называть наукой о том, чем занимается теперь химия. Термины имеют эмоциональную окраску. Кроме того, религия была *не только* наукой о человеке, но и психотехникой, и социологией, и ещё бог знает чем. И, самое главное, была “аксиологией”, учением о ценностях и целях. Таким образом, теперь “религия” столь же многозначна, как “философия”. Со временем то же будет с “наукой”. Следует подчеркнуть опасность богословского (и вообще “гуманитарного”) жаргона. “Бог” Эйнштейна более несовместим с Саваофом, чем безбожие т. н. воинствующих атеистов.

С точки зрения червей, всё гниёт наилучшим образом.

29.09.76.

Вопрос о “вере”. Бесспорно, существует целая иерархия психических состояний, не определимых в наших нынешних терминах и обнаруживаемых интроспекцией. Переход в более высокое состояние достигается с помощью некоторых механизмов запуска, зависящих от места и времени. Сами же состояния не зависят от местного колорита, а определяются едва известными нам возможностями мозга, в культурном отношении нейтральными. Нет различия между голодом древнего грека и моим голодом, между его сытостью и моей, хотя у нас могут быть разные способы насыщаться. “Верующий” настаивает на том, что ему известна единственно правильная диета. Но вопрос состоит не в том, как правильно есть, а в достижении сытости.

Конечно, культурные наслоения начинают восприниматься как существенная часть condition humaine[1]. Особенно злостной является здесь роль *терминологии.* В точных науках термины более или менее безразличны. Можно измерять мощность машины лошадиными

[1] Condition humaine (фр.) — предназначение, удел человеческий; условия человеческого существования. — (*Прим. ред.*)

силами, и никто не будет по этой причине настаивать, что всякая мощность происходит от лошади. Но стоит тебе произнести слово “вера” и, откуда ни возьмись, появляется поп.

“Нет ничего реже плана”. Наполеон.

25.12.76.

Положение учёного в сегодняшнем мире — парадоксально. В качестве специализированного типа человека, он может иногда достигать высочайших вершин абстрактного мышления и интуитивного прозрения. Но при общем упадке культуры и бессмысленном инерционном развитии науки и техники этот тип человека постепенно теряет связь с историческими корнями цивилизации, породившей науку и технику, а также с живым человеческим окружением. Возрастающая специализация в условиях специфической конкуренции и спортивных ценностей внутри профессиональной группы не оставляет учёному времени для *человеческого* развития. Как всякий слишком специализированный вид, *homo sceintificus* может существовать лишь в своей экологической нише — на своей кафедре, в своей лаборатории или другой, похожей. При перемене условий он гибнет, потому что лишён гибкости (не способен к физическому труду и даже к другим видам умственного труда; изнежен бытовыми удобствами; привык к обстановке большого города; не выносит одиночества, и даже временное прекращение привычной профессиональной деятельности вгоняет его в депрессию).

Учёный привыкает смолоду компенсировать свои человеческие поражения узкой и эмоционально неполноценной сублимацией, профессиональным успехом. Это оставляет его на всю жизнь ребячливым. Людей он боится — и жены, и начальства, и просто публики в автобусе. Неуверенность в себе делает его заносчивым на семинаре и робким перед малейшей угрозой власти. В семье он обычно играет подчинённую роль. Жена им управляет и плачет от такого бремени, дети презирают его, не чувствуя в нём мужчину. В социальном же смысле эти инфантильные, легко возбудимые и истеричные существа образуют особый класс — *учёный скот*.

Эти люди могут делать опасные игрушки для других, более хитрых и приспособленных, но неспособных понять сколько-нибудь глубокие проблемы и — в другом отношении — так же ребячливых. Мы живём среди обезумевших детей.

10.01.77.

(с. 74)[1] Общая черта всех сколько-нибудь интересных бунтовщиков состоит в том, что им было против чего бунтовать. Прежде чем проникнуться революционным отвращением ко всему старому, традиционному, эти люди должны были им пресытиться, впитав его всеми порами в начале своей карьеры. Пикассо ещё мальчиком освоил классический рисунок, как немногие старые мастера; ему было от чего отталкиваться. Самые проклятые из бунтовщиков, Бодлер и Ван-Гог, были пропитаны той самой культурой, которую отвергали (примечания о позднелатинской поэзии, критика Вагнера, Манна; письма Ван-Гога). "Цветы зла" расцветают лишь на почве, обильно унавоженной поколениями культурных ремесленников, академиков и потребителей-меценатов. Бунт нищих против того, чего они всегда были лишены, бесплоден. Хиппи и хунвейбины бунтуют против культуры, которой уже нет. Таким образом, весь пафос разрушения зависит от того, чтобы было что разрушать *в себе*. Но для этого должна быть предшествующая культурная среда.

Консерватизм и радикализм обусловливают друг друга. Где нет одного, не может быть и другого. Без радикальных тенденций охранительная позиция не имеет смысла. Древние египтяне не были консерваторами — они были законсервированы. Вопрос состоит в том, нужно ли новое средневековье для подготовки нового Возрождения (Бердяев). Или возможно гармонически слить консерватора с революционером? Разве в наше время есть что-нибудь революционнее, чем попытка спасения человека (= традиции)? Ср. у Ницше об извращённости быть нравственным.

Интеллигент в нулевом поколении.

Что означает предположение, что все люди равны?

Конечно, это не "закон природы", т. е. не вывод из имеющегося опыта. Если опыт учит нас чему-нибудь достоверному о человеке, то достоверно врождённое неравенство людей, во всех областях, физической, эмоциональной и интеллектуальной. Если ограничиться различиями в психике — а для человека они имеют решающее

[1] К какой книге относится указанная страница и последующий комментарий А. И., установить не удалось. — (*Прим. ред.*)

значение — то различия между людьми несравненно больше, чем между собаками, составляющими тоже один вид, хотя иные из них размером с телёнка, а другие помещаются в стакане.

“Равенство” людей есть правило практической этики, предписывающее в ряде случаев обращаться с людьми так, как *если бы* они были равны. Отсюда выводится юридическая фикция: равенство людей перед законом. Разумеется, не во всех случаях это правило применяется. На практике дело сводится к тому, что некоторые основные права признаются за всеми людьми просто потому, что они люди. В этом правиле проявляется, тем самым, некоторая эмоциональная установка, обычно выражаемая словами: “все люди братья” (причём, само собою, “братство”, как и “равенство”, не является “законом природы”, а именно — эмоциональной установкой, т. е. установившимся шаблоном чувствования).

Мы видим, таким образом, что “равенство” есть принцип, производный по отношению к “братству”. Обсуждение “свободы” мы отложим на другой раз.

Ещё раз, для ясности, когда мы видим, что машины движутся по правой стороне улицы, это вовсе не значит, что автомобиль по своей природе имеет свойство держаться правой стороны. Нет такого закона природы. Есть закон, установленный людьми, в практических целях. Случается, что этот закон невыгоден: много машин едет в одну сторону, и ни одной в другую. Можно было бы дать шофёрам более гибкие инструкции, разрешающие в определённых случаях ехать и слева. Но это было бы слишком сложно. Шофёры — публика грубая, им нужно совсем простое правило, чтобы избежать наихудшего.

Поскольку в результате усердного вдалбливания правил уличного движения (сопровождаемого штрафами) число аварий иногда уменьшается, является соблазн приписать машинам (или их шофёрам) некие природные *свойства.*

Кратко о любви к ближнему. Объективно это можно было бы назвать психологическим открытием Иисуса Христа, если не заниматься вопросом о приоритете (и Будда был не первый). Человек, связывающий свои надежды с поведением других людей, попадает от них в зависимость, вызывающую психическое напряжение. Чтобы снять это напряжение (“освободиться”, “спастись”), надо зависеть только от самого себя. Для этого достаточно ничего не хотеть

от других людей. Это и есть нирвана, блаженство, спокойствие, душевный мир etc. Но как этого достигнуть? Надо только из берущего, просящего, превратиться в дающего, великодушного, щедрого. Тогда сразу же из “слабого” становишься “сильным”: тебе от них ничего не надо, а им может понадобиться кое-что от тебя. Что же ты можешь дать людям, чтобы стать в такую выигрышную позицию благостного героя? Конечно, *любовь*. Это всем нужно, и это можно раздавать не считая. Здесь пути расходятся. Для Будды любовь к людям — всего лишь подготовительная стадия к изоляции. Сначала “любить” их, чтобы в них не нуждаться; а затем, когда они уже не нужны, покинуть их. Для христианина дело обстоит иначе. Миссия искупителя не позволяет смотреть на людей, как на препятствие, обращаемое в орудие тренировки. В буддизме всё это выражено в более чистом виде.

“Спасение”, покупаемое такой ценой, означает стабилизацию психики ценой ограничения её потенций. Чтобы это не делать слишком уж грубыми средствами, был осуждён Ориген.

Если вы знаете, что получите и что потеряете, и всё же идёте этим путём, — стало быть, вы делаете выбор. Для наших предков условия выбора были иными. Они имели возможность искренне презирать этот мир — и верить в другой.

27.01.77.

N похож на циничного эксперта, всю жизнь разоблачавшего подделки. Поскольку он ничем другим не занимался, он пришёл в конце-концов к убеждению, что подлинников вообще не существует.

28.01.77.

Является ли искусство двадцатого века “открытием нового мира”? Выражает ли оно “новый темперамент”, “нового человека”, как это утверждали, по крайней мере вначале, его теоретики и адепты? Есть причины не относиться к этому слишком серьёзно.

Если верить этим заклинаниям, мы имеем дело здесь поистине с совершенно неслыханным явлением: не культура создаёт себе органически присущие ей формы искусства, но искусство творит новую культуру из одной только голой субстанции человека, в демонстративном отрыве от всякой культурной традиции. В действительности, однако, та “внутренняя сущность” художника, которая ищет таким образом “самовыражения”, есть уже порождение определённой эпохи и традиции. Если эта сущность ещё не слишком удалилась от своих культурных истоков, её процесс “освобождения” может быть интересен, *потому что* ей есть от чего освобождаться.

Уже в следующем поколении мы видим эпигонов этого процесса, убогих крикунов, пытающихся во что бы то ни стало крикнуть своё *новое* слово. Отрыв от традиции превращает художника в bohemian, в духовно нищего бродягу с непомерными претензиями, обязательно пьющего (Модильяни пил), обязательно сопровождаемого свитой девок (Лотрек и Ван Гог не знали других женщин), но в то же время жадного до славы и денег (Пикассо ведь, всё-таки, *пробился*!).

Поразительно, как эти обновители культуры не сознают подражательности собственного типа. Для этого потребовалось падение интеллекта, усердно оправдываемое всевозможными шарлатанами, кормящимися около этого нового искусства. Художнику внушили, что он *должен быть* глупым, потому что разум производит одну только “литературщину”.

Был ли импрессионизм обновлением искусства? Конечно был. Но, освежая живопись путём изоляции детали, обнажения отдельно взятой частицы мира, импрессионисты порвали с чем-то крайне важным — не только с “композицией”, с “сюжетами”, с “литературными реминисценциями”. У них есть только отношение человека к природе и к другому человеку, рассматриваемому как часть природы. У этого другого человека есть тело, одежда, живописность — в одиночку или в виде толпы он является живописным объектом. У него могут быть даже простейшие эмоции, самые близкие к инстинктам и поэтому доступные мгновенным impression.

Исчезает всё более сложное, духовно выделяющее человека из природы: то, что держалось на прочном остове библейской и мифологической сюжетности. Скованность традиционными темами и *означала* человечность искусства, в чередовании религий, ересей и личных возмущений, но всегда в *рамках культуры*, *близко* от культуры, *вопреки* культуре.

Вне культуры человечность уходит, остаётся звериность. Звериный глаз Пикассо. А потом, когда уже нет памяти о культуре, — ничего. Пещерные художники опирались, конечно же, на многовековую традицию, и живопись их имела сакральный характер (заклинания) *или* освобождалась от такого характера. Но *животные* не творят, природа творит только посредством человека. Итак, опрощаясь, можно обрести некую свежесть — на грани *распада*.

04.02.77.

“Миф о Сизифе”. Сизиф, он же “абсурдный человек”, знает бессмысленность своей работы. Камни, втаскиваемые им на гору, непременно скатятся вниз, а потом он умрёт. Зачем же ему стараться,

не лучше ли наслаждаться простыми радостями жизни, или как это ещё называется?

Оказывается, он продолжает свою деятельность из чувства собственного достоинства. Критерий совсем не плох сам по себе, и напоминает (только напоминает) Гамлета: “whether ‘t is nobler in the mind to suffer...”[1] Но всё это построение наводит тоску своей идейной худосочностью: нечто вроде идеального чиновника, из принципа не берущего взяток, но других убеждений не имеющего.

Беда Сизифа в том, что он — тип переходный. Его чувство собственного достоинства (т. е. потребность разума в логической связности) не является анатомической принадлежностью сизифова тела. Это именно свойство *разума*, т. е. продукт воспитания. Сизиф обладает “собственным достоинством”, потому что в детстве его воспитала верующая мама. От наставлений сизифовой мамы остались со временем дребезги, то самое реликтовое self-esteem[2], на которое ссылается великий детектив Ниро Вулф. Но *это* всё же остаётся, и вот приходится таскать камни.

Что же получат в наследство сизифовы дети? Составляет ли self-esteem сам по себе *достаточную базу* этической традиции?

Конечно, нет. Дети запомнят, что отец был странный чудак, который таскал зачем-то камни и внушал им, что таскать камни его заставляет чувство долга; а долг его состоял в том, чтобы таскать камни. Сложные шестерни морали, зацепление которых двигало весь этот механизм, в следующем поколении станут вертеться свободно и независимо, не мешая друг другу и “простым радостям жизни”. Распалась связь времён. Эфемерное явление Сизифа возможно лишь на грани двух эпох. Если у Камю были дети — что из них вышло?

24.02.77.

Оценка искренности современным человеком. Современный человек принимает искренность за слабость. Это явление легко объяснимо. Если жизнь есть борьба (хотя бы за пустяки, если других целей уже нет), то сокрытие собственных чувств и намерений даёт субъекту немалые преимущества. Стендаль выразил это ужасным афоризмом: “Могучий всегда лжёт”. Конечно, имелся в виду Наполеон, которым Стендаль был всю жизнь мальчишески fasciné[3].

[1] Вторая строка монолога Гамлета. В переводе Лозинского: “Что благородней духом — покоряться... ” — (*Прим. ред.*)

[2] Self-esteem (англ.) — самоуважение; чувство собственного достоинства. — (*Прим. ред.*)

[3] Fasciné (фр.) — очарован, околдован. — (*Прим. ред.*)

Цели измельчали, но психология, очень древняя, осталась та же. В прежние времена такое понимание “могущества” несколько умерялось религией и моралью. Бог могуч, но не лжёт; следовательно, существует могущество, не нуждающееся в изворотливости, и даже возникает представление, что подлинная сила ею пренебрегает. Соединение могущества со справедливостью и милосердием можно рассматривать как сублимацию повседневного наблюдения дикаря: физическая сила соединяется обычно с некоторым добродушием, снисходительностью и проявляется в виде грубой прямоты. Напротив, мелкий хищник, борющийся за своё место в человеческом стаде, по необходимости скрытен и хитёр: в этом *его* сила.

Таким образом, представление о могуществе у мелкого человека соединяется с удачливым притворством. *Простая* искренность (*нежелание*, нерасположение лгать) вообще не вмещается в его картину мира, где уже не встречается более сильный тип человека. Следовательно, искренность трактуется как *неумение* лгать, как неприспособленность и убожество, жалующиеся на внешний мир, потому что не умеют им манипулировать. Кто искренен, тот жалуется, а кто жалуется, тот жалок.

Афоризм Стендаля не так уж однозначен. Потому что неоднозначно понятие лжи. Предводитель, знающий опасность ближе всех, скрывает своё душевное смятение. Врач скрывает свои чувства у постели больного. Но это уже неискренность *для других*. Дурную “искренность”, стремящуюся к эксплуатации жалости, давно понял Ницше. Я это называю “свалить на других свою тележку”. Жизнь полна ситуаций, когда сила совпадает с притворством.

07.03.77.

“Принцип реальности”: “чем более реалистичен человек — то есть чем точнее наблюдает он эти три вида явлений (себя, других людей и природу), — тем скорее и полнее он сможет безопасно удовлетворить своё либидо и мортидо”, т. е. незаметно справить свою нужду на цветнике господнем и ускользнуть, предоставив другим убирать дерьмо.

Можно представить себе, не без натяжки, что бог сотворил с этой целью животных, но не человека.

12.03.77.

Если бы я был славянофилом, я описал бы преимущество русского народа перед европейским примерно так же, как биологи опи-

сывают преимущество приматов перед другими отрядами млекопитающих: известная примитивность, т. е. отсутствие узкой специализации, сделало их способными к эволюции в любую требуемую сторону. Специализация же представляет эволюционный тупик, и чем совершеннее вид специализирован, тем безвыходнее его тупик.

Правда при этом надо было бы показать, что русские ещё менее специализированы, чем всякие другие варвары. Это не очевидно. Если способность к имитации (обучению) объявляется самым важным преимуществом, как это утверждал Достоевский, то мы уже прямо имеем дело с апологией обезьяны.

14.03.77.

"Российской грамматике и писать *отчасти* умею, но дальнейших наук не в состоянии проходить, и достигши в совершенныя лета, уже не могу иметь об них понятия, и *потому* возымел ревностное желание служить".

Из времени Недоросля.

22.03.77.

В основе всех утопических доктрин лежит представление, что истинная природа человека добра и прекрасна, но искажена чем-то навязанным извне, и потому устранимым. В прошлом все мифологии полагают рай или золотой век, а предков изображают богоподобными. Затем наступает порча, грехопадение, изначальная вина, омрачающая природу человека. Так удовлетворяется законное тщеславие смертного, желающего иметь респектабельных предков и видящего себя, между тем, в достаточно жалком положении, с таким происхождением трудно совместимым.

Первородный грех может толковаться по-разному, например, отождествляться с экономическим порабощением, присвоением прибавочной стоимости. Такое более или менее "научное" объяснение внешнего состояния человека уживается с архаической концепцией его "внутренней сущности", откровенно заимствованной из иудохристианского наследия.

Как и многие другие религии, христианство предусматривает конечное устранение первородного греха. После Страшного Суда грешники будут низвергнуты в геенну, а праведники, восстановленные до первоначального состояния Адама, будут жить тысячу лет на Земле под управлением Христа; затем они проследуют в рай. "Тысячелетнее царство", или преддверие рая на Земле, и есть исходная точка всех утопий. Утопия, мнящая себя "научной", отбрасывает конечную картину мистического апофеоза, концентрируя внима-

ние на “земном” царстве праведников. Молодой Гейне лучше всех изображает идеал кабачка Гиппеля, посетители которого были ему близко знакомы (да и сам он вряд ли там не бывал):

“Ein neues Lied, ein besseres Lied
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was flußige Hände erwarben.

Es wächst hinieden Brot genug
Für alle Menschenkinder.
Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen für jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,
So wollen wir euch besuchen
Dort oben, und wir, wir essen mit euch
Die seligsten Torten und Kuchen”[1].

Поскольку задача состоит, таким образом, лишь в восстановлении совершенного человека из падшего ангела, то становится понятным пророческое нетерпение совершить эту операцию, раз уже *известно*, в чём состоит первородный грех. Сен-Симон ожидал исправления общества через год-два после выхода первого номера задуманной им газеты; не было только денег на газету. Фурье был уверен, что пример первого же фаланстера будет достаточен для бурного воссоздания рая, примерно в такой же срок. Ленин верил,

[1]“О друзья, я спою вам новую, лучшую песню! Мы хотим устроить Царство Небесное здесь на земле. Мы хотим быть счастливы на земле, и не хотим больше терпеть нужду; пусть ленивое брюхо не поглощает то, что производят трудящиеся руки. Повсюду растёт довольно хлеба для всех детей человеческих. Есть розы и мирты, красота и радость, и вдоволь — сладкого горошка. Да, сладкого горошка для всех, как только созреют стручки! А небо мы оставим ангелам и воробьям. А если после смерти у нас вырастут крылья, то мы посетим вас там, наверху, и попробуем с вами блаженнейших тортов и пирожных”. Из поэмы Г. Гейне “Германия, зимняя сказка” (нем.). — (*Прим. ред.*)

что до всемирного коммунизма осталось 10–15 лет, и не раз выражал эту веру. Всё это явления того же рода, что и вера первых христиан в сиюминутную возможность второго пришествия.

Психологическая основа такой веры позволяет понять и удивительную беззаботность марксистов по поводу “модели будущего общества” и “идеала (модели?) будущего человека”. Восстановленный из грехопадения капитализма, человек обретёт внутренне присущее ему совершенство. Может быть, не всякий человек; но постулируется, что требуемое человеческое сырье существует: человек праведный по своей природе называется *пролетарий*. Раз первородный грех отождествляется с капиталом, то глубже всего поражены им, разумеется, капиталисты, эти носители дьявольской порчи, подлежащие усиленному перевоспитанию (посредники между человеком и дьяволом: колдуны и ведьмы). Иное дело — те, кому нечего терять, кроме своих цепей. Как только пролетарий скинет с себя цепи, он тотчас же просияет в своей первоначальной человеческой чистоте. Он сразу проявит неудержимый порыв к духовному развитию (Und wachsen uns Flügel. . .)[1]. Что из этого может дальше получиться, трудно и даже неловко предсказывать, находясь в нашем помрачённом состоянии; человек, освобождённый от первородного греха, обойдётся без наших планов.

30.03.77.

Для среднего человека понимание различных явлений жизни зависит от возможности *непосредственного* сравнения. Если что-нибудь *немного* отличается от чего-нибудь другого, и оба присутствуют одновременно в поле его опыта, то различие замечается, даже очень малое. Но если явления разделены во времени или в пространстве, они *психологически* несравнимы, и чем большее различие, тем менее сравнимы. Отдалённое может быть даже сознательно известно, но подсознание не воспринимает его всерьёз. Неспособность к абстракции даёт возможность не воспринимать чудовищное, если рядом уже нет нормального. И это полезно для сохранения вида, в биологическом смысле. Мещанин — самый стойкий тип человека (не индивид, а вся масса). Но для человека это путь к гибели. Потому что от нормы можно удаляться незаметными шажками. И тогда норма становится сказкой.

Дальнодействие и близкодействие в человеке. Можно зависеть от ближайших узлов общественной сетки, и тогда волны лениво бегут по мутной воде, перебирая конечные разности. И можно зависеть от

[1]См. предыдущую сноску, последний стих. — (*Прим. ред.*)

бога. Это притяжение светила, вызывающее грозный прилив. Если светила перестают притягивать, остаётся ленивый плеск житейского болота.

“И восстанет из бездны неба великое красное светило, именем Сахил”.

12.05.77.

Ироническая гримаса истории. “Гибель богов” предвещается нарушением договора в “Золоте Рейна”. Фазольт обвиняет Вотана:

Was du bist, Bist du durch Verträge![1]

Дилетант, черпающий у Вагнера духовные силы, делает из нарушения договоров основу своей политики.

05.06.77.

Интерес к Пушкину, принявший в последнее время явно патологический характер, нуждается в объяснении. Интересуются не столько его стихами, сколько его личными делами. Расписывают по дням и часам его жизнь. Прославляют его мудрость. Последнее особенно нуждается в объяснении. Ведь обычно звание мудреца связывается не столько с высказанными человеком взглядами, сколько с его жизнью. Исследование жизни Пушкина, культивируемое одновременно и теми же людьми, должно было бы заставить их усомниться в его мудрости.

Дело здесь в том, чтó за мудрость нужна нашей публике. Эта мудрость, которую она приписывает Пушкину, есть мудрость особого рода, по традиции связываемая с юродством. Юродивый делает самые странные вещи, но ему и полагается делать глупости. Мудрость юродивого проявляется вопреки и по контрасту с его образом жизни и видимой несерьёзностью. Вот такую мудрость и видят в Пушкине. Нетрудно понять, почему им нужна мудрость именно этого рода. Юродивый свободен от всякой ответственности, не обязан вести себя прилично, и всё-таки мудр; причём не своей, самодельной мудростью, а явно ниспосланной свыше, о чём как раз и свидетельствует контраст между его человеческим убожеством и божественным даром ясновидения.

Поэтому и смакуют историю жизни Пушкина — попойки, донжуанские списки, долги, политическое ренегатство.

Конфиденциальные отношения с царём и Бенкендорфом тоже весьма кстати. Всё это как раз подходит к требуемому типу юродства. И мудрости.

---

[1] Что ты есть, тем ты стал благодаря договорам (нем.). — (*Прим. ред.*)

Отдельного обсуждения заслуживает речь Достоевского о Пушкине.

29.07.77.

Томас Манн: "Sündebeureßtsein, also Geist"[1]. "*Vom kommenden Sieg der Demokratie*", 1938, Gesammelte Werke, Aufbau-Verl, 1955, B. 12, s. 804).

06.09.77.

Важнейшим шагом в духовном развитии человечества был переход от многобожия к единобожию. При этом единый бог, заменивший евреям их языческий пантеон, потерял своё имя. Ягве не был один, пока имя его произносилось; но как только духовное развитие человека доросло до понятия единого бога, произносить имя божие стало неловко. Можно не сомневаться, что эта духовная революция сопровождалась не меньшим шатанием ценностей, чем нынешняя, когда мы переходим от единобожия к безбожию. И в нашем случае, точно так же, теряется важное слово: уже не имя божие, но самое слово "бог".

Точно так же, как первым монотеистам неловко было связывать свое понятие о боге с именем, подобным человеческим именам, нам неудобно связывать наше понятие об "*интеграции психической жизни человека*" с существом, подобным человеческим существам. Те чувствовали, что неприлично употреблять *имя*; мы же чувствуем неприличие называть это каким угодно *словом*. Здесь не менее глубокая революция духа. Как только исчезает слово, за ним уходят все его атрибуты. Нет больше *внешней* силы, держащей человека, и человек должен держаться *своей* силой. Сможет ли он, будет видно.

Культура "духовной жизни" освобождается, таким образом, от мифа. Ей не нужен больше миф, чтобы нанизывать на него цепь состояний психики. Что же должно складывать и удерживать эту цепь?

Назовём это этикой внутренней жизни. Точно так же, как воспитанный известным образом человек *не может* совершать известных поступков (не должен вспоминать о запретах, а просто не может, ему противно совершать их), — точно так же будет воспитан человек, который *не сможет* переживать известных внутренних состояний. Тем самым, выбор возможных цепей внутренних состояний будет *ограничен* этически (= эстетически) приемлемыми цепями.

Такой человек не будет несчастен, как *мы*: он будет избирать цепи, не проходящие через конфликты низменного свойства.

[1] Разрядка моя. — (*Прим. автора.*)

Они будут счастливы и несчастны, как боги.

Конечно, всё это есть у Фейербаха, который гораздо больше, чем думают. Но полезно попытаться изложить это, не пользуясь старой терминологией (не аллегорическим богословским жаргоном). Из-за этого жаргона никто не понял, что он хотел сказать. Во всяком случае, поняли его так, что вместе с богом отменяется и человек. А есть ли это у Фейербаха? Или это *я* ему приписал?

"*Препирайтесь* сколько хотите и о чём хотите, но *повинуйтесь*!"
Фридрих II.

Целью культуры является создание определённых психических состояний. Эти состояния и являются смыслом культуры, её настоящим содержанием. Всё остальное в культуре — лишь *средства.* И, как всегда, средства замещают собой цели, и в жизни, и в понятиях историков. Материальная цивилизация, государство, религия — всё это средства для создания культуры, *средства для средства.* И так далее. Ты привык связывать своё высшее благо с достижением наших символических целей (давно и уже другим, чем теперь, человеком) в избранной карьере; эта карьера относится к $(n + 1)$-ой ступени в иерархии нагромождённых друг на друга, замещающих друг друга *средств.*

Но вот с неба упал сноп солнечных лучей, и (на мгновение) в душе твоей мир. И ты прорываешься прямо к последней цели.

15.11.77.

Мистификация психологии. Каждый философ, если только он философ в собственном смысле слова, т. е. занимается "онтологией", а не гносеологией, логикой или просто учёностью, — прежде всего человек, и эту его человеческую сущность выражает вся его философия. Поэтому, читая философскую книгу, я прежде всего хочу знать, что за человек стоит за этими строками: какова была его внутренняя судьба. Для этого полезно знать и его внешнюю судьбу. Однажды я вызвал восхищение человека, выраженное в виде пожелания, что я должен, дескать, читать лекции по философии. "Философы не читают лекций, — ответил я, — они скрываются".

По этой причине так мало значит для "онтологии" Декарт. Роль его состояла в интеллектуальном мужестве; личного же он был лишён. И если Шопенгауэр силился отбить у Гегеля слушателей в

каком-то университете, то в этом приговор немецкой философии. Философ с психологией чиновника — один из самых жалких ублюдков в ряду человеческих типов. Гегель не понимал, почему влюблённые стремятся “gerade dieses Mädchen herauskaprizieren”[1]. Около шестидесяти лет он благополучно женился, может быть, по хозяйственным соображениям, а может быть, и по намёку начальства. И сразу же умер от холеры.

Соотношение неопределённостей. Специальная виртуозность в каком-нибудь предмете дополнительна способности к мистическому экстазу. Философ — человек, у которого эти способности разумно (reasonably) уравновешены, в пределах, допускаемых соотношением.

Ты не докажешь гипотезы Римана, и тебе не дано созерцать безмятежный лик Брамы.

Авторы “Вех” все начисто лишены *юмора.* И это — самое важное. Толстой и Достоевский, Чернышевский и Ленин — тоже. Я знаю, что всё это значит.

24.11.77.

Отчёт “римского клуба”, по убеждению его авторов и публики, ставит экономические и социальные вопросы. В действительности главная проблема здесь — проблема личности. Почему человек должен заботиться о будущем человечестве? Почему дело рода человеческого должно быть его *личным делом*?

Если у него сохранились ещё родительские чувства, он может заботиться, чтобы *его* детям досталось некоторое количество пищи, воды и воздуха. Забота о чужих детях (детях китайцев) уже выходит за пределы доступного этому *остаточному человеку.* Будущие внуки — это уже совсем абстракция. Не ожидаете ли вы, что ради подобных абстракций он согласится приносить жертвы? Например, откажется покупать престижные вещи или ездить зря по свету?

Чтобы осуществить рекомендации этих господ, нужен совсем другой человек.

Человек остаточный (homo reliquus?).

Человек расслабленный (homo mollis).

[1]“Выкапризничать именно эту девушку” (нем.). — (*Прим. ред.*)

Последний термин встречается, конечно, в виде прилагательного к конкретному субъекту, у Тита Ливия.

14.12.77.

Роль государства в общественной жизни, какой её хотели бы видеть во второй половине двадцатого века, лучше всего описывается выражением Корбюзье, относящимся к жилому дому: "Машина для жилья". Конечно, автор этой формулы не хотел выразить пренебрежение к собственной профессии; он имел в виду лишь основательно забытое архитекторами прямое назначение дома. Красота не является целью архитектуры, а может быть лишь результатом её хорошей функциональной приспособленности. Так же обстоит дело и с государством. На гравюре, украшающей первое издание "Левиафана", изображено чудовище, тело которого выложено, подобно кирпичному дому, из человеческих фигурок. Можно считать целью государства построение возможно более прекрасного левиафана из человеческого материала страны.

В архитектуре этому отвечало бы использование людей в качестве строительного материала, причём внутренние помещения вообще были бы не нужны. Это было бы нечто вроде индийских храмов, сплошь покрытых человеческими фигурками, но человечки копошились бы, как черви в отхожем месте.

22.03.78.

Традиция состоит в поддержании не слишком старого против не слишком нового. *Слишком* старое не воспринимается как часть традиции и должно отвергаться. Христианская традиция всё время перемещает свою точку отсчёта, удаляясь от того, что уже *не* воспринимается как почитаемая старина, а, по древности и непривычности, может вызывать недоумение и подозрительность.

Древнейшие изображения Христа воспринимаются как кощунство. Добрый пастырь — просто мечтательный деревенский парень, а Христос из терм Диоклетиана (ок. 350 г.) женоподобен или просто женщина, с пухлым круглым лицом, соблазнительной драпировкой груди и колен, нехорошо свидетельствующей о модном тогда типе мужской красоты. Предъявите-ка верующим такого Христа!

Слишком новое тоже не задевает традиционного сознания.

Аристарх доказывал, что Земля вращается вокруг Солнца и, по словам Плутарха, его за это преследовали жрецы. Но никакого переворота в мировоззрении древних он не произвёл. У него был *один* последователь, некий Селевк.

12.06.78.

Труднее всего выразить свои “положительные идеалы”. Требование “сформулировать свои положительные идеалы”, часто предъявляемое в спорах и неизменно доставляющее предъявителю нечто вроде дешёвого триумфа, основано на грубом непонимании проблемы человека. “Положительные идеалы” создаются *во мне*, в процессе всей моей жизни. И они настолько сложнее любой мыслимой словесной формулировки, насколько жизнь сложнее слова. “Мысль изречённая есть ложь”, т. е. самый перевод моего идеала в слова есть его неизбежное опошление. Не потому ли все пророки говорят притчами? Единственно правильный ответ на вопрос об “идеалах” состоит в их демонстрации: “*смотри на меня*”.

Но люди неохотно признают, что я лучше их. Каждый из них склонен считать себя не хуже всякого другого встречного человека: может быть, слабее его в чём-то не особенно важном, но сильнее в чем-нибудь более важном и уж, во всяком случае, никак *не хуже*. Следовательно, я могу рекомендовать им себя в качестве образца лишь в том случае, если я представляю некий сверхличный авторитет. В традиционном обществе роль такого стоящего за мной авторитета должно было бы играть божество. Представляя божество, я перестаю быть обыкновенным человеком, а становлюсь жрецом или святым. И тогда на меня смотрят без обычных предубеждений, поскольку моё великолепие отражает лишь превосходство моего бога. Я могу даже создать нового бога, и это называется “откровением”. Наконец, в обществе маловеров я могу представлять какой-нибудь сохранившийся в нём сверхличный авторитет, например, авторитет “науки”.

Невозможно, неприлично и стыдно говорить идеальное от себя. Можно искать посредника, чтобы проповедовать, спрятавшись за его спину. Если я склонен проповедовать против распада, то пусть говорит за меня какой-нибудь персонаж, носящий эту охранительную тенденцию естественно и непринуждённо, как берберский князь носит свой бурнус. Но беда в том, что берберский князь может слишком уж увлечься своей ролью.

18.06.78.

Национализм Бердяева наиболее глубоко и психологически достоверно выражается следующей формулой (“Судьба России”, 1918, стр. 97): “национальное единство глубже единства классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни народов”.

Здесь, вопреки всем предосторожностям и оговоркам автора, проявляется подлинная (психологическая!) основа *всякого* национализма: националист — это такой человек, для которого важнее всех других связей между людьми связи, заданные национальной принадлежностью. И как раз в этом пункте (пользуясь выражением Швейцера) философия Бердяева совершает самоубийство. Дело в том, что партии, классы и другие преходящие исторические образования могут быть, и бывают не менее органичны в своей основе, чем нации, и, во всяком случае, более, чем нации, связаны с сущностью религии, в особенности христианства.

В самом деле, *идейные* связи между людьми, делающие их единомышленниками, либералами, консерваторами, социалистами и т. д., коренятся в их отношении к *традиции*, прежде всего — к религиозно окрашенной, религиозно обусловленной традиции. Каждое из этих направлений означает некоторую интерпретацию всего духовного наследия человечества — на Западе *христианского* наследия. Идеи, создавшие "партии", выражали более фундаментальное *религиозное* сходство между людьми, чем это допускает Бердяев в своей оценке. "Преходящие"... чуть ли не случайные и модные "образования в жизни народов"? Конечно, здесь речь идёт о серьёзных, не выродившихся в мелочные интересы "образованиях", каким они должны быть (или были А. Д. 1918!). Если одна партия считает, что следует делить всё по потребностям, как водилось у апостолов, то это некое истолкование христианской традиции, выдвигающее на переднее место христианскую концепцию социальной справедливости. Если же другая партия требует, чтобы кесарю при всех обстоятельствах было предоставлено кесарево, то это другое истолкование христианской традиции, выдвигающее на первое место христианский церковный конформизм, т. е. лицемерие имущих, желающих проникнуть в царствие небесное при помощи юридических уловок. Спор идёт, таким образом, не о чём меньшем, как о сущности христианства.

И вот, Бердяев объясняет нам, что согласие или расхождение по *таким* вопросам является "преходящим историческим образованием", сравнительно с бесспорным еврейством, объединяющим Иуду и Христа!

Для кого деление по национальным куриям важнее всех связей между людьми, тот не может быть христианином. Ибо в глазах Христа нет "ни еллина, ни иудея", и как раз христианство начало многовековой процесс "поперечного", режущего на части племена и нации размежевания людей по совсем другому признаку: по тому,

какие мысли у них в голове, и какие чувства у них в душе.

Можно быть националистом и христианином в то же время; но нельзя быть к тому же ещё философом. Что ни говори, а ремесло философа состоит, между прочим, в улаживании противоречий: fragmentarisch ist Welt und Leben[1].

На это можно, конечно, возразить, что всё национальное “антиномично”; больно уж напоминает это излюбленное словечко Бердяева прокладку между грузами, не подлежащими перевозке в общей упаковке. Конечно, пророки имеют перед судом логики куда бóльшие права. Но слишком уж тесная связь между религией и “национальным образом мыслей” как нетрудно продемонстрировать цитатами из этого же автора, возвращает нас от Христа к пророкам иудейским.

Если оставить в покое все эти неувязки, остаётся совершенно капитальная вещь, не выводимая из общей “мифологемы” Бердяева и выражающая просто другую компоненту его эмоционального склада: “национальность” как особый догмат. Случилось так, что Бердяеву важно было чувствовать себя русским. Может быть, немецкий мальчик обидел его в нежном возрасте с двух до шести.

Есть и другая вещь, имеющая уже совсем постороннее, иронически-хамское отношение к “мифологеме”, Богочеловечеству и т. п. построениям бердяевской ереси. Я имею в виду “машину”. Машины же, натурально, сопровождали шумовыми эффектами создание любых мифологем.

Если бы мы знали о философах то, что психоаналитик знает о своих пациентах! Как много философских систем объяснилось бы действием самых банальных причин! Но причины продолжают действовать, и без философии не проживёшь.

13.09.78.

Уважать человека — значит хотеть сделать его совершенным. Следовательно, надо его изменить. Экзюпери говорил: “В человеке меня интересует не то, чем он является, а то, чем он может стать”.

Будда сначала стал Совершенным, а потом уже принялся изменять людей. Для более обыкновенных людей оба процесса неотделимы. Человек думает, работает, говорит с людьми. Он *живёт*, и тем самым воспитывает других и себя. А потом он может задуматься, как всё это происходит.

---

[1]Слишком разорваны мир и жизнь! (нем.) Строчка из Гейне, цикл “Возвращение на родину” из “Книги песен”. — (*Прим. ред.*)

Нынешняя литература — это, в лучшем случае, изощрённые книги, написанные неумными людьми о глупых.

Боги всегда благоволили к отшельникам и аскетам. Но вначале эти их подвиги вознаграждались благами вполне земными. Отшельник из Рамаяны сто́ит сто лет на одной ноге и ничего не ест; Брахма, оценив его отречение от жизни, награждает его богатством и властью. Точно так же, Ветхий завет не знает иных наград, кроме умножения стад и потомства.

Первоначально аскеза выступает в виде символической "задержки" удовлетворения инстинктов и играет, таким образом, важную роль в создании культуры. Впоследствии эта задержка возрастает до бесконечности, а удовлетворение переносится в потусторонний мир. В наивном раю Магомета награда всё ещё телесная. Христиане уже понимают логический парадокс и абстрагируют самый акт удовлетворения желаний от его физической основы. Наградой становится лицезрение бога.

14.09.78.

Общественное бытие определяет *общественное* сознание.

Но *человек* начинается там, где сознание определяет бытие.

23.11.78.

З. Фрейд, Психопатология обыденной жизни, 1923, стр. 227–8. Так как суеверный человек не подозревает о мотивировке своих собственных случайных действий, и так как факт наличности этой мотивировки требует себе признания, то он вынужден путём передвижения отвести этой мотивировке место во внешнем мире. И если такая связь существует, то вряд ли её можно ограничить этим единичным случаем. Я и думаю, что значительная часть мифологического миросозерцания, простирающегося даже и на новейшие религии, представляет собой *не что иное, как проецированную во внешний мир психологию.* Смутное познание[1] (так сказать, эндопсихическое восприятие) психических факторов и отношений бессознательного отражается — трудно выразиться иначе, приходится воспользоваться аналогией с паранойей — в конструировании *сверхчувственной реальности*, которую наука опять должна превратить в *психологию бессознательного.* Можно было бы попытаться разрешить таким путём мифы о рае и грехопадении, о боге, добре и зле,

[1]Которое, конечно, не имеет ни одного из свойств познания. (*Прим. автора.*)

о бессмертии и т. д., превратить *метафизику* в *метапсихологию*. Различие между сдвигами, происходящими у параноика и у суеверного человека, не так велико, как это кажется на первый взгляд. Когда люди начали мыслить, они были вынуждены, как известно, антропоморфически разложить внешний мир на множество лиц по своему собственному подобию; случайности, которые они суеверно истолковывали, были, таким образом, действиями, поступками определённых лиц; так что люди поступали тогда так же, как поступают параноики, делающие выводы из незаметных знаков, подаваемых им другими людьми, или как здоровые люди, с полным основанием определяющие характер своих ближних на основании случайных и непреднамеренных поступков. Суеверие представляется столь неуместным лишь в нашем, естественно-научном, но всё ещё не законченном миросозерцании; в миросозерцании донаучных времён и народов оно было вполне законно и последовательно.

11.04.79.

Власть имущие всегда верили в неодолимость зла. Представление их о власти всегда сводилось к тому, что плохие люди правят хорошими как раз благодаря отсутствию у них социальных отграничений. Обыкновенные люди связаны этикой, религией и т. п., что и позволяет “более умным” или “более сильным” манипулировать этими обыкновенными людьми. Отсюда — Наполеон, студент Раскольников и т. д. Опыт фон Хольста представляет эту проблему в новом свете. Этот биолог занимался стадной рыбой под названием гольян. Он удалил у одной такой рыбы передний мозг, служащий носителем социальных связей. Безмозглая рыба перестаёт повиноваться социальным ограничениям (сигналам?), заставляющим держаться вместе со стаей. Она плавает независимо. И тогда стая бросается за ней! Безмозглый гольян становится диктатором.

Власть имущие настолько полагаются на эту свою веру (поддерживаемую, разумеется, собственным опытом борьбы за власть), что часто теряют чувство реальности. Обожание Гитлера вызвало у Муссолини и Сталина поведение, прямо враждебное собственным интересам. Муссолини ввязался из-за этого (а также из зависти) в войну, погубившую его режим и его самого, тогда как мог бы с большей выгодой сохранять нейтралитет. Сталин верил, по-видимому, не только в неодолимость Гитлера, но и во что-то вроде солидарности злодеев. Такая вещь и в самом деле существует в разбойничьих шайках, и между двумя западными диктаторами были особые отношения “дружбы”. В наши дни мы видим, как из тех же побуждений

до последнего дня поддерживали Никсона и иранского шаха. Конечно, в первом случае примешивалось ещё непонимание американской системы власти, а во втором — смешная компьютерная недооценка фанатизма (как в случае с Вьетнамом).

Ещё раз об учёных. Учёный представляет собой продукт многоступенчатой компенсации. В наиболее типичном случае он начинает с того, что компенсирует свою неспособность к общению (к самоутверждению в обществе мужчин и женщин) своим превосходством в какой-нибудь специальной деятельности. Обычно шаблон такой деятельности доставляет "учитель", известный (или чиновный) учёный, устанавливающий стандарты важности задач и, соответственно, достижений. Первоначально этот "учитель" может быть крупным учёным, возглавляющим новое направление исследований. Затем, в следующем поколении, он может быть уже всего-навсего "академиком", и очень скоро самоутверждение молодых учёных сводится к табелю о рангах и пресмыкательству. Наука оказывается видом статуса.

"Дух времени" непобедим лишь в том случае, когда он противостоит духу уходящего времени в смысле "положительного развития" (усложнения типа человека и общества, расширение возможностей индивида, увеличение объективных достижений человеческого духа). На непопулярном теперь языке, "дух времени" непобедим, когда это дух прогресса.

Совсем иначе обстоит дело, если это дух упадка или разложения. Тогда, прежде всего, из повиновения этому "духу" может выйти *индивид*. В самом деле, его не *вынуждает* к покорности господствующему духу ни чувство справедливости, ни критический разум. Остаётся лишь стремление к комфорту и страх не быть "современным", т. е. стадный инстинкт. Здесь как раз срабатывает инерция идеи прогресса: "прогрессивный паралич". Адорно самым жалким образом поддаётся этому заблуждению, полагая, будто художник (композитор) должен неизбежно передавать этот "дух времени" в своём творчестве, будучи "сыном своего времени". Здесь сказывается его марксистская молодость (бытие определяет сознание) и его авангардистская молодость (страшно прослыть отсталым). Устрашающий пример маразматического конформизма у человека, бывшего вдобавок великим социологом!

Конечно, человек, *не* поддающийся “духу” распада, будет казаться отсталым. Предваряя новую эпоху, он будет считаться принадлежащим старой. Этого не могло быть при распаде Греции и Рима, потому что у них не было представления об историческом развитии. Ими владел фатум настоящего. Спасение индивида возможно в микроклимате малых групп.

Что касается *общества*, то, конечно, для меня спасение общества не сводится к спасению собственного Я, как это всегда было для мистиков. Однако, чувство исторического направления может стать обратной связью. И тогда радикальные реформы не обязательно должны являться в виде нашествия варваров и резни. Если мы уже не римляне, почему нам должен об этом сообщить Атилла?

14.04 79.

Реакция на современный роман. Желательно появление взрослых: они высекут героев, и автора заодно.

28.10.79.

Кто не в состоянии выстоять, может только сидеть.

Церковь есть коллективная форма удовлетворения религиозных потребностей для тех, кто не в состоянии встретиться лицом к лицу со своим богом и нуждается в услугах общественного учреждения. В этом смысле церковь относится к вере, как публичный дом к любви.

22.01.80.

Как убедить начальство действовать против его личных интересов, конкретных интересов во имя его общих, корпоративных интересов? Найдите себе более интересное занятие.

Инфаркты будут у них.

Если нельзя ничего делать без аппарата, *то* не стоит жить. Импликация верна, посылка — нет.

Мы плохо понимаем людей, живших в России начала века. Это яснее всего из воспоминаний Ходасевича. “Некрополь” — первоклассный документ той эпохи. Х. был посредственный поэт и довольно

проницательный, недобро-язвительный человек. Своё время он знал интимно, был со всей пишущей братией знаком. Сидя в эмиграции, в Париже, он провожал в могилу своих современников вежливо-безжалостными напутствиями. Лгать по поводу конкретных фактов он не мог: в то время (двадцатые-тридцатые годы) было множество живых свидетелей, активная критика в эмигрантской печати. Стало быть, *фактам* можно верить, а это огромная масса свидетельств об эпохе, к тому времени уже ушедшей. Есть много других мемуаров, из которых мне сейчас припоминаются записки Бунина и Цветаевой.

Всякий раз, когда мы говорим о людях прошлого, возникает вопрос, насколько мы их понимаем. Историческая семантика ещё не начиналась, да и вообще умные люди давно уже не идут в историки. Казалось бы, прошло всего два поколения, тот же язык, доступная литература. Но мы очень плохо понимаем этих людей, особенно людей искусства. Они иначе думали, иначе любили и страдали. Я не хочу сказать, что они всем были лучше нас: в них было много барской избалованности, ребячества и истерии. Была беспомощность перед жизнью, податливость на все соблазны. Сурового мужества было очень мало.

Было предсмертное цветение гибнущей культуры, пир во время чумы. Россия начала века завершала свой короткий дневной путь. Позади и впереди была ночь. Так ли уж короток был этот день? Греки вышли из архаики в шестом веке, затем была вершина, век Перикла, потом пышное увядание, называемое эллинизмом. Французы пережили последний праздник духа накануне своей революции. Гибнущая культура содержит в себе нездоровое, лихорадочное возбуждение, безудержное любопытство ко всему запретному, жажду немедленного наслаждения: чума на пороге.

Отношение нашей публики к этой эпохе — маразматическое, бессильное восхищение перед утраченной сложностью. Что́ было в этой сложности, уже не видят. Ищут цветы разложения, потому что разлагаются бесцветно. Отсюда популярность Ахматовой. Это поэтесса камерного рода, очень тесно слитая со своим куском пространства и времени. Даже тексты её требуют комментариев, чувства же и вовсе непонятны. Любят в Ахматовой дамское, салонное — и плач о России. Любят, но не понимают: дам и салонов никто не видел, да и России тоже.

Великие писатели того времени, кто они были? Я вижу двух, Толстого и Чехова. Толстой был пережитком прошлого века и вообще архаизмом: в этом была его сила. Чехов же был декадансу

близок, но скорее как враг болезни: в нём была упрямая воля и страдальческий оптимизм.

Среди мужчин уже не было поэтов. Лучше сказать: среди поэтов не было мужчин. Последним был Киплинг (не случайно и он был анахронизмом). Новое время породило особый тип поэта, распинающего себя публично: это называется *лирикой*. Поэт должен был доставлять публике те эмоции, ради которых сбегались смотреть публичные казни. В нём стали ценить такую чувствительность, что ему нельзя было уже ходить в собственной коже: полагалось содрать эту кожу и чувствовать обнажённым мясом. Поэты защищались, как могли. Гёте стал чиновником, Пушкин пытался, но не смог.

Поэты стали слишком чувствительны и по-женски рецептивны. Они *принимали* идущее на них, нависшее над ними. То, что они с готовностью принимали, казалось им весной без конца и без краю, и они приветствовали эту предполагаемую весну — звоном щита. Поэтам полагалось уже одно оборонительное оружие. Другие, попроще, предвидели не весну, а нашествие гуннов, но и гуннов почему-то встречали приветственным гимном.

Мужество было, может быть, у одной Марины. Цветаева была великим поэтом. Поэтом в мужском роде, как Бодлер нарочно сказал о Сафо: “l’amanta et le poèta”[1]. Может быть, там, на Лесбосе, едва вышедшем из лона матриархата, женщина могла ещё выразить себя в слове. А потом её поработили, хуже всех негров, и она потеряла веру в себя. И больше не было женщин-поэтов, а были иногда “поэтессы”. И только в конце патриархата, может быть, в конце *всего*, женщина оказалась на миг свободной, и снова явилась поэтом.

Цветаева — не женщина своего времени, а Женщина всех времён, женская стихия, сорвавшаяся с цепи. Она — дикая, непричёсанная и неприличная, как босоногая менада. Элементарные силы природы пронзительно нарушают в ней правила хорошего тона. Гармония ей не дана. Ей некогда было редактировать и отбирать: алмазы сверкают среди ветоши. Она хотела нравиться, отсюда изысканные рифмы. Она не нравилась: для неё не было мужчины. Удивительно, как долго ей удалось прожить. Почему она повесилась в Елабуге, а не в Париже?

Проблема поэта в том, чтобы выйти из рецептивной, женственной позиции. Но тогда это уже проблема *человека*, а не поэта. Будь человеком, и поэзия к тебе придёт. Вот почему в наше время “про-

[1] Возлюбленная и поэт (фр.). — (*Прим. ред.*)

фессиональный" поэт смешон, как сутенёр. У нас есть долги перед прошлым. Важно сохранить его материю, для этого служат музеи. Важнее понять его дух. Но самый важный долг перед прошлым — спасение будущего. Если будущего не будет, то прошлое было напрасно.

27.03.80.

Бумажная продукция в наше время невероятно возросла. Между тем, журналы всё время сокращают размеры статей. В начале века нередки были статьи в 40, 60, даже 100 страниц: писали неторопливо, тщательно объясняя свои мысли. Постановку опытов, отношение к чужим работам. Такая манера писать статьи побуждала хорошо обдумывать их содержание.

29.04.83.

Американская история производит странное впечатление. Если отвлечься от войны за независимость, она сводится к препирательству о налогах. Да и войны имеют денежные причины. Никто не ставит под вопрос систему правления и "систему ценностей", эти вещи считаются чем-то вроде законов природы, но в их рамках — препираются о денежных делах. Хорошо это или плохо? Можно считать, что там уже созданы условия, настолько не стесняющие жизнь, что "принципиальные" разногласия отпали. Возможна и другая точка зрения: американское общество было слишком однородным слоем, отщеплённым от европейского, чтобы создать *самостоятельную* цивилизацию. Отсюда культурная зависимость от Европы, а затем *общее* одичание. Анти-Токвилль?

30.08.83.

Тезисы о религии.

1. Самое слово означает "зависимость". Чем более независим человек, тем более он независим в *этом* смысле. В основе зависимости лежит страх. Религия в древнейшем (и единственно правильном) смысле есть система магических заклинаний, адресованных к антропоморфно понимаемым силам природы, враждебным *мне.* Лукреций (и его учитель Эпикур) поняли существо дела: освобождая человека от страха перед богами, они *разрушали* религию.

Когда (и насколько) я силен, здоров и далёк от смерти — я независим от тайных сил моего подсознания, толкающих меня на путь первобытного анимизма. Но как только возникает угроза моему физическому благополучию или теряется уверенность в моём великолепии, моё подсознание начинает лихорадочно искать опоры

вне рационально оправдываемого мира, искать компромисса в этой извечной потребности дурачить и успокаивать себя. В пределе это — невроз навязчивости: если я не проделаю таких-то жестов, не наступлю на этот серый камень, поднимаясь по склону, не коснусь левой рукой этой двери, то меня ждёт несчастье. Философия имела едва ли не главной целью спасение от страха. Это достигалось особой дисциплиной ума, воспитывавшей подсознание. При хорошем воспитании оно не впадает в истерику от угрозы моему физическому Я, или даже моему Я-образу. Тогда я больше не боюсь, *то есть* не религиозен. Это путь для немногих. Чистый буддизм — не религия. Он должен был выродиться в грубое язычество там, где стал религией. И никогда не было много последователей у моего учителя Эпикура.

2. Позитивная сторона религии, может быть, вторична и вытекает из преодоления страха. Если я обеспечил свою безопасность, своё благополучие и процветание некоторой сделкой с тёмными силами (находящимися в моей же черепной коробке), то, по закону контраста, моя тревога переходит в эйфорию, в мистическое ощущение собственного всесилия, всеведения, блаженства и т. п. Предельная победа над страхом есть отключение от объективных фактов, вызывающих страх, и замыкание мозга в его внутренней деятельности — мистическое переживание. В систематическом мистицизме Индии это называется: перерубить ось желания. Вся Дхаммапада есть учение о выключении из мира. Запад теперь пришёл к пассивному варианту нирваны. Наш Будда — доктор Дельгадо, придумавший вводить электроды в мозг крысы (или студента). Каждый может достигнуть блаженства простым нажатием кнопки. Крысы нажимали до потери сил, много часов подряд.

Конечно, наша электродная мистика претит даже нынешнему человеку. Не слышно, чтобы электроды вытесняли более социальные способы выключения, такие, как пьянство, наркотики или разврат. Но и подлинная (активная) мистика есть нечто *недостойное* с точки зрения западной культуры. Это *онанизм духа.* Это глубокое извращение человеческой природы. Это лёгкий способ решения человеческих проблем путём бегства от деятельности и ответственности. *Но* человеку необходимы высокие состояния духа. Как же разрешить этот парадокс? Почему мне не нравится высокое состояние духа, которое ожидает меня после успешного отключения от человеческого бытия? Почему я хочу *остаться человеком*? Вероятно я не согласен решить свои проблемы по способу Оригена, отрубившего свой стимулятор желаний. Но почему же? Может быть,

вековая мудрость в том и состоит, чтобы меньше быть человеком? Итак, я не хочу блаженства без людей, моих братьев. Оказывается, я их так люблю, что не хочу воспользоваться индивидуальным спасательным кругом. Мне необходимо спастись вместе со всей их породой, со всеми прохожими и автобусными пассажирами. Я не могу уйти от них в нирвану. Но тогда как мне достигнуть высоких состояний духа? Как уйти от них и остаться с ними?

Возможна ли "религия человечества"? Если бы это была *в самом деле* религия, то в её основе был бы непременно *страх*. Ergo: я искал бы спасения у людей, а это не спасает. Люди ведь сами боятся. Итак, это не может быть *религией* в подлинном смысле слова.

21.10.83.

Идеология современного человечества.

G. Apollinaire, "*Les peintres cubistes*"[1], 1913.

"Достоинства конструирующей формы: чистота, единство и истина держат в узде укрощённую природу". "Прежде всего, художники — люди, которые хотя стать не-людьми". "Современная школа живописи ... стремится представить себе прекрасное вне связи с симпатией, испытываемой человеком к человеку". "Все тела равны перед светом". "Каждое божество творит по своему образу и подобию; таков и художник".

Joyce,

"Я не буду служить тому, во что больше не верю, зовётся ли оно отечеством, родиной или церковью".

17.10.86.

Философия есть непочтительность духа.

29.10.86.

M-me de Staël, *Mémoires et considérations sur les principaux événements de la Révolution Française*, t. 1, pp. 243–4 (1819).

La foule des spectateurs qu'on admettoit dans les galléries, animoit les orateurs tellement que chacun voloit obtenir pour son compte ce bruit des applaudissments, don't la jouissance nouvelle séduisoit les amours-propres. En Angleterre, il est interdit de lire un discours, il faut l'improviser; ainsi le nombre des personnes capables de parler est nécessairement très réduit; mais lorsqu'on permet de lire ce qu'on a écrit soit-même, ou ce que les autres ont écrit pour nous, les hommes supérieurs ne sont plus les chefs permanents des assamblées, et l'on

[1] Г. Аполлинер "Художники-кубисты" (фр.). — (*Прим. ред.*)

perd ainsi l'un des plus grands avantages des gouvernemens libres, selui de mettre le talent à sa place, et par conséquent d'encourager tout les hommes à perfectionner leurs facultés. Quand un peut être courtisan du people avec aussi peu de talens qu'il en faut pour être courtisan des princes, l'espèce humaine n'y gagne rien[1].

31.10.86.

A. Mitscherlich, *Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft*, s. 30. (Подчеркнуто мною).

Es gibt eine abgeschlossene Schulbildung, aber es gibt keine abgeschlossene Bildung und Selbsterziehung. Der Gebildete ist als ein Mensch zu charakterisieren, der seine jugendliche Ansprechbarkeit auf Neues und Unbekanntes erhalten hat. Er ist auf der Suche nach Wissen und nach den Methoden, Erfahrung zu prüfen. Was er über die Welt und den Menschen, seine Geschichte erfahrt, soll ihn der Wahrheit über sich selbst nähern. Die Wahrheit über sich selbst hat man nicht, man sucht sie und ist unbefriedigt bis zum Ende des Lebens[2].

24.09.87.

M-me de Staël, *Mémoires et considerations sur les principaux evénéments de la rév. fr.*, 1819. p. 85.

L'opinion, et la credit qui n'est pas que l'opinion appliquée aux affaires de finanses, devenoient chaque jour plus essentiels[3].

[1]Толпа зрителей, допущенных на галереи, весьма возбуждала ораторов, и каждый хотел приписать себе гром аплодисментов, вызывавших не испытанный прежде восторг польщённого тщеславия. В Англии нельзя речь читать, но надобно импровизировать; таким образом, неизбежно, выступать могут лишь немногие; однако, когда позволено зачитывать то, что напишем мы сами или кто-то напишет для нас, уж не всегда главенство на собраниях непременно достаётся выдающимся людям, и так утрачивается одно из величайших преимуществ свободных правительств – дать таланту занять достойное место, что поощряет людей совершенствовать свои способности. Мало пользы для рода человеческого, когда можно угодить народу, обладая талантом столь малым что его достанет лишь, чтобы угодить владыке. — Перевод с фр. Т. И. Перепеловой. — (*Прим. ред.*)

[2]А. Митчерлих, "На пути к обществу без отцов", с. 30.

Можно окончить школу, но нельзя окончить своё обучение или образование. Образованный человек отличается тем, что его ранние впечатления поддержаны новым и неизвестным. Он всё время ищет новые знания и методы, проверяя ими свой опыт. То, что он узнаёт о мире, людях и истории, помогает ему понять самого себя. Понимание себя не даётся человеку с рождения, он ищет его всю свою жизнь (нем.). — (*Прим. ред.*)

[3]С каждым днём всё больший вес приобретало мнение и кредит, который тоже суть мнение, но относящееся к денежным делам. — Перевод с фр. Т. И. Перепеловой. — (*Прим. ред.*)

18.03.1988.

Парадоксы власти.

Власть возникает в самом начале человеческого общества и сразу же приводит к противоположным следствиям. Прежде всего, она необходима. Уже первобытное племя не может существовать без руководства, соединяющего опыт ("мудрость") и авторитет, делающий возможность координацию усилий. Власть доставляет материальные преимущества и особые ощущения в отношениях с людьми, коренящиеся ещё в животной иерархии стада — специфические удовольствия от подчинения людей. Эти удовольствия развивают садо-мазохистское поведение в отношениях вождя и членов племени, что особенно опасно при врождённых наклонностях вождя к садизму. Чрезмерные притязания приводят к смене вождя. Удовольствия власти приводят к борьбе за власть.

Но борьба за власть невыгодна племени, особенно при опасной внешней ситуации. Возникает стремление стабилизировать институт власти. Вождя выбирают (цари у архаических греков, конунги у германцев), но обычно из семей, уже прославленных военным опытом и мудростью в ведении внутренних дел. Возникает стремление передать власть наследнику. Постепенно, с большими препятствиями, устанавливается *наследственность* власти.

Опыт может быть передан сыну, но способности наследуются ненадёжно. Менделевское расщепление признаков и кроссинговер приводят к самым причудливым случайностям. Если монархический принцип уже укоренился в сознании племени, то приходится выносить последствия. По мере удаления от гипотетических героев-предков, короли мельчают и опускаются до среднечеловеческого уровня, или ниже, особенно при системе браков в узком кругу.

Здесь мы сталкиваемся с пресловутым вопросом о "роли личности в истории". Поскольку историография, и в особенности "философия истории", меньше всего напоминают объективную науку, то организующие принципы в этой области зависят не только от отдельного автора, но ещё больше от духа времени, и даже от господствующей моды. (Вспомним отношение историков к древней традиции, например, к библейским преданиям и к ранней истории греков и римлян. Сначала полное доверие, затем полный скепсис, наконец осторожное признание). Между доверчивостью предков и осторожным вниманием наших современников была *гиперкритическая* фаза, несомненно зависевшая от духовного климата рационалистической эпохи. Отношение к "роли личности" было у пред-

ков вполне определённым: вся история изображалась как арена столкновений, подвигов, удач и неудач отдельных личностей — царей, полководцев, министров, время от времени пророков, основывавших религии. Все остальные компоненты исторического процесса — природные условия, экономическая жизнь, нравы и обычаи племён — отступали на задний план, играли роль некоторого фона для подвигов выдающихся личностей. В большинстве случаев историки прошлого настолько пренебрегали этим фактом, что не оставили нам сколько-нибудь подробных сведений о неинтересных для них предметах, что в некоторой мере восполняется теперь средствами археологии.

Затем наступила гиперкритическая фаза в историографии. Едва ли не первым историком, сосредоточившим внимание на "фоне" исторических событий, был Вольтер, вернувшийся из Англии убеждённым ньютонианцем. Было бы интересно проследить, каким образом возникновение точной науки произвело переворот в понимании истории. Конечно, изменение произошло не стразу. Вольтер писал ещё историю эпохи Людовика XIV, историю Карла XII и Петра Великого. Но в XIX веке "фоновый" подход окончательно одержал верх. Историки углубились в изучение "причин" исторических явлений, рассматривая в качестве таковых природные условия, сложившийся в данном обществе способ производства и численность населения. Уже психологические факторы вызывали у серьёзных историков недоверие, поскольку они почти не поддаются объективной проверке. Что же касается отдельных личностей, то распространяться об их особых свойствах казалось уже почти неприличным. Подразумевалось, что личность является производной от породившей ее среды, чем-то вроде монеты, отчеканенной употребляемой в данное время машиной, и хотя допускались некоторые отклонения от закономерного для эпохи образца. Предполагалось, что *в среднем* эти отклонения не особенно влияют на исторические процессы. Именно эти средние величины в человеке и в обществе, по убеждению мыслителей того времени, участвуют в закономерностях, какие должен искать историк. Идею такого детерминизма истории на уровне средних величин впервые высказал Кант, в одной из своих последних работ. (Замечательно, что тогда, в 1795 году, исследование средних в естествознании почти не начиналось!)

Крайним выражением такого подхода был марксизм: Общественное бытие людей определяет общественное сознание". Ясно, что дважды употребляемое здесь прилагательное "общественное" озна-

чает “среднее по данной популяции”, поскольку Марксу было ясно, что в отдельном случае такая закономерность может не наблюдаться (например, в его собственной биографии). Итак, история сводилась к *соотношениям между средними.* Гиперкритическая фаза в историографии затянулась, поскольку фатальное влияние естествознания, и больше всего точных наук, отражало всё возраставший престиж этих наук и их общественные последствия. Инерционное развитие технических приложений принимается ещё и в наше время за признак процветания точных наук, в действительности уже оставшегося в прошлом. Поэтому потребовалась немалая смелость мысли, чтобы последовательно проанализировать так называемые “законы истории”. И доказать, что в истории нет и не может быть предсказуемости в том смысле, как в физике (задача Коши). В “Нищете историцизма” Поппер игнорирует “начальные и краевые условия” задачи Коши и сосредоточивает своё внимание на “эволюционных уравнениях” (О начальных и краевых условиях, о “непредсказуемости” задачи я говорю в другом месте). Как истинный логик, Поппер не затрудняет себя изложением всех возможных доводов против возможности “законов истории”, как это сделал бы философ прежних времён, а выбирает *один* аргумент, уже достаточный для опровержения исторического детерминизма. Аргумент его состоит в следующем: Отдельная личность непредсказуема, как флуктуации в статистической физике; но в человеческом обществе усреднение невозможно, поскольку поведение общества в целом может существенно зависеть от индивидуальных свойств отдельного человека, проявляющихся в его поведении. Иначе говоря, отдельная человеческая судьба не является “малой” величиной при попытке исследования общественных средних: в “эволюционные уравнения” входят не только стохастические (броуновские) члены, но и резкие точечные воздействия. Эти воздействия непредсказуемы, исходя из наличного исторического фона. Опять-таки, Попперу достаточно *одного* вида личных воздействий, и он берет не возникновение религий, и т. п., а *научные открытия.* Любопытно, что эта цепь рассуждений была построена за два года до Хиросимы (и что философский журнал, куда Поппер направил свою работу, отложил её — *английский* журнал).

Итак, Поппер, преследующий другую цель — опровержение “историцизма” — попутно опроверг все гипотетические построения историков по поводу “роли личности в истории”. Оказалось, что отдельный человек может сыграть в истории роль, никак прямо не вытекающую из общественного бытия. Если бы не Эйнштейн, это

мог бы сделать, например, Хазенерль, тоже подходивший к соотношению $E = mc^2$ со стороны поля радиации. Предположим (произвольно), что он мог бы развить это в теорию относительности и переменить ход развития физики. Но Хазенерль бы убит на фронте мировой войны, Пуанкаре испугался относительности, отшатнулся от неё. Совсем не обязательно ограничиваться частным случаем, рассмотренным Поппером. Вместо спонтанного явления научного открытия мы рассмотрим теперь спонтанное, в высшей степени зависящее от личных особенностей *явление власти.*

Надо ли говорить, какое действие произвели в истории Христос, Магомет, Чингис-хан или Маркс? Запад получил религию Христа, но небольшое изменение условий в римской армии могло привести и к победе митраизма. Если бы вместо Христа явился человек с темпераментом Магомета, Запад мог бы принять семитическую религию совсем другой окраски. Все это очевидно, и не об этом я хочу говорить здесь.

25.03.1990.

Философия написана в великой книге, всегда находящейся у нас перед глазами — я имею в виду вселенную — но её нельзя понять, не выучив сначала язык и не поняв знаки, которыми она написана. Написана же эта книга математическим языком, а знаки её — треугольники, круги и другие математические фигуры, без помощи которых нельзя разобрать в ней ни слова, что вынудило бы нас напрасно блуждать в тёмном лабиринте.

Галилей.

Некий Дуглас Буш рассказывает о студенте, предложившем написать дипломную работу о влиянии восемнадцатого века на девятнадцатый.

Для современных мыслителей математика стала тождественна с философией, хотя они и говорят, что изучать её следует ради других вещей.

Аристотель.

Малейшее знание, какое можно получить о высочайших предметах, предпочтительнее, чем самое надёжное знание, полученное о менее важных вещах.

Св. Фома Аквинский.

26.04.1990.

Quand je vais dans un pays, je n'examine pas s'il y a de bonnes lois, mais si l'on execute celles qui y sont cor il y a de bonnes lois partout[1].

Montesquieu, *Note sur l'Angleterre*.

15.05.1990.

Прошедшее России было удивительно, её настоящее более чем великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение.

Граф Бенкендорф.

22.02.1992.

Hannah Arendt: "The question is not whether political philosophy can make a contribution to political life, but whether philosophy can make a contribution to politics"[2]. (Library of Congress, Box 45, Hannah Arendt. *Papers*, p. 23570).

H. Arendt. *The Life of the Mind*, v. 1, *Thinking*, v. 2, *Willing*. N. Y., 1978.

02.08.1992.

T. W. Macaulay. The first fruits which are reaped under a bad system often spring from seed sown under the good one[3].

Eassays, p. 44 (Machiavelli).

25.12.1992.

"Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчишками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землёй — а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера".

Герцен. Былое и думы.

10.01.93.

Идея прогресса.

---

[1]Отправляясь в какую-то страну, я интересуюсь не тем, хорошие ли там законы, а выполняются ли они там, потому что хорошие законы есть везде. Монтескьё, "Заметки об Англии" (фр.). — (*Прим. ред.*)

[2]"Вопрос не в том, может ли политическая философия внести вклад в политическую жизнь, а в том, может ли философия внести вклад в политику" (англ.). — (*Прим. ред.*)

[3]Первые плоды, собираемые при плохой системе, часто произрастают из семян, посаженных при хорошей (англ.). — (*Прим. ред.*)

1. "Прогресс" вовсе не означает, что общество меняется, а что оно меняется "в лучшую сторону". Даже самый факт изменения долго можно было оспаривать: древние никакого существенного изменения не видели, а предполагали вечное повторение. Но примем, что общество меняется (доказательства за мной).

2. Прогресс чаще всего рассматривался как закономерный процесс, наподобие детерминированных процессов, описываемых в физике. Любопытно, что поиски детерминизма в истории предшествовали появлению физики. У древних греков это был фаталистический детерминизм регресса, начиная с Бодена (или раньше?), оптимистический детерминизм; у Маркса очевидно желание объяснить историю more geometrico[1]. Если соединить "прогресс" с изменением "в лучшую сторону", то источник такого положительного детерминизма кажется очевидным — разве что прибегнуть к абсолюту.

3. Если отбросить строгий исторический детерминизм (оставляя сильную причинность в качестве слепой исторической силы), то надо принять во внимание человеческую волю в истории: назовём это субъективным фактором в истории.

4. Субъективный фактор зависит от бывшей уже истории. Он выбирает в ней "лучшие" моменты, пытается строить из них "возрастающий ряд", в смысле улучшения (как её понимает данная эпоха), а затем пытается формировать будущее, экстраполируя этот ряд. Тем самым, в истории возникает *новая причинность*: назовём её субъективной.

5. Субъективная причинность меняет ход истории в желательном для нее направлении. Если её носители довольны, они будут продолжать действовать в том же направлении, всё время полагая, что происходит "положительный" прогресс. Если субъективная компонента значительна (а я думаю, что *очень*), то история во многом делается людьми, во всяком случае, с того времени, как они думают об истории как о деле своих рук. *Если* считать, что *в общем* за последние три века общество стало сложнее, устойчивее, а личность живёт в большой безопасности и имеет бóльшие возможности развития, то, стало быть, можно предполагать и далее эволюцию в этом направлении.

6. Что при этом теряется, и не ведёт ли этот путь в тупик?

---

[1]Выражение more geometrico — аллюзия к книге Спинозы "*Ethica more geometrico demonstrate*" ("Этика, доказанная геометрическим способом"; т. е. "так, как делается в геометрии". — (*Прим. ред.*)

08.04.95.

Предположение Хайека (и других), будто всё существенное для развития общества *может быть* регламентировано и само собою резюмируется в виде системы рыночных цен, т. е. в виде таблицы чисел — есть такое же проявление “квантификаторства”, как всё, что делают в нашем веке биологи-бихевиористы и подобные им социологи. Поставив в основу своего построения сложность общества и его экономической жизни, Хайек не замечает, как сам же сводит эту сложность к арифметике цен. This is the Fatal Conceit[1].

11.04.95.

“Примитивная малая группа”, которую Хайек противопоставляет “extended order”[2], есть единственно возможная, биологически детерминированная среда человеческого emotional involvement[3]. К массе *всех* ближних у нас нет эмоций, она важна для нас только в смысле глобальных принципов, обобщающих отношения в “малой группе”. Но Хайек не признает этого “действия на расстоянии” и видит лишь “близкодействие”. Читал ли он Лоренца, своего сверстника и соотечественника?

Отрицание цели эволюции человечества Хайек сопровождает повторным настоянием, что всё-таки такая цель есть — “увеличение численности сообщества” (“increase of the community”). Снова и снова эта форма “сохранения вида” оттесняет на задний план все другие цели. Итак, утверждение, что “жизнь является единственной целью жизни”, сводится здесь к сохранению вида путём поддержания и увеличения *численности* популяции. Иначе — пугает нас Хайек — будет голод и смерть, а это хуже всех других опасностей. Это и в самом деле ontology of survival[4].

Если оставить в стороне вопрос, почему — если ничего не делать сознательно, а положиться на эволюцию — наш вид не *вымрет*, как многие другие виды, остаётся спросить, не следует ли предпочесть более рискованную, но и более интересную (человеческую) политику. Пусть жизнь будет самоцелью, но какая жизнь? Конечно, quality of life[5] для Хайека сводится лишь к уровню потребления. Но так долго не выйдет: человек-потребитель не будет соблюдать moral rules, правила игры, и игра кончится.

[1] Это пагубная самонадеянность (англ.). — (*Прим. ред.*)

[2] Термин “extended order”, означающий “расширенный порядок”, Хайек ввёл вместо термина “капитализм”. — (*Прим. ред.*)

[3] Психологическая поддержка (англ.) — (*Прим. ред.*)

[4] Онтология выживания (англ.) — (*Прим. ред.*)

[5] Качество жизни (англ.) — (*Прим. ред.*)

12.04.95.

В самом деле, весь extended order в смысле Хайека держится на том, что люди должны соблюдать moral rules[1]. Но тогда можно спросить, что, собственно, побуждает их соблюдать эти правила? Сам Хайек жалким образом колеблется между двумя мотивировками такого необходимого поведения. Либо правила соблюдаются по религиозным убеждениям (слово "табу" неоднократно является в его книге. Причём каждый раз в положительном смысле); либо они соблюдаются из прагматических соображений, для поддержания "расширенного порядка", т. е. в конечном счёте для выживания людей. Если речь идёт о выживании отдельного человека — *моем* выживании — то почему я должен заботиться об арифметике выживания наибольшего числа? Я буду попросту добиваться собственного благополучия за счёт других, притворяясь, будто я соблюдаю законы. Но если я должен заботиться о жизни незнакомых мне людей, для *этого* у Хайека нет ни малейшего стимула, кроме жалких ссылок на религиозные табу, вместе с признанием, что сам он неверующий. Pia fraus[2] вызывает у него тоже чувство неловкости. И это — *всё*?

05.05.95.

В четверг я разрушил капитализм. Стр. 94–96[3].

10.05.95.

Солженицын. Отошёл от того, в чём была его сильная сторона — от изображения элементарного в народной жизни. Погрузился в архивные разыскания и стал сочинять их переложения, с добавлением тенденций. Принялся за политику, в которой ничего не смыслит, за философию и историю, где он просто смешон.

19.05.95.

К. Поппер: "Никто не должен жить за счёт милосердия других, все должны иметь право на защиту со стороны государства". Откр. общ., т. 2, стр. 145.

Стр. 148, там же: "Мы безусловно нуждаемся в таком равенстве, хотя оно и не защищает тех, кто менее одарён, менее безжалостен и менее удачлив, от превращения в объекты эксплуатации со стороны тех, кто более одарён, более безжалостен и более удачлив".

---

[1] Моральные правила (англ.) — (*Прим. ред.*)

[2] Pia fraus – благочестивый обман, ложь во спасение (лат.) — (*Прим. ред.*)

[3] На стр. 94–96 заканчивается 1 часть рукописи "Заблуждения капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека". — (*Прим. ред.*)

Стр. 153: "Государственное вмешательство должно быть ограничено в той степени, которая в действительности необходима для защиты свободы". Если имеется и свобода от экономического принуждения, это может завести далеко.

Стр. 157. "Однако мы не нуждаемся в холизме. Мы нуждаемся в постепенной и поэтапной социальной инженерии". Без принципов?

Стр. 161: "...бесклассовое общество, в котором не будет эксплуататоров, а это и значит социализм".

Стр. 396. "Наименьшее зло".

Стр. 398. Хайек и "планирование свободы": "Однако я уверен, что его идея...", но это относится к Мангейму.

21.12.95.

Диссиденты: к анатомии диссидентства.

Советский диссидент жалуется на недостаток свободы и эмигрирует — скажем, в Соединённые Штаты. Как правило, он считает себя интеллигентом, но является им лишь в том смысле, что занимается умственным трудом. Он духовно нищ, и вне своей профессии — допустим, научной или технической — не знает, чем себя занять. Если у духовно нищего специалиста сильные научные способности, то он и занимается своими задачами, сетуя на трудности карьеры, но не ссорясь с начальством; он эмигрирует позже, уже во время "перестройки" и ничем не рискуя.

Если же духовно нищий интеллигент *лишён* особенных профессиональных способностей, но морально брезглив, то он не хочет (или не может) делать карьеру обычными способами и ему *нечем себя занять*. Кстати, советская пропаганда верно подметила, что диссиденты, как правило, — люди, не преуспевшие в своей профессии. Советская система (богадельня) даёт им небольшое, но безопасное обеспечение, не требуя от них серьёзного труда. В их НИИ им попросту нечего делать, и они имеют *избыток свободного времени*. Духовная нищета не даёт им материала для заполнения жизни. Тогда они начинают рационализировать своё положение, воображая, что в их творческой слабости виновата *система*, ограничивающая их свободу (например, ездить за границу, что-нибудь организовывать, продвигаться по службе, и т. е.). В действительности же их эмиграция — *бегство от свободы*. В Штатах жёсткая необходимость работать для выживания (нет богадельни) *занимает всё их время*, и никакая общественная активность им больше не нужна.

Поппер не объясняет, почему он *всё же* считает Платона величайшим из философов. Его теория идей — "реализм" — вреднейшее извращение подлинного положения вещей в процессе познания, выражаемого "номинализмом". Поэтому в *гносеологии* Платон был крайне вреден. Как вдохновитель христианской схоластики, он был вреден вдвойне. Его фашистская политическая система ужасна.

Но в онтологии мы ищем идеалы человеческих качеств — идеальную Справедливость, Мудрость, Доброту, Красоту. Интуиция, ведущая человека от несовершенных примеров к идеальному, была замечена Платоном в геометрии и *неправильно* обобщена на другие виды интуиции, где "сущность" не поддаётся логическому определению, а угадывается как некий "гештальт". Можно формально записать нашу интуицию треугольника, но не интуицию доброты или красоты. Опять ошибка, роковая для философии.

Но самое представление об *идеальном*, "познаваемом" особой, не поддающейся словесному описанию интуицией было введено Платоном(?). Если это верно, то здесь его *положительное* значение. Нашему веку больше всего нужен *идеал человека*; произнося эти слова, мы снова обращаемся к Платону!

Единственный идеал человека, созданный новым временем, — это идеал "теории прогресса", динамический образ развивающегося человека. Его создали французские просветители 18-го века, а Швейцер *понял* их значение в онтологии. Между тем, сам Платон держался "теории регресса" и боялся всяких перемен; его идеал человека воспитывался в казарме под надзором "стражей". Он додумался только до "идеального" *вообще* (если он первый до этого додумался?). Если нет, то в чём значение Платона? Неизбежность христианского богословия я не принимаю.

10.03.97.

Наполеон о религии: "Как вы можете поддерживать порядок без религии? Общество не может существовать без равенства состояний, которое не может держаться без религии. Когда человек умирает с голоду рядом с другим, страдающим от обжорства, он не может смириться с этим различием, если нет авторитета, заявляющего: "Этого хочет Бог; в мире должны быть бедные и богатые; но после этого, навеки веков, всё будет устроено иначе". H. G. Wells, *Outline of History*, 1956, vol. 2, p. 741.

05.08.97.

Высокий уровень унижения: литература, искусство. Низкий уровень: точные науки. Самый высокий: гуманитарные науки.

12.06.99.

Право сильного всегда оспаривалось в политике. Это значит, что не признавалось право более сильного конкурента уничтожить более слабого. Конечно, в действительности это тысячу раз происходило, но никто не решался провозгласить эту практику законной и справедливой, кроме некоторых очевидных безумцев. Dieu et mon droit[1] не означало, что бог сделал меня сильным: имелось в виду, что бог поддерживает правого.

В экономической конкуренции право сильного провозглашается с наивным бесстыдством (Thurow, *The Future of Capitalism*). Правда, разорённого конкурента будут кормить супом для бедных, но это его право человека, а не право экономического субъекта. Как предприниматель слабый должен просто умереть. Может быть, это необходимое условие прогресса? Мне кажется, этот вопрос не очевиден.

12.08.99.

Биологическая эволюция означает "выживание наиболее приспособленных", и этот порядок вещей не имеет ничего общего с такими понятиями, как "справедливость", "милосердие" или "красота". Поппер спрашивает, почему живая природа могла беспрепятственно процветать миллионы лет, а человек, с его мышлением, всё время впадает в противоречия и находится теперь под ударом гибели. Причина в том, что у животных в самом деле "свободный рынок" с неограниченной конкуренцией, и что "процветание" этого "общества" означает просто сохранение и рост того, что из этого получается. Все оценки совершенства живой природы — наши человеческие оценки. Сама природа безразлична к тому, что́ у неё получается. Все оценки совершенства живой природы — наши человеческие оценки. A priori не было даже очевидно, что жизнь, однажды возникнув на Земле, на ней сохранится. Ведь в искусственных "биосферах" жизнь иногда в какой-то непредсказуемой форме сохраняется, а чаще погибает. Конечно, то, что сохраняется — независимо от наших человеческих оценок, — удивительно *сложно.* Образование и сохранение такой сложности в мире возрастающей энтропии представляло бы серьёзный вопрос даже для не-человеческого объективного разума.

Но *человеческое общество не "свободный рынок"*. Уже наши правила рынка не тождественны с правилами игры на рынке эволюции, возникшими в ходе самой эволюции (то есть с ограничениями видового поведения). Правила человеческого общества прошли через

[1] Бог и моё право (фр.) — (*Прим. ред.*)

человеческий мозг, который вовсе не сводится к механизмам выживания, описанным Фрейдом под названием "эго". Мозг человека вырабатывает правила, обобщающие первоначальные императивы выживания стада в очень небиологические принципы — например, связанные требованиями логики. Чтобы выжить, человек должен быть *логичен.* Но это ведёт его гораздо дальше выживания; более того, именно это ставит его выживание под вопрос. Вид, решивший жить "справедливо", и "красиво", сильно ограничивает свою способность просто выжить.

Piecemeal engineering[1] в смысле Поппера. Радикальные перемены в жизни общества опасны, их следует избегать. Допустимы лишь малые улучшения — починка неисправностей общественного механизма. Но что такое "неисправность", если нет *нормы* общественной жизни? Если бы она была, то общественная деятельность в смысле Поппера была бы подобна заботе индивида о своём здоровье, норму которого указывают врачи. И это всё, г-н Поппер? Но ведь без "идеалов" нет никакой нормы!

03.03.2000.

Герцен, "С того берега", т. 3.

стр. 236. "... Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать своё мнение, — русских, этих "немых", как говорил Мишле".

стр. 249. Страдание, боль — это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность.

стр. 283. Когда не все могут жить хорошо, пусть живут несколько, пусть живёт один — на счёт других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки и можно понять аристократию. Аристократия вообще более или менее образованная антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счёт своего работника — составляют только видоизменение одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть — пусть ест; они стоят того, — один, чтобы быть людоедом, другой, чтоб быть кушаньем...

В идее теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена потому, что никто не считает это отношение справедливым!

[1]Кусочная технология (англ.) — (*Прим. ред.*)

стр. 287. Человек серьёзно делает что-нибудь только тогда, когда делает для себя.

стр. 327. Думали ли вы когда-нибудь, что значат слова "человек родится свободным"? Я вам их переведу, это значит: человек родится зверем — не больше. Возьмите табун диких лошадей, совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший коммунизм. Зато развитие невозможно. Рабство — первый шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтоб одним было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, которым лучше, могут идти вперёд за счёт жизни остальных. Природа для развития ничего не жалеет.

стр. 339. Социализм разовьётся во всех своих фазах до крайних последствий, до нелепостей отчаяния. И снова начнётся смертная борьба, в которой социализм займёт место нынешнего консерватизма и будет побеждён грядущею, неизвестною нам революцией... этот европейский Китай называется Англией...

стр. 342. Прощай, отходящий мир, прощай, Европа!

стр. 346. Вся страница: "Мы довольно долго изучали хилый организм Европы..."

стр. 347. "Человек свободнее, нежели обыкновенно думают. Он много зависит от среды, но не настолько, как кабалит себя ей...

стр. 349. "Вне нас всё изменяется, всё зыблется, мы стоим на краю пропасти и видим, как он осыпается, сумерки наступают. И ни одной путеводной звезды не является на небе. Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самобытной независимости. Спасая себя таким образом, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитие свободной жизни в обществе, — если оно вообще возможно для людей. Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтоб освобождать человечество, себя освободить, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека".

стр. 352. "Неужели человек менее прав оттого, что с ним никто не согласен? да разве ум нуждается другой поверки, как умом? И с чего же всеобщее безумие может опровергнуть личное убеждение?"

стр. 353. "Хотите ли вы *свободы* монтанияров, *порядка* законодательного собрания, египетского устройства работ коммунистов?"

"...республика для людей, а не лица для республики..."

"И вот вам крестовые рыцари свободы, привилегированные освободители человечества! Они боятся свободы; им надобен господин для того, чтобы не избаловаться, им нужна власть, потому что они не доверяют себе".

стр. 355. “Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения бога, распятие невинного за виновных”.

стр. 356. “Наш язык — язык дуализма, наше воображение не имеет других образов, других метафор”.

стр. 358. “Какие мы дети, какие мы ещё рабы и как весь центр тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности — вне нас!”

04.04.00.

“The ultimate problem remains like a ghost, ever present and unlaid. Is it possible to extend a higher civilization to the lower classes without deluting its quality to the vanishing point? Is not every civilization bound to decay as soon as it begins to penetrate the masses?”[1]

Ростовцев, *Social and Economic History of the Roman Empire*, заключительные слова.

24.07.01.

Politics seems to be irrational because it is only the phase of collective life in which society tries to be rational[2].

Psychotherapy a. Politics, 1960, p. 184.

28.07.01.

The man who takes pleasure in the mere exertion of authority, apart from the purpose for which it is to be employed, is the last person in whose hands one should willingly entrust it[3].

J. St. Mill, *Nature*.

Иоахим из Флориды (конец XII в.), в изложении Хейзинги: Первое состояние мира, в соответствии с *Ветхим Заветом* определялось Законом; настоящее состояние есть состояние благодати, но вскоре и оно сменится состоянием некоей обогащающей благодати, согласно обещанному *Евангелием от Иоанна* (I, 16). Первый период был основан на познании, второй — на мудрости, третий будет

[1]Окончательная проблема подобна призраку, вездесущему и преследующему. Возможно ли приобщить к высокой культуре низшие классы, не потеряв окончательно ее качества? Не обречена ли на упадок любая культура, стоит ей только начать проникать в массы? (англ.) — (*Прим. ред.*)

[2]Политика кажется иррациональной, потому что она — лишь фаза общественной жизни, когда общество старается быть рациональным. — (*Прим. ред.*)

[3]Человек, получающий удовольствие от власти самой по себе, независимо от цели, ради которой он ею пользуется — последний из всех, кому можно её доверить (англ.). — (*Прим. ред.*)

основан на совершенном знании. Первый был эрой порабощения, второй — детского послушания, третий должен быть эрой свободы. В первом был страх, второй освещала заря, в третьем же воссияет солнце. Первый принёс с собой крапиву, второй — розы, третий принесёт лилии. Явится dux novus, вселенский папа Нового Иерусалима, который обновит христианство.

10.08.02.

Стендаль, История живописи в Италии (т. 6, стр. 345).

Основой всякого большого дарования всегда является логика.

14.12.02.

Reichenbach, *The Rise scientific Phlosophy.*

Мы не возражаем (Юму), что индукция есть привычка; но мы хотим знать, хорошая это привычка или дурная.

17.12.02.

Научный метод есть *индукция на уровне математических теорий.* Учёный строит гипотезы, подлежащие опытной проверке. Но все люди, в своей повседневной жизни, строят гипотезы и руководствуются повторением событий в гипотетической последовательности. Различие — в сложности этих гипотез, то есть в логическом типе построения гипотез (в смысле Рассела).

Если гипотеза носит характер математической теории, то в самом её построении уже используются индуктивные гипотезы, заключённые в логике и математике. Более сложные научные теории оперируют более простыми, как гипотезами в процессе человеческой деятельности — построениям теории.

Таким образом, различие между эмпиризмом Бэкона и Юма и современной наукой заключается в *логическом типе* принимаемых гипотез. Наша способность к индуктивному мышлению в самом деле имеет биологическое происхождение: это не “привычка”, как думал Юм, а инстинкт. Но культурная наследственность развивает эту инстинктивную способность, как и другие. По поводу инстинкта индукции: наблюдение Лоренца над армянскими козами.

Рейхенбах, p. 110. The certainty of the synthetic a priori takes over where the empiricist resigns in skepticism: this is the essence of Kant’s philosophy[1].

[1]Уверенность синтетика априори возьмёт верх там, где эмпирик предастся скептицизму: это суть философии Канта (англ.). — (*Прим. ред.*)

24.12.02.

Тяжелее всего даётся лёгкость.

08.01.03.

Философия написана в этой большой книге, всегда лежащей перед нашими глазами — я имею в виду вселенную — но мы не можем понять её, не выучив прежде язык и буквы, которыми она написана. Книга эта написана на математическом языке, а буквы её — треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых нельзя постигнуть в ней ни слова, и без которых напрасно блуждать в её тёмном лабиринте.

Галилей.

22.02.03.

Лоренц, "8 грехов", стр. 24.

...Наслаждение можно ещё получить, не расплачиваясь за него ценой неудовольствия в виде тяжкого труда; но прекрасная божественная искра Радости даётся только этой ценой. Всё возрастающая в наши дни нетерпимость к неудовольствию превращает возникшие по воле природы вершины и бездны человеческой жизни в искусственно выровненную плоскость, из величественных гребней и провалов волн она делает едва ощутимую зыбь, из света и тени — однообразную серость. Короче, она создаёт смертную скуку.

01.08.03.

В Англии нет религии. Если заговорить о религии, люди начинают смеяться. Монтескьё, 1730.

06.09.03.

Высшие и низшие культуры.

Сравнение культур должно производиться по критериям, не зависящим от ценностей, потому что у разных культур разные ценности. Откуда взять такие критерии? Сразу же напрашивается простейший ответ: культуры вообще несравнимы, каждая из них — особый мир в себе. Эта позиция — *культурный релятивизм* — означает отказ от единства человечества и замену его отдельными видами, т. н. культурный изоляционизм, и от истории культуры, потому что нельзя сравнивать и этапы развития одной культуры. Таким образом, культурный релятивизм, провозглашающий равенство людей всех культур, есть нигилистический подход, отрицающий всякую проверку своего тезиса, поскольку без сравнения нельзя говорить о равенстве. Далее, культурный релятивизм видит каждую культуру в её статическом состоянии, не имея возможности говорить о её

развитии, потому что развитие есть последовательность от низших форм к высшим (или обратно).

Но если *надо* сравнивать культуры, *то есть* изучать их, потому что всякое изучение предполагает сравнение, то что значит сравнивать? Можно себе представить сравнение без "ранжирования", как эстетически сравнивают произведения искусства. но и в эстетике нельзя не замечать качественные различия, начальные и развитые фазы, расцвет и увядание. Можно ли говорить, что одна культура *в целом* **выше** или **ниже** другой, и что это может означать? Имеют ли смысл очень обычные представления, что "сталкиваются высшая культура с низшей", или "две высоких культуры"?

На Гавайских островах, на месте смерти капитана Кука, поставили два памятника, Джемсу Куку и вождю племени, убившему и, вероятно, съевшему Кука. Это образцовый подвиг культурного релятивизма. Кук был человек эпохи Просвещения, пытавшийся научить дикарей лучшим обычаям, отучить их от людоедства. Он весьма непрактично доставлял им домашний скот, полагая, что всё дело было в недостаточности белкового питания. Другая культура видела только эту проблему и решала её по-своему. Нельзя сказать, что первая культура была *выше* второй; но как же иначе передать разницу между ними? В Первой мировой Войне, на полях сражений, юноши двух самых развитых наций годами убивали друг друга, полагая, что сражаются за свою более высокую культуру. Можно ли сказать, что их понятия были совершенно бессмысленны? Или в этом случае было столкновение двух в самом деле *высоких* культур?

Книга Кеннета Кларка *Civilization* начинается с сопоставления двух скульптур — Аполлона Бельведерского и негритянского идола, исполненного с большим искусством примитивного божества. Автор не решается прямо сказать, что первая — это цивилизация, а вторая — варварство; но таково, несомненно, его намерение: ведь он хочет в своей книге объяснить, что такое цивилизация. Как же иначе объяснить это, если не сравнением? И дальше Кларк даёт понять, что одно искусство выше другого, одна культура выше другой. Не потому, что греки были выше негров, а потому что они были более развиты, прошли бóльший исторический путь, создали более сложную культуру. Кто знает, что суждено потомкам этих негров? Римляне нашли на Британских островах раскрашенных дикарей, не оставивших нам даже варварских произведений искусства. Какое будущее они могли предсказать их потомкам? Между тем, в Галлии другие кельты уже готовились стать римскими гражданами, после неравной борьбы. Можно ли сказать, что они,

усвоив латинский язык, примкнули к более высокой культуре?

Лоренц уверенно говорит о *более высоких культурах*, и просто о *высоких культурах*. Здесь два разных понятия; теперь я занимаюсь первым из них. Отказаться от сравнения культур по высоте было бы неразумным ограничением нашего познания. Если вспомнить аналогию с видами, то сравнение животных по высоте организации и поведения не вызывает у биологов сомнения, хотя и не является признанной частью науки. Аналогия приводит на память мысленный эксперимент Лоренца: что мы чувствуем, если пытаемся убить насекомое, мышь, щенка или шимпанзе? Ещё в XIX веке можно было бы спросить европейца, что он чувствовал бы, если бы ему предложили уничтожить деревню на Новой Гвинее, в Индии или в Англии? Нелепость этого вопроса в том, что он сталкивается с социальным инстинктом, его устраняющим: все мы один вид. Но всё же аналогия поучительна. Не вызывает низкий статус микроорганизмов, более высокий — многоклеточных беспозвоночных (но тут уже встречаются осьминоги), затем рыбы и т. д., вплоть до приматов. Ещё и сейчас встречаются учёные, отдающие первенство дельфинам, но, в общем, шкала видов совпадает с хронологической шкалой *эволюции*, выделяя млекопитающих. Я имею в виду пока шкалу, неопределённо подсказываемую нашим эстетическим (или этическим?) чувством.

Можно заметить также, что эта шкала хорошо согласуется с критерием *сложности*, т. е. с использованием теории информации. Любители беспозвоночных могут не видеть. Что мы (позвоночные) сложнее моллюсков. Очевидно, могут быть принципиально разные способы организации животных. Вероятно, некоторые из них уже заранее ограничивают их развитие. Насекомым, как объясняют биологи, не даёт расти их хитиновый "скелет". Не знаю, что мешает расти моллюскам — расти и в прямом, и в переносном смысле.

Другая аналогия — это гоминиды, трагически пытавшиеся стать людьми. Скорее всего, они истребили друг друга. Нет доказательств, что их "культуры" были сами по себе нежизнеспособны. Наш вид развился параллельно с неандертальским видом-близнецом, и наши предки этих близнецов победили и съели: те были не столь умны.

Здесь возникает ещё критерий *силы*, т. е. конкурентной способности. Обычные виды не конкурируют между собой, занимая разные ниши, но гоминиды не могли разминуться на Земле. Очевидно, культуры конкурируют между собой, вытесняют и истребляют друг друга.

Итак, перед нами возникает выбор критериев: *эволюционное развитие*, *сложность* и *сила*. Но есть и ещё один критерий сравнения. Если вернуться к первоначальным "эстетическим" и "этическим" чувствам, какие нам внушают виды животных, то можно спросить себя, не может ли быть некоторой доктрины, по которой одна культура оказывается "лучше" другой? Это, как может показаться, совсем уже неприличный вопрос. Но такая доктрина есть, и с ней надо считаться! Отложим пока этот "философский" критерий, и займёмся первыми тремя.

I. ***Эволюционное развитие***. Термин, конечно звучит нелепо. Но можно понять его следующим образом. Если культура A, развиваясь, превратилась в культуру B, или решающим образом повлияла на формирование культуры B, условимся считать, что B выше A. При этом мы сталкиваемся сразу с той трудностью, что культуры, подобно видам, могут иметь общих предков, но, как правило, не происходят друг от друга. Китайцы, культура которых не так уж стара (не более 1500 лет до н. э.), могли многое заимствовать с Ближнего востока, даже письменность, что вовсе не доказано; но их культура никак не происходит от какой-нибудь ближневосточной.

Другая трудность в том, что развитие одной и той же культуры может прийти в упадок. Рим Ромула Августула не был ничем выше Рима Августа, и даже Рима Ромула. И всё же *исторический* критерий имеет значение. Культура, прошедшая долгий путь, сменившая много фаз, кажется нам выше культуры, застывшей в повторении своей рутины. Культура испанских завоевателей Мексики была выше культуры ацтеков, с их культовым каннибализмом, или индейцев пуэбло, с их примитивным земледелием. Это не значит, что культура испанцев была "лучше", но она была более развитой, более сложной и, конечно, более сильной. Термин "исторический" критерий мы сохраним для дальнейшего.

II. ***Сложность***. С точки зрения теории информации, система B сложнее системы A, если описание (возможно более краткое описание) B длиннее описания A. Описание, в случае технических систем, должно быть в принципе достаточно для изготовления системы. Паровоз сложнее телеги, компьютер сложнее паровоза. Самой сложной механической системой, как утверждают, является машина для набивки папирос; но электронные устройства сложнее, потому что их описание включает много физики. Таким образом, сложность включает всё, что нужно было для создания системы: у австралийцев есть бумеранг, но нет теории бумерангов; у европей-

цев есть авиация и аэродинамика. Кроме того, австралийцы имеют мало изображений, каких не сделали европейцы, или их изображения проще. Эскимосы имеют пятьдесят слов для обозначения видов снега, но европейцы имеют в своих словарях куда больше слов для более разнообразных целей.

Для животных сложность организации и поведения оценить - труднее, чем для технических систем. Но трилобиты очевидным образом организованы проще современных пресмыкающихся, а реконструкции животных кембрийского периода очень напоминают механизмы; вирусы выглядят как машины. Биологи сравнивают органы сходного назначения и оценивают их “совершенство”.

Европейская культура несомненно создала больше *информации*, чем любая другая. Культуры без письменности не имеют средств для хранения информации, а потому — по критерию сложности — ниже двух (и только двух) культур, создавших письменность — ближневосточной и китайской. Китайская письменность отличается не сложностью, в смысле информации, а простотой, близостью к картинкам. Эта иероглифическая письменность, вероятно, фатальным образом остановила развитие китайской культуры.

Из “алфавитных” культур только две сохранили влияние до нашего времени: европейская (или Западная), и культура ислама. Теперь эта последняя пытается сопротивляться европейской, которая стала намного сложнее и сильнее. Нетрудно предвидеть, что, при всех её внутренних пороках и трудностях, европейская культура одержит верх.

III. ***Сила***. В отличие от видов, которые пожирают друг друга в виде питания, культуры конкурируют, поскольку используют одни и те же ресурсы. При столкновении более сильная культура может физически победить “более слабую” — истребить её, или поработить. Но “сила” в этом грубом смысле плохо вяжется с другими критериями превосходства культуры. Германцев победили римляне; кочевники не раз побеждали Китай. Военное превосходство может быть связано с особым, случайным преимуществом. Доряне победили ахейцев, потому что имели железное оружие. Кочевники побеждали европейских рыцарей, потому что имели лёгкую кавалерию и преимущество в стрельбе из лука.

Я предлагаю гораздо лучший способ измерять силу культуры. Культура B сильнее культуры A, если при их столкновении люди культуры A перенимают культуру B, но не наоборот (или перенимают больше, чем люди культуры B). например, китайцы ассимили-

ровали всех своих завоевателей, которые растворились в китайской культуре, теперь китайцы перенимают европейскую культуру; европейцы же почти ничего не перенимают у китайцев. Вообще, все существующие культуры при столкновении с европейской учатся у европейцев, впитывая их способы производства, подражая их образу жизни, имитируя их методы управления.

Если перейти к более узким культурам, то их проще всего сравнивать по "силе" их языков. Русский язык вытеснил все языки России и Советского Союза, кроме старых культурных языков — армянского и грузинского — и языков политически враждебных балтийских наций. Очень отчётливо русский язык вытеснял украинский, едва достигший статуса отдельного языка. О белорусском нечего и говорить. Французский язык вытесняет немецкий в Эльзасе и Лотарингии (хотя немцы, считающие себя французами!) сохраняют там свой диалект и стали двуязычны. Французский вытесняет фламандский в Бельгии: в эпоху битвы при Ватерлоо в Брюсселе говорили по-фламандски, теперь — говорят по-французски. Но в Канаде французский язык не вытесняет английский, хотя не происходит и обратное. В последнее время английский язык вытесняет *все* языки в области науки, техники, политики и экономики. Что всё это значит?

Перемена языка может означать либо ассимиляцию более слабой (более низкой) культуры более сильной (более высокой), либо возникновение новой синтетической культуры. Несомненно, первый случай был при ассимиляции китайцами азиатских кочевников, русскими — финских и тюркских племён; второй случай — при образовании новых европейских наций на развалинах Римской Империи.

Состязания языков Европы вовсе не означают, что одна из их культур выше другой: это пограничные явления, не задевающие культуру в целом. Иное дело — нынешняя гегемония английского, который стал уже языком международного общения. В этом смысле он оказался сильнее других европейских языков. Но это не означает превосходства английской культуры над другими культурами европейских наций. Это означает экономическое превосходство Соединённых Штатов. Если даже это временное явление, особое положение английского языка может утвердиться — как общего языка европейской культуры на некоторое время.

Влияние культур друг на друга можно сравнить с переходом тепловой энергии от более нагретого тела к менее нагретому. Высоту нагрева измеряет температура. Это объективный критерий: "теплота" переходит не от "лучшего" тела к "худшему". Если нет прямого

контакта между телами A и B, можно взять тело C, способное к взаимодействию с A и B; если при этом “теплота” идёт от B к C и от C к A, то B считается “более нагретым”, чем A.

IV. Критерии, какая культура “лучше”, может доставить лишь “внекультурная”, или “надкультурная” система ценностей. Такую систему ценностей, по моему убеждению, доставляет нам *гуманистическая философия*.

Может быть, слово “философия” вызовет недоумение, но я не умею придумать лучшего. Речь идёт о некотором взгляде на человека и общество, выработанном в Новое Время главным образом в Европе, но вобравшем в себя многое из других культур. В других культурах выработались аналогичные взгляды — или другие, так что гуманизм не всегда совпадает с их понятиями.

Главной ценностью философии гуманизма является *человеческая личность*. Это значит, что эта философия отвергает любой “коллективизм”, ориентированный на создание “совершенного общества”, “великого государства”, “общины праведников”, и т. е. и приносящей отдельного человека в жертву такому идеалу. Гуманистическая философия признаёт главной ценностью культуры *свободное развитие человека*, его развитие от простоты к сложности, от невежества к знанию, от подчинения к независимости. Ясно, что такое развитие человека неизбежно приводит его к сомнению в обычаях своей культуры и, тем самым, к диссидентской позиции по отношению к ней.

Поэтому гуманистическая философия совместима лишь к такой культурой, которая признаёт законным и естественным собственное изменение, то есть с *динамической* культурой. Единственной в истории динамической культурой является европейская, или западная культура, включившая “прогресс” в число своих основных ценностей. Статические культуры не одобряют свободное развитие человека. Отсюда ясно, почему гуманистическая философия развилась главным образом в европейской культуре. Это единственная культура, совместимая с человеческой свободой. А поскольку стремление к свободе вытекает из инстинктивных побуждений человека вообще, ясно, почему самые независимые личности любой культуры неудержимо влекутся у гуманистической философии, и тем самым к западной культуре, которая становится, у нас на глазах, *общечеловеческой* культурой.

Свободные люди, имеющие право существовать в динамической культуре, в благоприятных исторических условиях составляют *про-*

грессивные субкультуры, способные осуществить эпохальные изменения культуры.

Я привёл четыре различных критерия высоты культуры, прибавив, таким образом, следующий: *более высокой считается культура, в которой лучше соблюдаются принципы гуманистической философии.* Возникает вопрос, согласны ли между собой эти критерии. Первый критерий, как мы уже видели, применим лишь к сравнению разных фаз одной и той же культуры, или генетически связанных между собой культур. Но косвенно он согласуется с критерием сложности, поскольку эволюционное развитие означает обычно усложнение культуры. Напротив, явления культурного упадка всегда сопровождаются упрощением культуры. Далее, более сложные культуры — это те, которые испытали длительную, богатую событиями эволюцию.

Второй критерий (сложность) не всегда совпадает с третьим (силой). Но если понимать под силой культуры не её физическую победу, а к её способности к ассимиляции и изменению других культур, то превосходство более сложных культур не вызывает сомнений. В особенности это видно в случае европейской культуры, без сомнения, самой сложной и одновременно самой сильной.

Наконец, хотя и трудно определить, насколько "свободна" та или иная культура, можно предположить, что эволюция культуры в целом приводит ко всё большему освобождению человека, так что четвёртый критерий не противоречит первому. Во всяком случае, в истории более свободные культуры обычно оказывались сильнее. Это в особенности верно для западной культуры, при всех её слабостях.

09.09.03.

Модное теперь слово "глобализация" означает обычно всемирное распространение западной экономики. Но это лишь часть процесса распространения европейской культуры. Вслед за товарами идут способы производства и распределения, способы организации, а вместе с тем способы мышления и чувствования.

23.05.04.

Было много рассуждений о том, как средства вытесняют цели. Лоренц очень убедительно показывает, что роль такого средства в современном обществе выполняют *деньги.* Но деньги являются формой собственности и средством приобретения собственности. *Собственность* — самое важное средство в человеческой культуре. Вначале она нужна была для удовлетворения физических потребностей, потом для престижа, то есть для психического превосходства.

Целью являются всегда определённые эмоции.

Проблема человека в том, какие эмоции ему нужны, и как эти эмоции вызывать. “Честолюбие” и “тщеславие” — очень важные мотивы, выражающие ранговую иерархию человеческого общества. Я не знаю, есть ли безобидные формы удовлетворения этих потребностей. В детстве каждый ребёнок получает неизбежные фрустрации, сталкиваясь с более одарёнными детьми. Недостаток физической силы или красоты компенсируется интеллектом. Если нет никакой явной одарённости, ищут её суррогаты. Когда-то таким суррогатом была знатность, теперь же является собственность. Собственник внушает себе и другим, что всё можно купить за деньги. И вся его жизнь уходит на проверку этого предположения. Результат всегда отрицателен, но самая проверка превращается в привычку.

14.08.04.

Необходимое условие воспитания — уверенность воспитателя в своей культурной установке. Лишь при этом условии он может передать её детям. Воспитатель должен сознательно стремиться сделать ребёнка или юношу “похожим на себя”, человеком своего типа: это входит в самое определение *традиции*, и это всегда было бессознательной целью всех не сомневавшихся воспитателей. Нет ничего глупее позиции некоторых учителей, считающих недопустимым внушать детям свои понятия и предоставляющим им “самостоятельно” выбирать свои собственные. Это попросту означает, что такой учитель не уверен в своих идеалах и, следовательно, не годится в качестве передатчика традиции. В самом деле, генетическая программа человека, созданная эволюцией, примечательным образом неполна: в отличие от всех других животных, человек не может выжить за счет полученной им при рождении информации (включая генетически обусловленные подпрограммы поведения родителей, то есть “автоматическое” обучение, обусловленное инстинктом).

Известно, что *врождённая* генетическая информация человека недостаточна для его выживания; это выражают, говоря, что человек “недостаточное существо”. У человека выпали многие необходимые для выживания вида инстинкты: он “не знает” от рождения, как начинать половой акт, а женщина “не знает”, как перегрызть пуповину новорождённого, хотя все самки других млекопитающих это “знают”. Бесчисленное множество других выпавших инстинктивных “знаний” делают самое существование человека зависимым от культуры: открытые программы его инстинктов должны быть заполнены подпрограммами, созданными *его* культурой, той куль-

турой, в которой его воспитывают. Если этот процесс не происходит, новорождённый становится нежизнеспособным идиотом; если он расстраивается, он вырастает неполноценным человеком, не способным продолжить традицию культуры. Если естественные воспитатели ребёнка — его родители, заменяющие их лица и учителя — не выполняют своей функции, она переходит к случайным воспитателям, к школьным товарищам и уличным шайкам. Это важнейший механизм распада культуры! В таких случаях получается "средний" продукт, соответствующий достигнутому уровню этого распада — приводящий в недоумение и ужас незадачливых воспитателей.

Между тем, влияние семьи (и ближайшего окружения), как раз и "предусмотренное" эволюционной программой человека, может быть гораздо сильнее всех влияний "внешней" среды. Известно, что в тоталитарных государствах в семьях убеждённых антифашистов вырастали дети , получавшие прочный иммунитет от грязной пропаганды и коррупции. Условием этого была *бескомпромиссная* установка родителей, или людей, выполняющих родительские функции: воспитатели должны искренне, а не только на словах, *отвергать* окружающий их способ жизни. часто приходится слышать возражения против такого "черно-белого" подходя к окружающей действительности. Между тем, такой подход в воспитании *неизбежен.* Уже очень рано, обычно ещё до школы, ребёнок сталкивается с явлениями, требующими однозначной оценки: двусмысленность несовместима с психологией ребёнка! Нервная система и мышление человека построены на двузначной логике, последовательно отвечающей на вопросы "да" или "нет". Это свойство человека (а по существу и всех животных) влечёт за собой опасности "дихотомического" мышления и требует сознательной корректировки, которой и обучаются взрослые. Это обучение трудно, и недостаток его был источником бесчисленных научных и философских заблуждений. Способность видеть в явлениях природы и общества их разные стороны часто обозначается термином "мудрость". Но горе воспитателю, пытающемуся сделать из ребёнка маленького мудреца! Дети от рождения построены "дихотомически": на каждый занимающий их вопрос они хотят получить ответ в отчётливой форме, "да" или "нет", и в особенности о каждом поступке хотят знать, "хорошо" это или "плохо". Именно эти вопросы и ответы порождают ту "подсознательную совесть", которую Фрейд обозначил неуклюжим термином "супер-эго". Психологи справедливо считают, что образование этой этической основы человеческой психики завершается очень рано, до 5–6 лет, и что выпадение этой культурной программы не может быть компен-

сировано никакими усилиями в более позднем возрасте.

Результатом этого *первичного воспитания* является честный человек, и этот результат с незапамятных времён выражается изречением: *"Пусть твоё «да» будет «да», и пусть твоё «нет» будет «нет»"*.

Бескомпромиссное отвержение явлений культурного распада является условием формирования мыслящей элиты будущего. Воспитание в этом духе обеспечит ей наследственный характер, как это было во все эпохи рождения новой культуры. Нельзя смотреть с детьми телевизионные мерзости и надеяться воспитать из них приличных людей. Не говоря уже о большем!

14.08.04.

Джаз представляет собой свидетельство о бедности, которое "западная культура" выдала сама себе. Нам трудно судить, каким образом африканские негры выражали *свои* эмоции до знакомства с "белой" культурой. Может быть, они достигали этого ритмическим звучанием тамтамов. Но в Америке негры усвоили эмоции белых, и малокультурные негры отнеслись к ним с недоверием. Они стали пародировать сентиментальность своих "белых хозяев", глумливо искажая их музыку. Это глумление и есть джаз. Саксофон и другие средства джаза передают примитивное издевательство над эмоциями глубоко (подсознательно) ненавистных господ.

Но к тому времени, когда возник джаз, сами белые уже не принимали всерьёз свои чувства. Они сами с удовольствием глумились над чувствами своих отцов и матерей, и это стало их собственным, очень бедным и грязным эмоциональным складом. Отсюда популярность джаза.

15.08.04.

Так называемые "левые" в западных странах всегда боролись за "освобождение" от каких-нибудь норм своей культуры. Но в наше время "левые" уже не борются с социальным неравенством и вообще не имеют серьёзных идей, а затеи нынешнего "радикализма" сводятся к поддержке всевозможных форм извращённого поведения. "Свободное развитие" современного общества составляет положительную обратную связь, разрушающую культуру.

Задача мыслящей элиты должна прежде всего заключаться в *сохранении* культуры, то есть в сопротивлении процессам разрушения культуры. В этом смысле она будет, во всяком случае в первое время, *отрицательной* обратной связью, направленной против

"пермиссивности" нынешней культуры, и может навлечь на себя обвинение в "консерватизме".

Поскольку эта субкультура будет содействовать сохранению нашего вида, она станет представлять человеческий *социальный инстинкт.*

01.10.05.

Freud: "Humanity has always known that it possesses a spirit; it was my task to show that it has instincts as well"[1].

В разговоре. V. Frankl, *The Doctor and the Soul*, 2nd ed., p. XVIII.

---

[1] Человечество всегда знало, что обладает душой; моя задача состояла в том, чтобы показать, что у него есть ещё и инстинкты (англ.). — (*Прим. ред.*)

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС



Социальный вопрос

Стремление к социальной справедливости[1]

Я начинаю это сочинение, не задумываясь, какую форму оно может принять. Я знаю, какое содержание мне надо в него вложить. Таким образом, это будет собрание сырых материалов для дальнейшего использования. Недавно я написал (и даже, к собственному удивлению, смог опубликовать) книгу о социальном инстинкте у человека[2], и я не сомневаюсь, что мои мотивы — с которыми я приступаю к этому сочинению — инстинктивны. Вероятно, это всегда бывает, когда что-нибудь думают или пишут о человеческом обществе: исследование общества может стремиться к объективности, но не может быть бесстрастным. А страсти — это и есть человеческое выражение инстинктов. Таким образом, мне не надо стыдиться моих мотивов.

Главный из этих мотивов — стремление к социальной справедливости. В книге, которую я написал, я избегал прямой постановки вопроса, чтó в общественной жизни справедливо и чтó несправедливо. Это этический вопрос, то есть вопрос, относящийся к чувствам. Я занимался лишь исследованием конкретного явления — борьбы с асоциальным паразитизмом, то есть, в терминологии Маркса, классовой борьбы. Точно так же можно было бы заниматься историей религиозных войн, не имея никакой религии и не высказываясь в пользу определённой религии. В таком случае мне — неверующему — позиции обеих сторон были бы эмоционально чужды, а их цели смешны. В случае классовой борьбы дело обстоит иначе. Я не скрываю от себя (и даже от читателя), что мои симпатии на стороне бедных тружеников, а не их богатых и хитрых противников. Всё моё воспитание, вся моя жизнь выработали у меня эти чувства. Но в книге, которую я написал, я старался объективно описать историческую действительность и дать биологическое объяснение интересующим меня явлениям. Конечно, вовсе не всей истории!

---

[1]Этот и все последующие заголовки в тексте добавлены редактором. — (*Прим. ред.*)

[2]Имеется в виду книга “Инстинкт и социальное поведение”, ИД Сова, Новосибирск, 2005. — (*Прим. ред.*)

Но теперь я пишу нечто для самого себя, для уяснения своей позиции, и мне незачем уклоняться от эмоциональных оценок. Оценки эти относятся к буржуазному обществу, но не только к нему. Грубо говоря, я не люблю богатых. Это не значит, что я люблю бедных: как правило, они просто не дают себя любить. Я не могу внушить себе почтительное уважение к "народу", какое было у наших народников или у Мишле. Но я нахожу для бедных извинения и объяснения, смягчающие мои чувства к ним. Для богатых у меня тоже есть объяснения, но из них не получается никаких извинений. Богатые люди, составляющие теперь господствующий слой во всём мире, вызывают у меня чувство, близкое к ненависти.

Эта ненависть, как можно думать, не подобает философу. Но я не сомневаюсь, что без ненависти нет и любви, а есть просто эмоциональная вялость. Начиная читать чью-нибудь философию, я прежде всего спрашиваю себя: чего этот человек *хочет*. Потому что всякая философия — дитя желания. Я не буду оправдывать мою ненависть, а попробую её описать.

Однажды я смотрел по телевидению передачу известного комментатора Киселёва, посвящённую Норильску. Киселёв разыгрывал из себя независимого журналиста, но в этом случае выполнял заказ денежного дельца Потанина. Я видел город, принадлежащий одному человеку, где работают принадлежащие ему заводы. Я видел, как нагружают и отправляют за границу принадлежащие ему пароходы. И знал, что вся эта собственность захвачена этим человеком хитрым, преступным путём, благодаря его служебному положению в советском аппарате. Я знаю, каким образом наши комсомольские активисты — всякие Кириенки и Ходорковские — нажились в своих мнимых кооперативах. Но мне могут сказать: это и вправду жулики, и у нас теперь самые гадкие в мире богачи, разграбившие государственную собственность. В других странах — скажут мне — собственность приобретается законным путём и заслуживает уважения. Этим оправданиям я не верю.

Я видел богатые улицы Парижа, где живут — во Французской республике — те, которые "равны больше других", "свободны гораздо больше других", и нисколько не заботятся о своих менее удачливых "братьях". Я видел их роскошные дворцы и солидные, недоступные дома. Иногда я видел на их дверях таблички, что здесь живёт такой-то адвокат или инженер, но обычно их жилища были анонимны. Я видел длинные ряды магазинов, торгующих предметами роскоши — пустых, без единого покупателя, но, очевидно, не

разорительных для своих хозяев. Я видел их машины, их рестораны и кафе, куда простому человеку не войти. И я видел повсюду, особенно в метро, официальную пропаганду социалистов, которые были тогда — если можно так выразиться — "у власти". Их плакаты говорили о свободе, равенстве, братстве, о равноправии рас и наций, об интересах трудящихся. И всё это была ложь, потому что все могли видеть, кто хозяева Франции и кому служит эта пропаганда. Ещё раньше я был в Америке, но там, кажется, нет такой витрины богатства, как в Париже и Риме: там хозяева жизни благоразумно прячутся в своих охраняемых резиденциях, каждый отдельно. Я не мог бы даже проникнуть в особые кварталы, где они живут. Но я знал, что туда ходить нельзя. И что нельзя ходить в гетто для бедных!

Очень бедных, по-настоящему голодных — уже нет. Они где-то в Африке, в Азии, или в той другой Америке, которую называют Латинской. Однажды я должен был получить какую-то карточку в американском собесе. Там я увидел несколько десятков спокойных, упитанных, хорошо одетых безработных. Все они были чёрные, кроме одной белой девушки. На улице стояли их машины. Они оформляли свой уэлфер, с полным достоинством уважаемых бездельников. Этих я не любил. Но тех — запертых в резиденциях — я ненавидел. Американские историки раньше говорили, что в основе каждого большого состояния лежит преступление. Пусть небольшое — какие-нибудь манипуляции с тарифами. Но часто карьеру богача сопровождают загадочные смерти его конкурентов. Оставим эту тему.

Почему же я не люблю богатых? И так ли уж хорошо я их знаю? Могу ли я с уверенностью сказать, что это за люди? В Америке мне довелось встретиться с тремя или четырьмя миллионерами; впрочем, теперь это слово уже не означает особенно богатых людей, но всё же — людей, которым не приходится работать для выживания. Один из них был интеллигент, получивший по наследству и, по-видимому, не сохранивший значительное состояние. Он всё ещё поддерживал остатки былого великолепия — парк на берегу моря с большим домом, — и ему приходилось работать для поддержания этого имущества: он планировал рекламу табачных изделий. Этот человек показал мне полку с книгами, написанными его предками. Он был, конечно, глубоко несчастен. Другой богатый американец был внук разбогатевшего пианиста-виртуоза. Этот, сидя в своём парке, не зарабатывал деньги, а пытался сочинять музыку, то есть ничего не делал. Третий разорился, но ещё не должен был работать:

раньше он был миллионером, и у него был ещё собственный самолёт. Этого я только видел. Наконец, я говорил ещё с "фермером", хозяином яблочных садов с капиталом в пару миллионов долларов. Он нанимал убирать урожай всяких цветных эмигрантов. Этот тоже был с признаками декаданса: дочь его вышла замуж за эмигранта из России — естественно, неимущего, — и он пытался с этим примириться. Удачливых дельцов, активно наживающих состояния, я не видел. Может быть, таких дельцов не так уж много в наши дни: большинство собственников, по-видимому, уже деградировало до пассивного потребительства.

В России я видел мелких дельцов, потому что крупные дельцы у нас не общаются с интеллигентными людьми и, по-видимому, живут в боязливой изоляции. Мои собственные наблюдения подтверждают многое из того, что я прочёл в книгах, но, конечно, они скудны. Я отдаю себе отчёт в том, что мои представления о богатых людях получены, главным образом, посредством чтения и размышления: я теоретик. Точно так же я изучал физику, не делая своими руками экспериментов. Но физики-теоретики давно уже не занимаются в лабораториях; разделение труда приносит наилучшие результаты. Так что экспериментаторы уже плохо понимают физические теории, но просто работают под руководством теоретиков. Я понимаю слабость этого сравнения: есть теоретическая физика, но нет сколько-нибудь научной теоретической психологии или социологии. И всё же люди с хорошим знанием человеческого общества высказывались об интересующем меня предмете, который в будущем составит "социальную психологию", "историческую психологию" и т. д.; пока у нас есть лишь названия, но нет соответствующих наук. Вспомним, что слово "биология" ввёл Ламарк (ещё в 1802 году!), но биология как наука сводилась тогда к таксономии Линнея и неверным обобщениям самого Ламарка.

Литература и искусство как предтечи социальной и исторической психологии

Люди, занимавшиеся психологией человеческих типов — это прежде всего писатели, создавшие в Новое время замечательные жанры романа и новеллы; затем историки культуры, едва начинающие развивать науку, для которой уже придумали название "культурология"; наконец, экономисты, не входящие всерьёз в мотивы человеческого поведения и, по существу, видящие только производителя и потребителя, но не человека. Я не говорю о философах, или скажу о них в самом конце; а политических деятелей и вообще не

стоит принимать во внимание, так как они заранее знают всё, что хотят доказать.

Художественная литература — беллетристика — может показаться ненадёжным источником знания, но это лучший источник, какой у нас есть. Вообще искусство — лучшее средство познания человека. Можно, конечно, возразить, что художники субъективны и не обязательно умны. Но в самой природе искусства заложена подсознательная восприимчивость, в значительной мере независимая от мышления и мировоззрения художника. Несколько примеров этого явления я сейчас приведу.

Гоголь был весьма жалким человеком, мыслившим на уровне столоначальника, и в нравственном смысле крайне убогим. Его "Выбранные места из переписки с друзьями", опубликованные им после всех литературных триумфов, устраняют любые сомнения в его человеческих качествах: он был неумный и угодливый сторонник государственной власти и установленного строя. Его сатирические картины русской жизни были, несомненно, бессознательным продуктом наблюдательности и изобразительного дара. Он сам не понимал, что описал Россию, несовместимую с его сознательным взглядом на жизнь.

Лев Толстой был трагически неумный человек, всю жизнь пытавшийся соорудить себе особое нравоучительное христианство и не умевший жить по собственным правилам. Его философские рассуждения, обычно опускаемые читателями его романов, представляют жалкую картину беспомощного умствования над настоящим и прошлым. Мировая слава вконец испортила его и без того слабый характер, точно так же, как это произошло с Гоголем, погубленным славой российской. Но Толстой изобразил окружавшее его общество с неподражаемым искусством. Одно только "Воскресение" рассказывает о "царской России" больше всех учебников истории. Романы Толстого скучны, немыслимо растянуты и распадаются на отдельные, слабо связанные эпизоды, но каждый эпизод есть шедевр точного и безжалостного описания.

Бальзак, глубже всех понявший буржуазное общество, понял его совсем не критическим умом, а гениальной интуицией. Я не знаю, как это вообще возможно, но не сомневаюсь, что это бессознательный процесс. В жизни Бальзак был тривиальный честолюбец, тщеславный и неразборчивый в средствах, жадно стремившийся к деньгам и почестям, к титулам и титулованным дамам. Когда он высказывает свои собственные мысли, поражаешься их банальности: он сам разоблачает своё убожество картинами роскоши, изображаемой

с упоением и с жалкими подробностями. А в тех немногих случаях, когда он принимается философствовать, он объясняет нам, что пишет “при свете двух великих истин — монархии и религии”. Допустим, что это искреннее кредо. Но Бальзак нарисовал нам картину буржуазного общества, каким изображали его злейшие враги, и эти враги ссылались на него, как на “величайшего социолога” своего времени. Иногда интуитивная проницательность Бальзака кажется просто невероятной. В повести “Шагреневая кожа” есть нелепая на первый взгляд сцена, где герой приносит свою волшебную кожу учёному-механику, чтобы тот растянул её своим гидравлическим прессом. Но при этом механик читает герою повести небольшую лекцию, содержащую квинтэссенцию гносеологии того времени, то есть доктрину французской школы математической физики. Эти мысли Бальзак никак не мог придумать; он их слышал, и его интуиция позволила ему безошибочно передать услышанное. Перед нами чудо проницательности: Толстой не умел передавать мысли умных людей.

Одарённый талантом писатель, помимо своей воли и даже вопреки своему желанию, становится исследователем-психологом, достоверно передающим мотивы человеческих поступков и человеческие отношения. В этом смысле художественная литература — незаменимое свидетельство истории, уже прошедшей и проходящей перед нами. Что же говорит нам литература о богатстве и стремлении к богатству?

Я мог бы начать с Гомера, но тогда речь шла бы об архаических общественных отношениях, в которых право собственности слишком уж связывалось с грабежом. Герои “Илиады” присваивают себе доспехи побеждённого противника, как это было принято в то время. Но Гомер явно предпочитает мирное царство феакийцев, где нет никаких войн и, как можно предполагать, господствует племенной строй. Гесиод уже обличает, веком позже, неправедное приобретение богатства. А Данте, сын купеческого города, по-христиански презирает всякое стяжание. Перейдём к Новому времени и посмотрим, как относятся к обогащению более близкие к нам писатели.

Первую отчётливую реакцию на буржуазное “право собственности” мы находим у Шекспира — это Шейлок, венецианский купец, а вернее ростовщик. Шекспир (то есть граф Рэтленд) не только великий писатель, но и глубокий мыслитель, по-видимому, совершенно свободный от религии. Он обличает в Шейлоке стяжательство, безжалостную жажду обогащения, и притом независимо от религии, а с позиций гуманизма. Шекспир задаёт тон европейской литерату-

ре, для которой буржуа — это неизменно Шейлок, требующий от своих ближних причитающийся ему фунт мяса. Шекспир не любил этот мир насилия и скупости, он мечтал о волшебном освобождении, может быть о “буре”, открывающей путь к лучшему человечеству. Бальзак любил этот мир, наслаждался им — и описал его лучше всех. Он точнейшим образом описал, как достигается успех в этом мире. Каторжник Вотрен объясняет это наивному Люсьену — вы помните это объяснение? “Ты должен ворваться в мир, как пушечное ядро, или прокрасться в него, как чума”. Бальзак назвал своё исследование буржуазного мира “человеческой комедией”. Шейлока этой комедии зовут Гобсек; начинающие приобретатели (Растиньяки) и преуспевшие Нусингены составляют восхитительный ансамбль, а Париж, в котором копошится вся эта нечисть, можно видеть и сегодня — здания сохранились, а человеческие отношения несколько прикрыты видимостью республики.

Флобер и Мопассан, Диккенс и Теккерей, Келлер и Манн изображали буржуазное общество и его хозяина — буржуа — с неизменной уничтожающей оценкой. Я долго искал в мировой литературе симпатичный образ капиталиста, и не нашёл. Нельзя же, в самом деле, считать им Натана Мудрого, нравоучительную конструкцию, встроенную в эпоху крестовых походов, или самого Томаса Манна, переживающего в облике Тонио Крёгера собственную буржуазность? Все эти писатели были ведь и сами буржуа, но уж никак не капиталисты. В русской литературе только Гоголь попытался изобразить добродетельного откупщика, во втором томе “Мертвых душ”, но сжёг этот том, и, пожалуй, правильно сделал. Не сочтём же мы положительными героями дядюшку Адуева или Штольца? Гончарову очень хотелось нарисовать положительного дельца, но он не смог — только издали, в общем виде он воспел предприимчивость английских купцов, но не удержался и в том же дневнике путешествия описал оборотную сторону лондонского богатства. Такова уж судьба настоящего писателя: самый талант его состоит в том, чтобы говорить правду, даже если он Гончаров и служит в цензуре.

Историки более рассудочны, чем писатели, то есть не столь непосредственны в своих описаниях, и больше “политизированы”, то есть больше отражают определённую идеологию своего времени и класса. Но всё же историки всегда старались не искажать факты; по-

скольку они опирались на документы, расхождения между историками касались преимущественно истолкования этих фактов. Способы приобретения имущества, применяемые знатными людьми, вызывали негодование в Греции и Риме. Древние историки рассказали нам, как реформы Солона предотвратили революцию в Афинах, и каким образом римский плебс, под руководством Гракхов, добился некоторых уступок у патрициев. Конечно, у Геродота, Фукидида и Тита Ливия вы не найдёте сочувствия рабам, которых тогда не считали людьми; но история царя Мидаса с ослиными ушами повествует о временах, когда золото уже было, а денег ещё не было; а другой царь, Крёз, был уже с деньгами, и тоже плохо кончил. Ещё до всех историков Гесиод жаловался на лихоимцев и ростовщиков. А римские сатирики, например, Петроний, изобразили нажившихся жуликов. У римлян этот способ обогащения был не в чести: они были воины и одобряли грабёж.

Я не буду рассказывать, как относилась к богатству христианская церковь, и не стану ссылаться на непочтительные новеллы Возрождения. Христианство терпело богатство и брало дань с богатых, но относилось к ним, как к прокажённым. Между тем, буржуазия имела свою эпическую историю: она добивалась "равенства", то есть права откупаться за деньги от феодального произвола. О бедных не было речи: предполагалось, что бедные всегда должны быть бедными, и не интересовались, что они чувствуют и чего хотят. Великий историк Токвиль, увлечённый благородным стремлением к "равенству", вовсе не распространял его на тех, кто "не имел ничего" (ceux qui ne possedaient rien). Поразительно, что этот глубокий мыслитель, поднявшийся выше аристократических привилегий, то есть преодолевший, казалось бы, сословные предрассудки, в которых был воспитан, всё ещё почитает *собственность* как очевидную основу всего общественного порядка. Он не видит никакого другого связующего элемента в общественной жизни и безмерно удивляется, когда "четвёртое сословие" вдруг является на исторической сцене со своими понятиями и притязаниями, — удивляется, как будто заговорили бессловесные животные! Я не могу без такого же безмерного удивления читать, как этот глубокий мыслитель сокрушается, не видя на улицах Парижа привычных представителей власти, полицейских и чиновников, и надеется, что "судья вернётся на своё место" и вообще всё снова "придёт в порядок". И ему не стыдно быть на стороне жалкой власти, свойства которой он хорошо знал — не стыдно, потому что *любая* власть защищала его и других собственников от "тех, у кого ничего не было"! Понять

его я не могу, между нами русская революция. Кто теперь *уважает* право собственности? Все уже знают, что собственность — это воровство. Но г-н Абрамович этого не знает и говорит о миллиардах, которые он "заработал". (Конечно, я не говорю здесь о собственности, созданной личным трудом!)

Токвиль ничего не говорит о путях приобретения собственности и о свойствах, позволяющих её приобрести. Сам он получил свои земли в Нормандии по наследству, и такой, в сущности, незаслуженный способ становиться собственником его нисколько не смущает. Выступая на стороне буржуазии, он ничего не говорит о духовном облике буржуа; впрочем, парижские лавочники отталкивают его своей трусостью и мстительной жестокостью. Они — неблагородные собственники, но всё же "граждане", законопослушные члены общества, с которыми Токвиль может объясниться; социализм остаётся для него нелепостью. Но после 1848 года он задумывается, всегда ли это будет нелепостью, и признаётся, что собственность, *может быть*, сохраняется лишь потому, что "без неё не умеют обойтись".

Токвиль для меня — чужой. Я провожу разделительную линию иначе: между тем, кто работает, и тем, кто не работает. И Токвиль вовсе *не касается* вопроса о "социальной справедливости"! Он просто хочет сохранить привычный порядок, с полицейскими и судьями на своих местах. Как он жалок!

Другой историк буржуазного направления, можно сказать "певец либерализма" — Маколей. Он вовсе не великий историк, а искусный рассказчик, и, в отличие от Токвиля, буржуазного происхождения. Он видел в истории выдающихся людей, но описывал лишь национальные и религиозные конфликты. Вопрос о собственности у него не возникает: как и Токвиль, он принимает собственность как очевидную основу гражданского общества. И, конечно, мы не находим у него никакой попытки объяснить процесс обогащения и психологию богатых людей.

По-видимому, первым историком, обратившим внимание на "тех, кто ничего не имел", был Жюль Мишле, сын рабочего. Он видел, что буржуазия происходит из простого народа, и у него мы впервые встречаем описание этого явления и психологическую характеристику буржуа. ("Народ", стр. 91–92)[1].

Впрочем, Мишле видит в буржуа нечто вроде разбогатевшего

[1]Страницы автор указал по изданию: Мишле Ж. Народ. Наука, М., 1965. — (*Прим. ред.*)

крестьянина и не проводит отчётливой экономической и политической границы между буржуа и народом. Для него враг — это аристократия и духовенство, а буржуазия — просто выродившийся народный тип.

Великая заслуга социального диагноза буржуазии принадлежит, конечно, Марксу. После Маркса смешение богатых и бедных в одно "третье сословие", как это делали либеральные доктринёры начала XIX века, или в категорию "industriels", как это делал Сен-Симон, становится невозможным. Конечно, Маркс провёл социальную границу не без эмоций, но в делах человеческих никогда не обходится без эмоций.

К середине XX века классовая ненависть затихла, буржуа научились подкармливать своих подчинённых, а историки, заслуживающие этого имени (и уже, конечно, не "марксисты") подвергли явление капитализма холодному анализу. Передо мной лежит трёхтомная история капитализма Фернана Броделя, к сожалению, в русском переводе[1]. Перевод, впрочем, не так уж плох, но иллюстрации, как всегда у нас, воспроизведены плохо, — а в этой книге они важны. Бродель не афиширует свои чувства, но объясняет свой предмет безжалостно. Вот фраза из предисловия ко второму тому (стр. 6):

"Встречающиеся на определённых уровнях правила рыночной экономики, какими их описывает классическая экономическая наука, намного реже действовали в своём обличье свободной конкуренции в верхней зоне — зоне расчётов и спекуляции. Там начиналась «теневая зона», сумрак, зона деятельности посвящённых, которая, я считаю, и лежит в основе того, что можно понимать под словом «капитализм». А последний — это накопление могущества (он строит обмен на соотношении силы в такой же и даже большей мере, нежели на взаимности потребителей), это социальный паразитизм, является он неизбежным или нет".

Бродель редко позволяет себе столь откровенный язык. Но этот том называется "Игры обмена", и на обложке его воспроизведена знаменитая картина Квентина Метсиса с банкиром, считающим золото, и его скучающей женой. А в начале третьего тома Бродель ссылается на неизбежное проникновение "исторического материализма". За историей стоит великий социальный факт — присвоение чужого труда, и после всех поисков историки вынуждены всё-таки согласиться, что "собственность есть воровство". Остаётся решить,

[1]Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. В трёх томах, М., Прогресс, 1986–1992. — (*Прим. ред.*)

как выражается Бродель, “неизбежен этот паразитизм или нет”. Поистине это вопрос вопросов.

Посмотрим, что говорят о собственности философы. Пифагор, может быть, уже собирался решить социальный вопрос — около 500 года до нашей эры; пифагорейцы захватили власть в нескольких городах Южной Италии, но мы не знаем, что они там делали. Скорее всего, это была утопия. Платон уже несомненно был утопистом: он проектировал идеальное государство, где не было места крупной собственности, да и вообще никакой частной собственности, а всё хозяйство управлялось правителями — мудрецами. Это замечательное свободомыслие, потому что Платон был аристократ из древнего рода, но вовсе не консерватор в обычном смысле слова. Я его не выношу, но он не уважал частной собственности. Даже Аристотель, самый мещанский из философов, опасался власти богатства и одобрял реформы Солона. Христианские философы тем более опасались её, поскольку она опасна для спасения души. Таким образом, до Нового времени философия не поддерживала собственность.

Но что такое вообще “философия”? Рассел говорит по этому поводу (стр. 269[1]):

“То, что принято называть «философией», состоит из двух совершенно различных элементов. С одной стороны, есть вопросы научного или логического характера, и их трактовка подвержена методам, относительно которых имеется общее согласие. С другой стороны, есть такие вопросы, которые представляют страстный интерес для большого числа людей и нет солидных оснований для того или иного их решения. Среди таких вопросов есть практические, от решения которых невозможно уклониться. Когда идёт война, я должен защищать мою собственную страну или войти в болезненный конфликт с друзьями и властями. Во многих случаях не было среднего пути между поддержкой и отрицанием официальной религии. По тем или иным причинам мы не находим возможным сохранять скептическую отстранённость по отношению ко многим проблемам, о которых молчит чистый разум. «Философия», в самом обычном смысле этого слова, есть органическое целое, состоящее из таких, не поддающихся рациональному рассмотрению решений. Именно в

---

[1]Цитируется по изданию: Рассел Б. История западной философии, том 2. Издательство Новосибирского университета, 1994. — (*Прим. ред.*)

отношении «философии», в этом смысле слова, положения Маркса по большому счету верны. Но даже в этом смысле философию определяют и другие социальные причины — в той же мере, как экономические". И дальше:

"Он (Маркс) утверждал, что в развитом индустриальном обществе единственной альтернативой частной собственности капиталистов является собственность на землю и капитал Государства. Ни одно из этих положений к философии не относится, и следовательно, я (Рассел) не оцениваю истинность или ложность их".

Таким образом, Рассел проводит отчётливую границу, исключающую из "философии" социальные вопросы. Это суждение безусловно не относится к средневековой философии, как видно хотя бы из Фомы Аквинского. Но для новой философии, начинающейся с Декарта, оно, пожалуй, справедливо — если считать, что Маркс (и сам Рассел!) занимались социальными вопросами "не в качестве философов". В самом деле, профессиональные философы Нового времени могли заниматься "онтологией" и "этикой", относящимися к "человеку вообще", но вникать в общественное положение отдельного человека им не полагалось: когда философия выделилась из теологии, все социальные заботы были оставлены на попечение религии. Всё это не очень вяжется с подразумеваемым представлением о философе как о мудром человеке, не чуждом никакой стороне человеческой жизни. Это представление и до сих пор связывается с философской профессией, как будто мы проживаем в древних Афинах. Впрочем, уже там началось разделение труда.

Рассел не строит себе иллюзий на этот счёт. В другом месте он замечает, что "историку философии чаще приходится заниматься не профессиональными философами, а любителями". Но такое сужение смысла "философии" означает, что философские журналы упорно занимаются не своим делом. Впрочем, сами философы считают "этику" частью своего предмета. Они примирились с тем, что "социальные науки" ушли из философии — вероятно, они легко расстались с эстетикой и всё ещё не могут расстаться с психологией; они никак не умеют понять, что "гносеология" становится отдельной биологической наукой; и, конечно, они не могут расстаться с "этикой", поскольку испокон веку философы учили, что такое хорошее и дурное поведение. Но "этика" философов, заимствованная из общепринятых кодексов поведения их культуры, всегда была абстрактна в наихудшем смысле слова, то есть отвлекалась от условий, в которых проявлялось человеческое поведение,

— за очень редкими исключениями. Платон, Макиавелли и Ницше (а также Экзюпери!) имели этические предпочтения, то есть предлагали разную этику для разных людей. Но большинство философов, от Канта до Швейцера, имело единственную этику для всех (заимствованную у христианства).

Впрочем, даже этически ангажированные философы не замечали социального вопроса. Складывается впечатление, что "четвёртое сословие" просто было вне поля зрения мыслителей, подобно тому, как дождевые черви, создающие почву, не беспокоили агрономов. Почва была, и всё тут! Открытие Токвиля в 1848 году было в самом деле обнаружением "нового" общественного слоя. Но Лабрюйер видел его в XVII веке! А художники вечно изображали нищих, от мальчишек Мурильо до нищих философов Манэ!

"Пролетариат" был открыт мыслителями XIX века, когда наёмный труд на крупных капиталистических предприятиях заменил средневековое разнообразие мелких собственников и ремесленников. И несомненно первым "философом", понявшим значение пролетариата, был Маркс. Но если нас интересует явление социального (или асоциального!) паразитизма, то мы обнаруживаем его задолго до капитализма, в Шумере и Египте, или в самом начале возникновения *частной собственности.* Известное изречение Руссо, сваливающее все бедствия на того, кто огородил участок земли и сказал: "Это моё", кажется очень метким и революционным, хотя он не решается посягнуть на собственность в наше время. С другой стороны, присвоение собственности означало выделение индивида из племени, то есть начало *человеческой личности.* Таким образом, все следствия собственности были платой за общественный прогресс. Эти следствия, вполне устраивавшие либеральных мыслителей, но ужаснувшие Руссо, представляются нам столь отвратительными из-за социального неравенства, то есть из-за *нарушения социального инстинкта.*

Разные способы иерархической организации общества

Христианство выразило протест против социальной несправедливости столь категорическим образом, что *никто* из теологов не мог от этого уйти. Ещё Локк, который был вовсе не теолог, но искренний христианин, полагал, что никто не должен владеть бóльшим участком земли, чем может обработать со своей семьёй. Он забывает об этом — поразительным образом — каждый раз, когда речь заходит о современном обществе. Можно представить себе, как бы он ответил на вопрос по этому поводу. Он указал бы на разли-

чие между идеалом и действительностью: Нагорная проповедь явно превосходила человеческие возможности и предназначалась для святых. Юм уже был неверующий циник, не видевший в социальном неравенстве ничего страшного. Его *Essays* в самом деле выражали его взгляды, и Кант был умеренный либерал, Поппер тоже. Гносеология не делает человека энтузиастом.

Мыслящий человек может не думать о том, о чём его не учили думать. Равновесие его понятий может быть нарушено лишь необычными отклонениями от привычных условий. Лютер не мог отмахнуться от социального вопроса перед лицом крестьянской войны, но вообще это было *не его дело*, хотя он был теолог.

Древнейшие религии — шумерская, египетская — освящали власть царя и иерархическую структуру общества. Еврейская религия сложилась у племени, отстававшего в развитии государства (Самуил) и застрявшего в племенном строе. Власть жрецов выразила это настроение. Именно в таком отсталом обществе было сделано открытие монотеизма. Еврейские пророки открыли социальный вопрос, то есть заметили и выразили фрустрацию социального инстинкта социальным неравенством. Христианство впитало этот мотив и дало идеологию всем классовым конфликтам до Маркса.

Частная собственность — лишь частный случай иерархической организации. Всё дело в иерархии, и можно подумать, что все живые системы иерархически организованы. В дереве такого устройства не видно, но есть закон Парето для распределения ресурсов. Дерево не состоит из индивидов, способных к самостоятельному существованию. Муравейник и пчелиный улей — тоже. В стаде высших животных всегда есть иерархия, но непременно связанная с функциями. Здесь *нет паразитизма.* Привилегии вожака стада связаны с его обязанностями и утрачиваются вместе с ними.

Сословное устройство общества у людей — это абстракция функциональной специализации. Пока его происхождение помнят, у привилегированных нет ещё ощущения паразитизма. Токвиль вряд ли ощущал себя военачальником племени, но не стыдился ещё своего дворянского происхождения. И он уже понимал притязания буржуазии и даже мог ей сочувствовать. Он не мог понять, что притязания есть и у тех, *у кого ничего нет.* По-видимому, владение собственностью имело для него важное значение: определяло понятие "гражданина". Это очень интересное различение. У кого есть имущество, тому есть что защищать: у него есть *интересы*, а общность интересов создаёт общество. Но есть ли интересы у "четвёртого сословия"? У кого есть только рабочая сила, тот зависит от работодателя в

своих средствах существования, и в его положении ничего не может измениться: он ничего не приобретает и ничего не теряет. Он — не гражданин, а нечто вроде рабочего скота. Правда, из него может получиться буржуазия, и таким образом даже возникла буржуазия. Он — разумное существо, и в 1848 году Токвиль это осознал. Всё же удивительно, что он этого не знал раньше! А впоследствии Тэн упрекал господ в том, что они не стеснялись рассуждать в присутствии слуг, “как будто те не понимают их языка”. Он всё ещё воображал, что можно сохранять сословные барьеры.

Но барьер, отделявший дворянина, имел наследственный характер и прочно укоренился в культуре. Французские крестьяне вспоминали, что́ было “до того, как пришли дворяне с королём Франком”. Буржуа не имели такой культурной изоляции. Разбогатевший человек не казался *лучше* других; больше того, можно было заметить, каким образом приобретается богатство. Богатство не было “благородно”. Токвиль, описывая американское общество, заметил, что в Соединённых Штатах не образуется правящий класс, напоминающий аристократию, и связал это с отсутствием у денежных людей традиции “избранности”: буржуа не считают себя “лучше” других людей, а претендуют всего лишь на бо́льшую *ловкость*. Джон Рокфеллер старший (основатель семейного клана) ударился однажды в поучительный тон и объяснил людям, пожелавшим его слушать, что “прекрасную розу” можно вырастить лишь безжалостно обрывая все неудачные побеги. По-видимому, он рассматривал своё семейство как выращенный им цветник. Но история этого нефтяного рода не представляет ровно ничего прекрасного. Старый жулик прибегнул к одной из дешёвых аллегорий.

Конечно, *американская* буржуазия оказалась, как и предвидел Токвиль, культурно бедной. В Америке были сделаны изобретения и научные открытия, но там не было ни большой литературы, ни большого искусства. Более глубокие достижения американцы могли заимствовать у Европы. Но в Европе почти всё культурное развитие зависело от “мелкой” буржуазии, то есть попросту от людей с некоторым досугом и образованием. Роль аристократов была небольшой. Если бы не Рэтленд-Шекспир, можно было бы сказать ещё резче. Большие капиталисты имели культурные интересы редко — и только в раннее время. Впрочем, Лоренцо Великолепный был главным образом меценатом. Можно сказать, что буржуазия создала *почву* для европейской культуры. Но в “отсталых” странах — в Германии, Австро-Венгрии, России — меценатами были государи, аристократы, правительства. Буржуазия, особенно в России, не

занималась меценатством. Правильнее предполагать, что сама буржуазия была побочным продуктом "прогресса", исторического явления, которое мы плохо понимаем. Буржуазия была не "двигателем прогресса" (хотя и боролась с феодализмом в своих интересах), а одной из сторон этого прогресса. До этого одной из сторон прогресса был паразитизм аристократии. Вообще, можно спросить: почему так неизменно был паразитизм? Биологическая параллель с хищниками (любезная сердцу некоторых паразитов) неверна: хищник тяжело работает для своего выживания, или его вид вырождается. Эволюция не терпит бездельников. Если наш вид их терпит, а теперь и вовсе хочет превратиться в бездельников, то он обречён. Существо, которому для выживания достаточно нажимать на кнопки, должно вымереть. Элои из "Машины времени" — изящные идиоты (вернее, изображена одна идиотка); изящество не даётся даром, это результат трудного отбора, хотя на конечной стадии может явиться несколько поколений изящных бездельников. Джентльменом быть трудно, красавицей тоже. Изящные элои должны были быть съедены задолго до того, как стали изящны.

Буржуа викторианской эпохи был хорошо приспособлен для борьбы за существование, какой она была в то время. В эту приспособленность входила вера в свою миссию и спокойная совесть. В наши дни миссия исчезла, а совесть не действует. И нет изящных элоев. Есть грязное мещанство. Экономический крах должен возникнуть неизбежно, но скорее всего это будет не крах стимулируемого производства, а конфликт с "жёлтой" цивилизацией. Не обязательно военный конфликт: воевать никто уже не хочет.

Не знаю, заметил ли кто-нибудь после Токвиля слабость американского общества, которая всегда считалась его сильной стороной: отсутствие в нём наследственной элиты, то есть сословий. Ясно, что в Америке не было аристократии и не сложилась господствующая церковь. Очевидно, это было предпосылкой демократии — первой радикальной демократии на свете, в чём и состоит значение Соединённых Штатов. Но это преимущество имело и свою слабую сторону. Можно спросить: неужели эта страна лишилась чего-то важного, развиваясь без дворянства и духовенства? Роль аристократии можно понять. Аристократы были первыми в Европе свободными людьми, и явление "джентльмена" заслуживает внимания; это и заметил Токвиль. Труднее понять, почему нужно жалеть о епископах и богословах. Духовенство старого типа поддерживало религию и было важной силой общественной связи. Помню шествие в Риме на папскую церемонию. Обязательная религия есть

канонически закреплённая стадность. Заменяет ли её вера в американскую конституцию? В общем, привилегированные сословия имели свою ценность. Вспомним понятие дворянской чести. Прапорщик Лизогуб вспоминал, что присягал на верность Временному правительству и что дворянская честь не позволила ему сбежать из Зимнего дворца. Можно ли жалеть о дуэлях, о честном слове, о присягах и сословной солидарности? Не потеряно ли, вместе со всем этим, нечто важное? Американскому обществу — обществу плебеев — недостаёт иерархии. Нужна новая аристократия — аристократия духа.

В общем, то, что обличали социалисты — паразитизм собственников — связано с усложнением общественной *организации.* Нынешняя форма этой организации есть государство. Прежде всего надо решить, нужно ли государство и какое государство в самом деле нужно. Усложнение жизни неизбежно, если возник однажды человек. Упрощение сложной организации означает лишь удаление лишних деталей, при сохранении всей сложности доставшейся дорогой ценой организации в оставшейся изощрённой конструкции; иначе упрощение есть попросту разложение. Нынешнее государство выполняет ряд незаменимых функций, без которых человеческая жизнь — для живущих теперь людей — была бы невозможной. Более того, сложная жизнь, именуемая цивилизацией, предполагает эти регулирующие функции. Я перечислю некоторые из них. (а) Согласование механизмов цивилизации, начиная с часов и правил уличного движения. (б) Минимальная медицинская безопасность. (в) Минимальная личная безопасность. (г) Минимальная экологическая безопасность. (д) Охрана детей и их очеловечение. Как всегда, обнаруживается, что неизбежность таких функций порождает паразитизм. Те, кто стали незаменимы, вымогают за свои функции непомерную цену.

В сущности, эти функции государства никто никогда не оспаривал. В современном мире, где всё связано и где нарушение этих функций особенно опасно, поддержание их требует централизации в масштабах всей планеты. Возникает, естественно, мысль о всемирном правительстве — и тут же кошмар вездесущей бюрократии. Иначе говоря, вопрос состоит в разграничении и разделении функций. Общие принципы — которые должны стать всеобщими — должны быть совместимы с местными традициями и даже не мешать их (умеренному) развитию. Этот процесс иллюстрирует-

ся опытом Швейцарии, Соединённых Штатов и других неоднородных государств (Бельгия, Канада), где, впрочем, неоднородность не слишком велика. Объединённая Европа будет следующим шагом.

Что касается бюрократии, то британские чиновники в Индии в течение ста лет были поучительным примером. Киплинг изобразил это явление с *их* позиции, то есть с сохранением сегрегации. Но "бремя белого человека" — *не только* проявление лицемерного расизма, но и нечто большее. Это бремя цивилизованного человека — очень нужное и недооцениваемое требование к необходимой элите нашего мира.

Аристократия духа

Из кого может сложиться эта элита? Это должна быть *аристократия духа*, в отличие от старой сословной аристократии не требующая для себя никаких привилегий, а объединённая чувством своего долга перед человечеством. Конечно, речь идёт о самых способных. С тех пор, как места вождей начали занимать по наследству случайные люди или захватывать узурпаторы, самые способные занимались наукой, техникой и искусством, а ещё раньше — религией, соединявшей все три перечисленных вида деятельности. Впоследствии, в период возникновения государств, обществу потребовались *специалисты* — люди, умеющие особенно искусно делать некоторые вещи или наблюдать за явлениями природы. Они передавали свои навыки из поколения в поколение, и из них выработались художники, артисты, техники и учёные. Конечно, вначале некоторые функции специалистов составляли привилегию вождей и жрецов. Но уже в Греции и Риме были профессиональные литераторы, актёры, музыканты, скульпторы, учителя, юристы, а потом и учёные. В Средние века этих специалистов было меньше, но совсем обойтись без них нельзя было. Наконец, в Новое время их стало много больше, и без инженеров и учёных уже нельзя представить себе современную цивилизацию. Может ли она обойтись без литературы и искусства — другой вопрос.

Итак, мы попытались описать группу *людей умственного труда*, до сих пор, по-видимому, даже не имеющую названия. Можно понять, почему эта группа никогда не выступала в истории как одно целое. Общий интерес её может состоять лишь *в защите культуры*; но эту задачу в течение тысячелетий выполняли вожди и жрецы, тогда как "мыслящие люди" скорее имели противоположную функцию — разрушения культуры, неизбежного в ходе её эволюции. Если искать, кто соответствует в истории культуры "остеобластам" и "остео-

кластам" Лоренцевой метафоры, то первым отвечают официальные хранители существующего строя (правда, без особенных творческих качеств), а вторым — как раз неоднородные и не имеющие общего названия члены описанной группы.

Впрочем, часть этой группы, пожалуй, составляют "охранители", союзники вождей и жрецов своей культуры. Их произведения чаще сохранялись. Поэтому из древних философов мы лучше всего знаем "консерватора" Аристотеля и "ретрограда" Платона, идейные противники которых забыты; но в греческой литературе охранительной тенденции Эсхила явно противостоит "прогрессивная" линия Еврипида. В Средние века правоверию Фомы Аквинского противоположна полемика Абеляра. Но, примечательным образом, в Новое время, когда значение "группы умственного труда" неизмеримо возросло, охранительные тенденции в ней становятся гораздо слабее прогрессивных. В Англии можно указать Карлейля и Киплинга, в Германии — Ницше; но почти все значительные представители мыслящей элиты оказываются на стороне прогресса (или, на языке Нового времени, на "левой" стороне). Николай Васильевич Шелгунов, обобщив понятие *интеллигенции* за пределы России, вовсе не думал о любителях прошлого и защитниках старых традиций. Его определение относилось несомненно к описанной выше группе, и я с гордостью вижу в нём своего предшественника. Как мне кажется, русское слово "интеллигенция", перешедшее в европейские языки, хорошо обозначает эту будущую элиту.

Но, конечно, Шелгунов, и вообще русские интеллигенты, с негодованием отвергли бы "охранительную" часть интеллигенции. Когда герой Андреева отвергает самого модного в его время западного мыслителя, Ницше, он делает это в презрительной, как будто парадоксальной форме: "Мещанин ваш Фридрих Ницше!" В действительности это вовсе не парадокс, а точная констатация *декаданса*. Декаденты *были* мещанами, и выражали они — пусть в утонченных ещё формах — тоску буржуа по уходящей старой жизни, по тому укладу жизни, который в России называли "мещанским". Лизавета Ивановна объясняет Тонио Крёгеру, что он "буржуа" ("Bürger"), и тот — воплощающий самого Томаса Манна — понимает это. Вообще говоря, декаденты этого не понимали и обиделись бы на подобное унижение.

Впрочем, задолго до декаданса буржуазной культуры её "остеобласты" не имели никаких разрушительных тенденций по отношению к *своему* общественному строю. "Гуманисты" и "рационалисты" были разрушители средневековой жизни, но никак не революционеры

по своей психической установке. Первые учёные (и вообще европейские учёные) не сознавали своей разрушительной функции. Галилей был в дружеских отношениях с римским папой и не подвергся бы преследованиям, если бы не поссорился с иезуитами. Бэкон (если его считать учёным, а не только философом) был лояльнейшим придворным. Декарт, при всей радикальности своей философии, всегда оставался верующим и усердно доказывал бытие божие и бессмертие души, а в светской жизни никогда не ссорился с властями. Ньютон, представлявший в парламенте Кембриджский университет, взял слово только один раз, предложив открыть форточку, и тщательно скрывал своё унитарианство. Даже в XIX веке учёные были, как правило, верующие (Пастер был католик, Фарадей — методист) и в своей светской жизни обычно оставались респектабельными буржуа. Примечательно, что учёные не проявляли интереса к общественной жизни и, за редкими исключениями, были просто платными служащими государственных или частных учреждений, безразличными к политическим событиям и сопровождавшей их перемене властей. В ещё большей мере это относится к техническим специалистам, к изобретателям, которые нередко сами превращались в капиталистов.

Философы, всё ещё сохранявшие значительное влияние на общество, были почти все консерваторы или либеральные буржуа. Локк и Юм, Кант и Гегель никогда не бунтовали против установленных порядков. Исключениями были Фейербах и Маркс, но это были яркие "разрушители", которых русские интеллигенты, несомненно, считали "своими". Впрочем, такие бунтари имели у профессиональных философов не самый высокий престиж.

Люди искусства оставались, в общественном смысле, наёмными ремесленниками, хотя их искания часто расходились со вкусами их заказчиков. Некоторые из них видят мир, как Хогарт или Домье, или догадываются о происходящем, как Делакруа; но главное направление искусства — импрессионизм — остаётся невозмутимо буржуазным и вместе с буржуазией безмятежно впадает в декаданс. Символом искусства XX века становится предприимчивый Пикассо, а подлинных революционеров надо искать среди немецких и мексиканских экспрессионистов.

Из всех людей умственного труда на стороне человечества выступают только писатели. По самой природе своего искусства они не могут сохранять равнодушие перед злом и страданием, а если это искусство достаточно глубоко, не могут не искать причины человеческих бедствий. Словесная форма литературы не позволя-

ет писателям описывать явления, не называя их, как это делали Рембрандт и Ван Гог. Но назвать несколько слоёв жизненных явлений значит уже обличить всё происходящее. Религия была при этом главным препятствием, потому что нельзя было осуждать волю богов. Но Гомер, должным образом изобразивший ужасы войны для своих варваров-слушателей, описал в другой поэме идеальный мир без войн, возможный, правда, лишь по особой милости божества. А Гесиод знал уже, как выросло зло в этом мире, и объяснил его порочностью людей. Данте уже считал своим долгом наказание виновных и поместил их в надлежащие места своего ада. Шекспир — может быть, первый настоящий атеист — описывал людей и их дела такими, как они есть, а в сонетах объяснил, что он обо всём этом думает.

Даже те из писателей, которые выражали свою приверженность существующему строю, в своих сочинениях говорили о нём безжалостную правду — если только у них был талант. Бальзак был, по его словам, убеждённый монархист, как и наш Гоголь, но посмотрите, как они изобразили известные им монархии. Можно сказать, что с древности до наших дней художественная литература обличает и осуждает человеческое общество, и это явление нуждается в объяснении. Возникает вопрос, как относятся к обществу другие умные и талантливые люди, не обязанные об этом говорить. Даже литераторам эта отрицательная позиция невыгодна, потому что большинство читателей не любит, когда чтение их огорчает. Это второе тоже заслуживает внимания.

Художники не всегда выражают свои мысли словами — ведь у них есть для этого средства искусства. Рембрандт не оставил никаких словесных документов, но его портреты и гравюры на библейские темы дают достаточно материала для суждения. Микеланджело, наделённый ещё и поэтическим даром, выразил своё отношение к миру стихами, а робкий и осторожный Леонардо вёл для себя дневники, проникнутые спокойным пессимизмом. У него не было иллюзий. Пожалуй, в истории искусства преобладали всё-таки конформисты, искусные мастера, угождавшие вкусу своих заказчиков. Таковы были художники барокко, Рубенс и Бернини, и несомненно, французские импрессионисты вне своей мастерской были заурядные буржуа. Но в это же время жил подлинно гениальный художник Ван Гог, оставивший нам свои письма и дневники. Импрессионисты интересовались внешним видом этого мира, но Ван Гог раскрывал его человеческое содержание. Люди искусства часто возмущались против человеческого общества.

Учёные, как мы уже видели, возмущались редко. Может быть, здесь проявлялось различное материальное положение: учёный занимает постоянное место в своём университете и имеет, таким образом, один источник дохода, тогда как художник или писатель работает для разных заказчиков и, тем самым, меньше связан с определённым учреждением. Но, как мне кажется, главное различие не в этом. Учёный-естествоиспытатель имеет дело с нечеловеческой природой, сосредоточен на общественно нейтральном предмете, и ему удобно считать условия общественной жизни заданными и неизменными, общаясь лишь с ограниченным кругом людей того же положения. Тем более интересно, что в XX веке самые выдающиеся учёные вышли из этой нейтральной позиции и активно вмешались в дела человеческого общества. По-видимому, это связано с угрозой тоталитарных систем и атомного оружия, но психологический сдвиг в миропонимании и поведении произошёл у наиболее одарённых творцов современной науки. Особенно замечательна общественная деятельность Эйнштейна, в течение всей жизни последовательно стоявшего на позиции гуманизма и боровшегося со всеми видами угнетения и унижения человека — от немецкого милитаризма и фашизма до советского и американского. Столь же активной была общественная жизнь Рассела — величайшего логика и философа XX века. Даже консервативно настроенные учёные, такие, как Гильберт и Планк, воспитанные в немецкой академической традиции, осознали опасность фашизма, а Бор, отец атомной физики, приложил все силы для предотвращения атомной войны. К сожалению, снижение общего уровня научной работы во второй половине века привело к росту технического персонала, применяющего науку в коммерческих целях; в этой среде уже нельзя найти общественных интересов, но это скорее бизнесмены, чем интеллигенты.

Особого внимания заслуживает позиция гуманитарных учёных. До XIX века это были просто знатоки всевозможной старины, антиквары и коллекционеры, изображённые Анатолем Франсом в виде Сильвестра Боннара и профессора Бержере. Как правило это были люди смиренные, принимавшие своё смирение за мудрость. Их предшественники, гуманисты эпохи Возрождения, вовсе не были столь смиренны, а, напротив, видели в себе великих учёных и руководили умами своих современников. Они были наследниками древних, а древние — как тогда думали — раз навсегда превзошли нынешних людей. Поэтому, например, Эразм Роттердамский, филолог и экзегет, занимал в Европе положение, сравнимое со славой Эйнштейна, что нам уже трудно понять. Но в XVIII веке открытия

Ньютона и его последователей затмили достижения не только знатоков древности, но и самих древних. В учёном мире произошла "переоценка всех ценностей". Оригинальность учёного стали ценить выше, чем его учёность, измеряя её прямым сравнением с опытом. После Ньютона гуманитарные учёные потеряли свою репутацию. Но уже в середине XVIII века Тюрго призывал к пересмотру гуманитарных наук по образцу механики Ньютона; с этих пор идеалом всех гуманитарных учёных стала "наукообразность": они пытались ввести в свои занятия численные данные, и Кант — сам далеко не современный мыслитель — ввёл в обращение удивительную нелепость, будто "каждая наука является наукой в собственном смысле настолько, насколько в ней применяется математика".

Смирение гуманитарных учёных имело, таким образом, понятный человеческий смысл: в нём заложен был комплекс неполноценности. Но дальше произошли исторические события, прямо задевавшие этих учёных. Учёные, как все люди, имеют некоторое *мировоззрение.* Обычно это господствующее мировоззрение того общества, где они воспитываются и живут; при этом их специальные занятия редко приводят к конфликту с окружающей средой. Ньютон, величайший революционер в своей науке, в жизни был очень умеренный представитель либеральной буржуазии своего времени. Можно сказать, что учёный был связан с окружающим миром — вне своей среды — не более, чем любой ремесленник, *если только* он не был гуманитарный учёный. Но, конечно, историк, правовед или философ был связан с общественным окружением больше, чем физик, химик или астроном. Его мировоззрение прямо отражалось на связующих идеях его профессиональной работы. Буржуазный либерализм потерял смысл, когда буржуазный строй жизни прочно — и как казалось, окончательно — утвердился: либералу "не за что было бороться". Поэтому гуманитарные учёные, способные производить самостоятельные идеи, неизбежно оказывались на стороне радикального мировоззрения, сменившего либерализм: в XX веке они сплошь социалисты и, во всяком случае, беспощадные критики существующего строя. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть философские журналы, особенно американские. Влияние гуманитарных учёных невелико, новых идей у них не видно, но они упорно возвращаются к социализму и марксизму.

История развития европейской интеллигенции

Временем расцвета европейской интеллигенции был XIX век, точнее — столетие между окончанием наполеоновских войн (1815)

и началом Первой мировой войны. Это была в то же время эпоха наивысшего развития культуры Нового времени, "acme" которой относят примерно к 1850 году, и эпоха европейского социализма. Это было время больших надежд. Когда в конце века наметился упадок западной культуры — декаданс, — интеллигенция раскололась на две группы, которые можно назвать буржуазной и социалистической интеллигенцией. Это явление отчётливо не описано, и группы не имеют общепринятого названия. Прежде всего надо заметить, что декаданс мало отразился на учёных. Очень вероятно, что объективное научное мышление вообще составляет последнюю фазу развития культуры. В то время, когда греческая культура перестала производить оригинальные произведения литературы и искусства, наука достигла своего наивысшего развития в трудах Архимеда, Эратосфена, Аполлония Пергского и Аристарха Самосского; и в самом конце итальянского Возрождения началась европейская наука Нового времени — у Галилея и его учеников. Точно так же, в пресловутом "конце века" (fin de siècle), когда всевозможные ренегаты прогресса жаловались, будто наука "не исполнила своих обещаний", начался революционный переворот в науке — сначала в физике, затем в астрономии и биологии. Учёные были слишком заняты своим делом, чтобы впасть в какой-нибудь декаданс, и не имели ещё прямых мотивов опасаться воздействия научных открытий. Поэтому они, как правило, были "политически нейтральны" — кроме гуманитарных учёных, о которых уже была речь.

Но в области литературы и искусства раскол был очевиден. Я попытаюсь проследить его историческое развитие. Поскольку при этом придётся говорить о явлениях, получивших определённые названия, я разобью историю европейской интеллигенции в XIX веке на три этапа: *романтизм, натурализм, экспрессионизм.*

Эти названия плохо вяжутся с общественной жизнью и нуждаются в пояснениях. "Романтизм" возник как реакция на рационализм XVIII века; первоначально это была реакция "сердца" против "головы", то есть непосредственного чувства против холодных логических построений науки. И, конечно, первые романтики хотели сохранить в какой-нибудь приличной форме своего бога. Нам трудно представить себе, как медленно и болезненно происходило освобождение от религии. Сам Ньютон был ещё глубоко верующим человеком — хотя и еретиком. В Англии XVIII века образованные люди были деисты, признававшие творца этого мира, давшего людям нравственный закон, но не управляющего ходом событий. Так же расшифровывается пресловутое "безбожие" французов того вре-

мени. Конечно, около 1750 года они могли уже смеяться над официальным культом и даже над самим богом, но были ли они в самом деле атеисты? Карл Беккер посвятил этому вопросу замечательную книгу "Небесный град философов XVIII века", где показал, что почти все деятели французского Просвещения были деисты, ссылавшиеся на бога и не умевшие обойтись без бога в своих построениях, особенно относившихся к человеку. Подлинных, бескомпромиссных атеистов было мало. Атеистом был Гольбах, выпустивший (анонимно) свою "Систему природы" в 1770 году: в этой книге было впервые формально заявлено, что никакого бога вообще нет. Атеистом был Дидро, самый выдающийся мыслитель Просвещения; ему трудно было обойтись без бога в обосновании этики. Скорее всего, Дидро и был вдохновителем кружка атеистов, собравшихся вокруг Гольбаха. Сухой, рассудочный стиль Гольбаха можно сопоставить с эмоционально богатым, художественным стилем Дидро. И при этом Дидро, организатор "Энциклопедии" и друг Даламбера, никоим образом не был противником науки и логического мышления! У Дидро не было необходимости противопоставлять своё "сердце" своей "голове". Был ли Дидро романтиком? Мы ещё к нему вернёмся.

Впрочем, корни романтизма надо искать в Англии. Как можно узнать из "Истории идей" Лавджоя[1], многие считают началом романтизма вообще книгу некоего Уортона, вышедшую в1740 году. Но эти авторы, как и сам Лавджой, упускают из виду несравненно более влиятельное сочинение — эссе "Об энтузиазме" Антони Шефтсбери, изданное ещё при жизни Ньютона, в 1711 году! В этом эссе есть уже существенные признаки романтизма: благоговение перед природой, умиление совершенством растений и животных, которое невозможно приписать механическим причинам, нравственный закон, исходящий от творца. Идеи Шефтсбери имели широкое влияние на континенте, его сочинения были, в частности, известны Гердеру и Гёте и, наряду с другими английскими влияниями, содействовали росту немецкого романтизма. Дидро, хорошо знавший английскую литературу, мог читать Шефтсбери, но вряд ли нуждался в нём. Он и сам остро ощущал недостаточность механистического взгляда на мир и, более того, несправедливость социального строя. И не он один: вспомним конкурсную тему Дижонской Академии — "Содействовало ли развитие наук и искусств счастью человеческого рода?" Руссо, прославившийся своим ответом на этот

[1] Имеется в виду книга Lovejoy A. O. *The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea.* Cambridge, Mass., 1936. — (*Прим. ред.*)

вопрос, советовался с более опытным писателем Дидро и первоначально, без сомнения, собирался ответить на него в положительном смысле; но Дидро объяснил ему, что он скорее добьётся успеха, развивая *отрицательный* тезис.

Конечно, этот анекдотический совет не выдуман, а свидетельствует о глубине понимания Дидро, видевшего на самой заре "прогрессивного" мировоззрения его оборотную сторону. Можно оставить в стороне также характер Руссо, переменившего свой курс и добившегося шумного успеха. С этого сочинения Руссо начинается новая историческая эпоха — эпоха романтизма. Значение этой перемены настроения можно понять уже по тому, что Рассел — не считавший Руссо серьёзным философом — назвал последний раздел своей "Истории западной философии" "От Руссо до наших дней".

Влияние Руссо было огромно, несоизмеримо ни с его интеллектуальным значением, ни с его литературным талантом. Как и Шефтсбери, это был писатель, не предъявлявший особых требований к своему читателю и потому общедоступный. Не отталкивая безжалостной логикой, не требуя от читателя нацело пожертвовать утешительной, но не слишком обязывавшей верой в милосердного бога, Руссо апеллировал к чувствам человека и находил у него чувства неудовлетворения и протеста. Но если у лорда Шефтсбери был мягкий протест против разрушительной категоричности интеллекта, не умеющего доставить человеку успокоительный синтез, то у неимущего бродяги Руссо протест принял отчётливо социальный характер: "Человек рождается свободным, но он всюду в оковах". Эти слова, с которых начинается "Общественный договор", сделали его возбуждённую, но беспомощную книжечку евангелием французских революционеров. А позже, когда революция была предана и подавлена, Руссо был воспринят немецкими читателями, такими, как молодой Гёте, как проповедник нужного им умеренного либерализма и человечности. И очень скоро из "руссоизма" вырос немецкий романтизм, выразивший протест отсталой немецкой публики против "крайностей" революции и нежелательной опеки Наполеона. Точно так же, во Франции романтически настроенная молодёжь стала искать в средневековых преданиях спасение от неумолимого хода истории.

Можно сказать, что общей характеристикой раннего романтизма было отвращение от тщательного анализа общественных явлений, хватающееся за какой-нибудь утешительный, но непрочный синтез. В этом смысле романтиками были Робеспьер и граф де Местр. Если прибавить к ним "революционных романтиков" — социалистов,

русских эсеров и большевиков — то общественное содержание “романтизма” выглядит довольно странным. Мы приходим к выводу, что этот термин обозначает вовсе не *направление общественной мысли*, а направление общественного чувства интеллигенции — её неспособность последовательно идти вместе с “разумом” и, вследствие этого, “протест против разума”. Это вовсе не то же явление, что “консерватизм”: консерваторы, начиная с римских кардиналов до Меттерниха и Бисмарка, вовсе не были романтики, а преследовали, в меру отпущенного им разума, определённые интересы; романтиками были лишь такие консерваторы, как Дизраэли. Вообще, “протест против разума” сомнителен уже с семантической стороны, поскольку любой протест выражается языком, а язык имеет своим неизбежным орудием “разум”. Таким образом, этот “протест” и сам должен быть разумен, но всегда недостаточно разумен, так как не умеет быть последовательным.

С другой стороны, “бесчувственность” разума лишает его действенности, потому что действие нуждается в инстинктивной стимуляции. Западные социал-демократы потерпели поражение, потому что у них не было — начиная с определённого момента — эмоциональных стимулов для дальнейшего движения: они сами превратились в буржуа.

Когда романтическое настроение интеллигенции стало консервативной реакцией против французской революции, скоро обнаружилось, что “протест против разума” зашёл слишком далеко. Это было волнообразное колебание общественного мнения, закономерно перешедшее в противоположную фазу. Интеллигенты поняли, что буржуазный строй жизни, прикрываемый остатками феодальных учреждений, не доставляет счастья основной массе народа, и поскольку они были интеллигенты, не могли оставаться в ретроградном настроении. Они “заметили” четвёртое сословие — пролетариат! Поразительно, как долго никто не хотел или не мог его заметить: Токвилю нужна была для этого резня 1848 года. Тот же Гюго, который вначале рекомендовал богатым подавать милостыню, чтобы обеспечить себе на том свете поддержку “нищего, могущественного на небесах”[1], стал кричать устами Гавроша: “Это мы и есть”[2]. Сен-Симонисты добились успеха с очень небольшой примесью “разума” к их доктрине, а Маркс цементировал эту доктрину раствором из гегелевских фраз. Это была всё ещё “роман-

[1] “D’un mendicant puissant au ciel” — (*Прим. автора.*)

[2] “Nous en sommes” — (*Прим. автора.*)

тика", но выбравшая "более рациональный курс". Тупость и самодовольство европейской буржуазии дали возможность этим новым романтикам сделать все возможные глупости, доведя этот курс до абсурда.

"Обращённый" протест интеллигенции нашёл уже её первоначального врага — феодальную реакцию — при последнем издыхании. Во всяком случае, так обстояло дело в самых передовых странах — в Англии, где назрела уже избирательная реформа, передавшая реальную власть в руки буржуазии, и во Франции, где после революции 1830 года "конституционная монархия" была лишь прикрытием той же власти. В области литературы и искусства протест интеллигенции принял форму "*натурализма*", по существу направленного против буржуазного строя жизни — сознательно или нет. Величайший натуралист в литературе, Бальзак, вообще не способен был составить себе определённое мировоззрение, а просто "описывал" виденное. В этом смысле "натуралисты" были всегда, о чём говорят статуэтки из Египта и Танагры. Но меня теперь интересует "антибуржуазный" натурализм, родившийся в европейской интеллигенции. В сущности, начался он ещё в XVIII веке — и опять в Англии. Филдинг и Смоллетт вообще начинают собой современный роман, а Хогарт в живописи достигает шекспировской глубины — и только потому недооценивается, что расширил рамки своего искусства за привычные определения.

Но, конечно, ярче всего расцвёл натурализм в XIX веке — во Франции. Он в некотором смысле вырос в лоне романтизма — у раннего Бальзака, у неизлечимых романтиков Стендаля и Мериме (создавшего "Хронику времён Карла IX" и "Жакерию"), у Флобера. Но потом "натуралисты" отмежевались от романтиков. Мопассан и Золя уже вовсе не были романтиками: изменился мир их эмоций. И не был романтиком величайший французский художник XIX века Домье.

У нас в России натуралистом был прежде всего Гоголь. Обличительный смысл этого натурализма не был, впрочем, понятен ни ему самому, ни царю, смеявшемуся над "Ревизором". Общество, смеющееся над собой, постепенно осознает своё состояние и задумывается. Из "натурализма" возникает *социализм.* Белинский, объясняющий Гоголю, что́ он, собственно, изобразил, — это уже новое явление, новая фаза развития европейской интеллигенции. Но, конечно, даже в России, где интеллигенция была самой радикальной, она вовсе не вся была социалистически настроенной. По-видимому, Н. В. Шелгунов имел в виду именно социалистов, распространяя

термин “интеллигенция” на все европейские страны, но мы сохраним за ним более широкое значение “мыслящей элиты”. О социализме будет речь отдельно.

В литературе и искусстве отчётливо видно волнообразное развитие европейской интеллигенции. После фазы рационализма XVIII века, почти подавившей литературу и мало чувствительной к искусству, последовала “романтическая” реакция — реакция “сердца” против “головы” — сопровождаемая разочарованием в революции и ретроградными фантазиями о средневековье; затем наступило разочарование в этих иллюзиях и сближение с реальностью окружающего общества, критическое по отношению к буржуазии и выступившее под именем “натурализма”; наконец, к концу XIX века настроение интеллигенции снова переменилось, и возник “импрессионизм”, выразивший неверие в идею прогресса и, по существу, бегство от насущных проблем западного общества. Явный упадок общественного значения литературы и искусства, снобизм их новых деятелей, рассчитывавших на “избранную” публику и пытавшихся возместить “утонченностью” бессилие своих эмоций, доставили этому направлению выразительное имя “декаданс”. Сами декаденты, конечно, не принимали этого имени и чаще всего называли себя “символистами”. Они же ввели в обращение символическое обозначение своей эпохи — “fin de siècle”, “конец века”.

Самые обозначения заслуживают внимания. “Импрессионизм” происходит от одного критика, писавшего (неодобрительно) о картине Клода Моне под названием “Une impression” (впечатление); картина изображала собор в утреннем тумане. Décadence (упадок) — изобретение другого журналиста, демонстративно принятое даже частью самих “декадентов”, но затем отвергнутое ими; “символизм” придумал один поэт из их числа. Но самый интересный эпитет — выражение fin de siècle. Само по себе оно совершенно бессмысленно: если и был в самом деле конец исторической эпохи (эпохи самодовольной буржуазии), то им был 1914 год. Я не знаю, кто из мудрецов того времени выдумал этот термин, но намерения его очевидны. Имели в виду сказать, что “рационализм” исчерпал свои силы, что “наука не выполнила своих обещаний”, и потому, во всяком случае в человеческих делах, “голова” должна уступить место “сердцу”. Мы узнаём здесь лейтмотив романтизма, но без его яростного протеста и дерзаний. Это было нечто вроде меланхолической констатации факта — и притом явно ошибочной. В самом деле, конец XIX века был временем поразительных достижений науки и

всё больше опиравшейся на неё техники. Была подготовлена — и явилась в самом начале XX века — великая революция в миропонимании человека, теория относительности и квантовая механика; было изобретено радио, и в 1903 году полетел первый самолёт. Эти открытия должны были вскоре изменить повседневную жизнь человека, дав ему невероятное прежде могущество. Человеческое общество не было готово к этому дару, но это уже не зависело от учёных. Учёные никогда не обещали больше, чем могли сделать, и превзошли все обещания энтузиастов прогресса — но, конечно, не в гуманитарных областях. И примечательным образом гуманитарные учёные — историки, лингвисты, психологи — как раз в это время, в конце века, принялись усердно подражать точным наукам, ощущая своё отставание. Даже открытие подсознательного мышления было сделано человеком, воспитанным в дисциплине точного естествознания[1]. Все мудрствования по поводу fin de siècle исходили от обычных консерваторов, с религиозной подготовкой и чаще всего с религиозными тенденциями.

В области науки и техники не было никакого декаданса или импрессионизма. Жалобы на то, что "материя исчезает, и её заменяют уравнения", пустили в обращение философы, не понимавшие этих уравнений. Но в литературе и искусстве импрессионизм принёс немалые плоды. Это не противоречит тому эмоциональному бессилию, о котором я говорил. Если в живописи — главным образом французской — импрессионисты выразили потребительскую установку буржуа ещё достаточно утонченно, чтобы воспринимать впечатления этого мира, но не желающего идти дальше этих впечатлений, то в поэзии такие "декаденты", как Бодлер и Верлен, отразили глубокое отвращение от всего буржуазного мира. Бодлер рассказывал свои впечатления таким образом, что стал, может быть, величайшим из французских поэтов.

Последней фазой в развитии искусства был "экспрессионизм" — в некотором смысле продолжение натурализма. В волнообразном движении культуры экспрессионизм означал возвращение к критическому восприятию общества и протест против бесчеловечности буржуазного строя жизни. В формальном смысле он принёс новые, обобщённые и страстно сосредоточенные выразительные средства, часто граничащие с абстракцией. В литературе к экспрессионистам следовало бы отнести Бодлера и Кафку. Но величайшие его дости-

[1] Конечно, Фрейда относили к "реакции" на научный рационализм люди, не читавшие его собственных работ. — (*Прим. автора.*)

жения относятся к живописи. Ван Гог и Тулуз-Лотрек, несомненно, принадлежат этому направлению. Немецкий экспрессионизм, представленный такими художниками, как Кокошка и Дикс, был, может быть, последним интересным явлением современного искусства. Может быть, исчезновение прямой нищеты и отдаление войны сняли остроту переживаний, породившую это течение.

Что такое социализм?

К середине XX века стало ясно, что победившая и господствующая буржуазия не нуждается в литературе и искусстве. Стагнация буржуазного общества привела также к застою в науке и технике и к росту экологической опасности. Очевидно, что рыночная ориентация человека завела наш вид в тупик, хотя "глобализация" западной цивилизации вызовет ещё немало трудностей. Но ясно, что культурный импульс буржуазии исчерпан. Уже в XIX веке ему искали альтернативу, называя её "социализмом".

Что же такое социализм? Человеческое общество — несомненно система с обратными связями. "Научно-технический прогресс", со всеми его культурными следствиями, вызвал реакции, одну из которых мы уже рассмотрели: протест против крайнего рационализма, пренебрегавшего эмоциональной жизнью человека и, тем самым, его инстинктивной мотивацией. Этот протест проявился в виде "романтизма", первоначально примкнувшего к консервативной реакции на французскую революцию. Заметим, что протесты такого рода обычно находят себе путь, противоположный доминирующей тенденции, то есть возвращаются (претендуют на возвращение) к более ранней стадии развития. Таковы были все массовые ереси и восстания средневековья.

Конечно, в то время ещё не было "прогресса" в нынешнем смысле этого слова, но было историческое движение — переход от племенного строя к феодализму. Герцен и русские народники справедливо видели в русской крестьянской общине сходство с идеями европейских социалистов. Главная их идея состояла в возвращении к "справедливому" распределению продуктов производства, предшествовавшему частной собственности, такому, какое было в сельскохозяйственных общинах при племенном строе. Память об этом строе сохранялась в народе в течение всей феодальной эпохи. Об этом говорят не только лозунги крестьянских восстаний, но и пережитки общинного хозяйства, изученные в отсталых частях Европы, особенно в России. В России крестьяне всегда (даже признавая свою личную зависимость от помещика) считали землю "своей", то есть принад-

лежащей “миру”; общинное владение землёй было прекращено лишь советской властью.

Эти пережитки племенного строя всегда были неустранимой частью христианской религии, заложенной в неё Евангелиями: даже церковь относится к частной собственности с подозрением и принимает её с неизменными оговорками. В этом же духе высказывались все средневековые мыслители, а затем и философы Нового времени. Самый влиятельный из них, Локк, не споря с установившейся системой, непоследовательно утверждает, однако, что каждый может владеть лишь тем количеством земли, какое он может обработать сам с помощью своей семьи. Это поразительное свидетельство *принципиального* неприятия частной собственности — в самой развитой стране Европы. Очевидно, прямое признание права лендлордов на их ренту было недостойно философского ума! В дальнейшем философы, уже не стеснённые христианской традицией (вплоть до Маркса) избегали вопроса о собственности, столь же неудобного для обсуждения в буржуазном обществе, как догмы религии в феодальном. Но вне официальной философии явился ряд независимых мыслителей, обычно именуемых “утопистами”, не боявшихся думать и высказываться на этот счёт и выдвигавших на первый план “социальную справедливость”. Первым из них был Томас Мор, впоследствии причисленный католической церковью к лику святых.

Но самое слово “социалист” (впервые сказанное в 1827 году о сторонниках Оуэна) означало уже дальнейшую фазу этого мышления, пытавшегося найти практические пути к “справедливому” обществу. Речь шла о *новых* формах организации труда. Если у Фурье предлагались лишь простые кооперации производителей, то Оуэн разработал уже и осуществил на практике систему, где рабочим отводилась сознательная роль в производстве, а Сен-Симон предлагал планирование экономики в интересах всего населения, с участием учёных и инженеров. Ни один из этих инициаторов социализма не предлагал насильственной экспроприации собственности и государственного управления производством. Эти меры были предложены Марксом и Энгельсом в 1848 году в “Коммунистическом манифесте”. Существенное отличие коммунистической доктрины от социализма состоит именно в этом, а не в лозунгах. Лозунг социалистов “От каждого по его способностям, каждому по его труду” — был сформулирован учениками Сен-Симона. Эта формулировка уже явно отходит от общинного строя, что нетрудно понять, поскольку в XX веке уже распались первоначальные общины, и непонятно было, на кого возложить заботу о слабых и беспомощных людях. В конеч-

ном счёте, под давлением социал-демократов, этим занялось буржуазное государство. Но, конечно, требование "каждому по его труду" никогда и нигде не выполнялось: в этом смысле современное "демократическое общество" хотя и вмешивается в производственные отношения, выглядит как карикатура на предложение Сен-Симона. *Обществом по-прежнему управляют социальные паразиты, присвоившие себе средства производства и контролирующие экономическими решениями псевдодемократические механизмы власти.*

Социальными паразитами здесь называются люди, получающие доходы не за определённую трудовую деятельность, а попросту за владение собственностью, то есть присваивающие себе ренту за своё положение в экономической системе. В наше время эти люди уже давно не руководят производством и даже не понимают, как действуют их предприятия, поручая их инженерам и менеджерам. Это владельцы акций, а решения они принимают по рекомендации специалистов. Было много разговоров о том, что эти "капиталисты" — просто пережиток прошлого, что их уже заменяет безличная система управляющих, "техноструктура", осуществляющая власть "в интересах народа". Прошли десятилетия с тех пор, как были выдвинуты эти предположения (Гэлбрейтом и другими), но хозяевами мира являются держатели акций — у которых достаточно акций, чтобы играть эту роль; верно, что к ним присоединяются главные менеджеры, получающие скандальные вознаграждения и привлекающие этим внимание. Само собой разумеется, что эти управляющие тоже сами не трудятся, а возглавляют экспертов и заседают в комитетах.

Социальный паразитизм (у Лоренца — "асоциальный")[1] стар, как мир, точнее — как частная собственность. В былые времена, не так уж давно, собственники гордились тем, что им не приходится работать, а ещё раньше прямо описывали *захват* как источник своей собственности. Тезис Прудона (или Бриссо) "собственность — это воровство" даёт моральную оценку собственности со стороны трудящихся. Конечно, сами собственники и до сих пор убеждены в своём праве, если они "соблюдали законы". Это их убеждение — частный случай вечной процедуры, подставляющей средства вместо целей. Цель их всегда была в том, чтобы присвоить себе продукт чужого труда (не это ли в точности определение "воровства"?), а средство

[1] Термин Лоренца подчёркивает вредность этого явления, полагая очевидным его наличие; мой термин подчёркивает его структурный характер, поскольку общества с частной собственностью всегда имели таких паразитов. — (*Прим. автора.*)

— операции в пределах закона — некоторым образом “оправдывало” эту цель. Это психологический закон, на который ссылаются даже люди, не обманутые такой подстановкой; но я думаю, что большинство собственников успешно обманывает себя таким образом. Совесть их спокойна. Давность и наследственность владения собственностью придают этому учреждению особую респектабельность (ещё один психологический закон, “закон инерции” в социальной жизни). Впрочем, в средние века феодалы придумали себе ещё и другое оправдание: они утверждали, что их полезная общественная функция — защита своих вассалов от грабителей, то есть главным образом от соседних феодалов. Поскольку речь шла об источнике их доходов, они, конечно, заботились о собственных интересах. Что же касается тружеников, то они в большинстве и сами предпочли бы превратиться в паразитов, а потому поддерживают их заблуждение — кроме случаев, когда прорывается социальный инстинкт. У тружеников “цель оправдывает средства”.

Необходимость всё это доказывать возникла не так уж давно. И возникла она не потому, что у собственников пробудилась совесть, а потому, что социалисты обличали перед массой трудящихся это положение вещей и поставили его под угрозу. Уже в 1848 году, как сообщает Тьер, французские буржуа создали свой “комитет защиты труда”. *Не* работать стало, наконец, стыдно! Но *доказать* паразитизм богатых было не так уж легко. Лендлорды ссылались на свою роль защитников социального мира и порядка, на опасность анархии, и нашли себе апологетов, например, Гоббса. Капиталисты же, конечно, изображали себя как руководителей производства, и вначале в самом деле были менеджерами своих предприятий; хотя уже очень рано их деньги позволили им делать деньги, и главные роли взяли на себя Медичи и Фуггеры — международные банкиры. Маркс, который хотел быть не философом и моралистом (philosophe et moraliste), а учёным, оказался в самом деле в положении учёного, видящего перед собой общеизвестный факт и ищущего его объяснения. Рикардо выяснил, вполне научным образом, понятие ренты, и Маркс, исходя из этого, предложил концепцию “прибавочной стоимости”. Но это объяснение паразитизма было несостоятельно, и особенно неубедительно в случае сложного производства, где возникновение ренты зависит от множества не поддающихся учёту технических условий. Как я показал в моей книге[1], причиной его заблуждений была аналогия с построениями

[1]Имеется в виду книга “Инстинкт и социальное поведение”. — (*Прим. ред.*)

механики, например, с понятиями работы и энергии. В интеллектуальном климате XIX века теория Маркса была принята на веру как научное доказательство социального паразитизма, что привело к хорошо известным последствиям.

Социальный паразитизм остаётся общеизвестным фактом, ещё не получившим полного объяснения. Но в общественной жизни лишь немногое поддаётся такому объяснению, между тем как необходимость действовать возникает на каждом шагу. Тупик, в который зашло "рыночное" общество, уже привёл его к ряду мер, которые в XIX веке несомненно рассматривались бы как "социалистические".

Свободное развитие человека

Вопрос о необходимых мерах резюмируется словом "планирование". Это вряд ли популярно в наше время, особенно в России, где государственные эксперименты его совсем скомпрометировали. Но способность предвидеть будущие опасности и возможности, то есть в известной мере планировать своё поведение, неотделима от человека; без неё наш вид не выжил бы и, конечно, не выживет в нынешнем усложнившемся мире. Каждый индивид строит свои собственные планы, как и каждое предприятие — в дозволенных им пределах. Планирование в масштабах целого государства иногда считают определением социализма, так что под это понятие подпадают древний Египет и империя инков[1]. Но, очевидно, вмешательство государства в экономику (да и само государство!) является лишь *средством*, а определение социализма должно исходить из *целей*, которые ставили себе социалисты. Более того, из первых социалистов, пожалуй, один Сен-Симон отводил в своих проектах роль государству. Каковы же были цели социалистов? Я думаю, что их главной целью было *свободное развитие человека*, освобождённого от бремени наёмного труда. Но уже в "Коммунистическом манифесте" мы находим принудительную трудовую повинность и другие меры, проведение которых предполагает абсолютную бюрократию и сводит на нет все "права человека". "Диктатура пролетариата" оказывается просто диктатурой новых господ, выбранных неизвестно кем; правда, всё это предлагалось как "временные" меры, но мы слишком хорошо знаем, как формирует людей любая власть. Конечно, "Манифест" — это уже коммунизм, заслуживающий отдельного рассмотрения и не вмещающийся в рамки социализма —

[1]Глупости этого рода писал, например, русский математик И. Р. Шафаревич. — (*Прим. автора.*)

как и “национал-социализм” и всякие другие формы надувательства. Несомненно, авторы “Манифеста” были (в 1848 году) философствующими оптимистами без политического опыта.

Итак, мы должны выяснить, что означает “свободное развитие человека”. Уяснив себе, что́ имели в виду основатели социализма, мы должны представить себе, что может означать этот идеал в нынешнем мире. Для этого надо определить понятие *свободы.* Я буду называть “свободой” условия, в которых человек может делать, что́ он хочет, то есть может выбирать из физически возможных для него занятий доставляющие ему наибольшее удовлетворение. Думаю, что это общепринятое представление о свободе, — конечно, оставляющее в стороне философские извращения вроде гегелевского, которое Рассел справедливо истолковывает как “свободу повиноваться полиции”. Но дальше, естественно, возникает неопределённость, потому что есть много видов “несвободы”, и потому что слово “развитие” предполагает не только отсутствие принуждения, но и гораздо больше, приближая нас к совсем уж загадочному идеалу “счастья”.

Чтобы лучше понять первых социалистов и социалистическое движение, присмотримся, о *какой* свободе они в действительности думали. Как можно заметить, их беспокоило индустриальное порабощение человека, то есть наёмный труд и связанное с ним распределение ренты. Поэтому “социализм” был — и часто называл себя — требованием “освобождения труда”. Так как в условиях современной цивилизации труд связан с машинным производством, луддиты направили свой протест против машин, и у Фурье (воспитанного в обстановке ручного труда) речь идёт лишь о более человечной организации ручного труда. Но уже у Оуэна и Сен-Симона проблема машины выступает на передний план. Во всяком случае, мы приближаемся здесь к вечному вопросу о неизбежности труда.

Господь сказал Адаму, после грехопадения: “Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься”.

Здесь речь идёт о земледелии, которым и занимались тогда евреи; но по существу это *проклятие всякого труда.* Охотник или скотовод точно так же добывал своё пропитание “в поте лица своего”, но, конечно, земледелец мог представлять себе в прошлом рай, где не было регулярного монотонного труда, и связывал с этим “золотой век”, присутствующий в мифологии всех народов. Неизбежность та-

кого неприятного труда, при разросшемся населении, не оспаривалась никем; речь шла об улучшении “организации труда”. Но можно спросить себя: не выражает ли “социализм” отвращение к труду *вообще*, нет ли у человека инстинктивного стремления избавиться от любого труда?

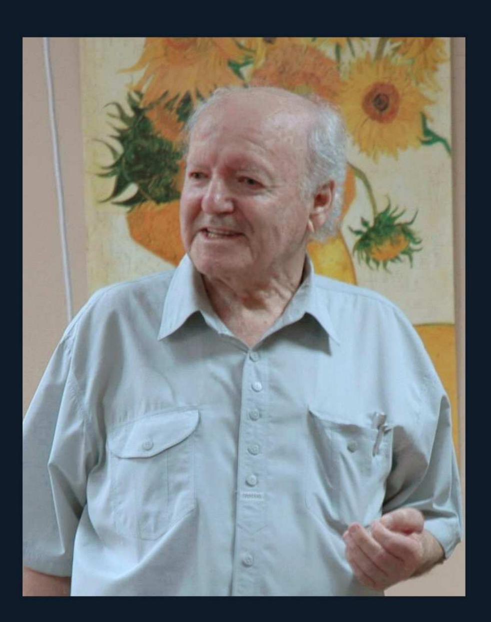
Каждый, кто знаком с творческим трудом, с этим не согласится. Вопрос в том, можно ли *превратить вынужденный наёмный труд в добровольный творческий труд*. Это и есть настоящая программа социализма. Конечно, в течение всей истории труд был вынужденным, то есть необходимым условием выживания. Это был главным образом ручной труд земледельца, требовавший приложения всех его физических сил и оставлявший мало места для проявления его человеческих возможностей; в ряде случаев такой труд низводил его до положения рабочего скота — например, в Китае, где человек был тягловой силой при пахоте и поставлял навоз для удобрения. Генетическая наследственность сохранила, однако, все его человеческие свойства и предотвратила его вырождение. В долгие века патриархального хозяйства не могло быть речи о свободном труде. Но в наше время изобретательность человека освободила его от библейского проклятия. Уже сейчас в развитых странах можно удовлетворить все материальные потребности людей за счёт труда 10–15% населения — притом труда без особого напряжения физических сил. Машины заменили физические усилия человека.

Нынешняя ситуация резко контрастирует с положением человечества в начале XIX века, когда явились первые социалисты. В то время неизбежен был ежедневный физический труд подавляющего большинства людей, и речь шла о том, как спасти их большинство от голода. Это выдвигало на первый план способы распределения продукции[1].

---

[1] Здесь текст обрывается. — (*Прим. ред.*)

“Мне не нравятся рассуждения, освобождающие гения от моральной ответственности. Очень уж много бед натворили в истории эти деятели. Я предпочитаю другую мораль: Кому много дано, с того много и спросится. . . . Я отнюдь не герой. Я не знаю, как вёл бы себя под угрозой расстрела. Но я всё же четыре года оставался безработным, отказываясь от общепринятого унижения. Я знаю и других людей такого типа, например, генетиков, которые рисковали раньше и, значит, больше. В наши дни для сохранения науки важнее всего общественная позиция учёного.”



Абрам Ильич Фет (5 декабря 1924, Одесса — 30 июля 2007, Новосибирск) — известный российский математик и физик. Работал в Сибирском отделении Академии Наук.

Абрам Ильич много размышлял о человеческом обществе, о биологической и культурной природе человека. Предлагаемое Собрание сочинений в 7-ми томах — это первая серия публикаций философско-публицистического наследия А. И. Фета.

В седьмой том вошли “Воспоминания” А. И. Фета, “Философский дневник” и его самое последнее произведение “Социальный вопрос”, оставшееся неоконченным. Все эти сочинения публикуются впервые.

American Research Press, 2015

